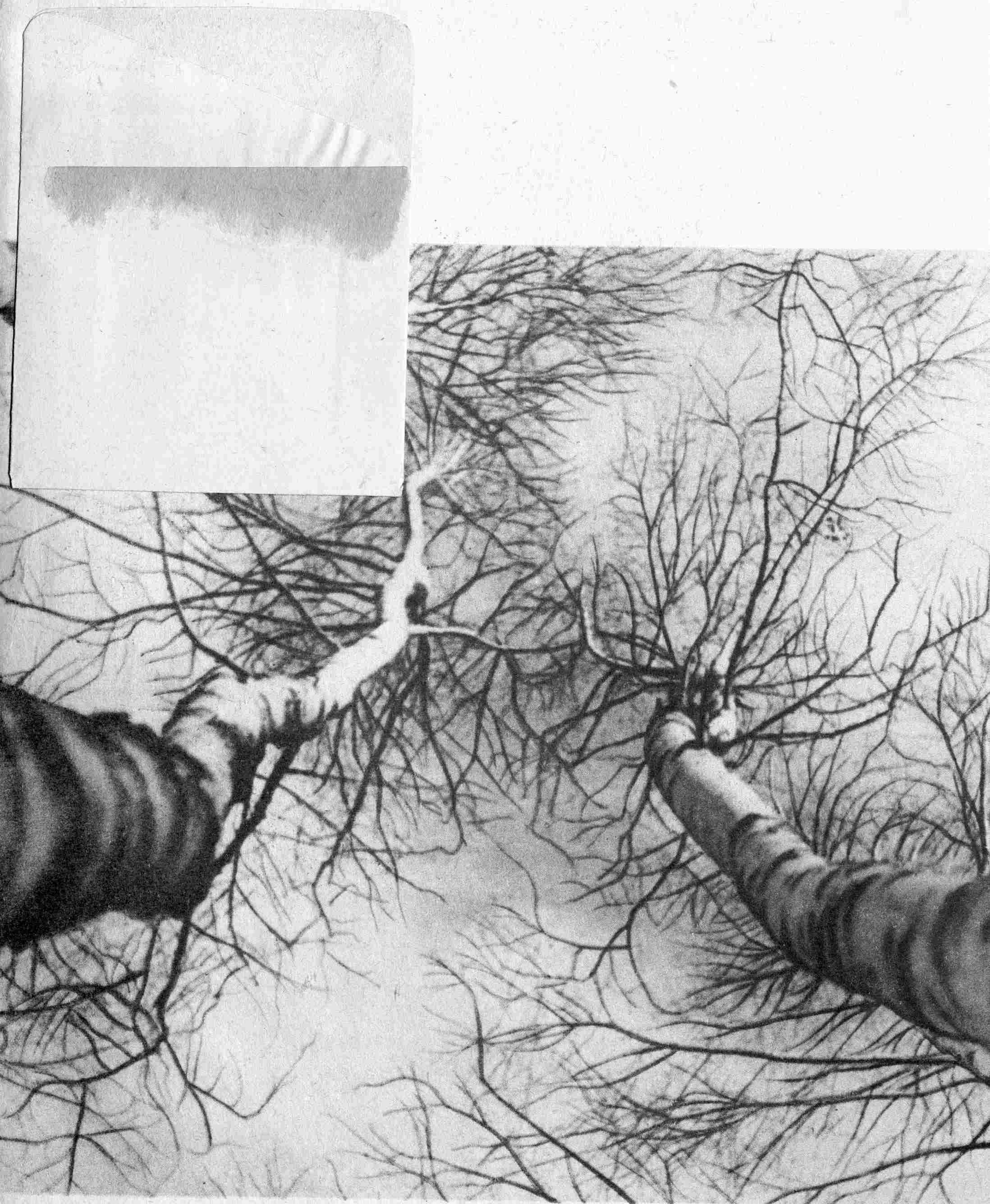
Ангара



В. ЖЕМЧУЖНИКОВ
А. ШЕМЕТОВ
М. СЕРГЕЕВ
И. ЛУГОВСКОЙ
П. ПРИХОЖАН

3

1966



Ангара

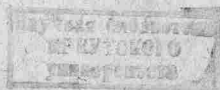
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

ОРГАН ИРКУТСКОГО И ЧИТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЙ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

3(72) 1966
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ



ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1966



СОДЕРЖАНИЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 36, отделение Союза писателей РСФСР. Телефон 56—76.

ВЛАДИМИР ЖЕМЧУЖНИКОВ

ОСЕНЬ НА ДВОИХ

ПОВЕСТЬ

Глава первая

Спать на редакционном дерматиновом диване было спокойней, чем на жестких вокзальных скамейках или на раскладушках у друзей. На вокзале он спал всегда урывками: будили милиционеры, пьяные громкие разговоры, плач детей, густые сирены электровозов, всполошный голос диктора, объявлявшего о прибытии и отправлении поездов. К тому же утро на вокзале начинается слишком рано,— едва рассветет, как пассажиры приходят в движение. А ночи летом короткие.

В тесных, обычно перенаселенных квартирах друзей спалось получше. Но их дружбой нельзя было злоупотреблять. Иногда практиковался его внеочередной день рождения —родители друзей позволяли в меру выпить, угощали и непременно укладывали потом на раскладушку. Этот ход был беспроигрышным. Но, к сожалению, чаще одного раза в год в одном месте устраивать свой день рождения не принято. Нет, друзей неловко было стеснять.

Вот и получалось, что ночевать в редакции — самый подходящий вариант. Существовал, разумеется, и другой, менее романтичный вариант — спать в собственной квартире, но это было уже в области зыбких мечтаний. Он любил повторять, что единственная его собственность — это авторучка, что больше ничего на свете ему не нужно. Едва ли это было так. Когда бессонница часами ворочала его на дерматиновом диване, он твердо знал, что это не так. Наверно, только оглохшим от споров, навсегда прокуренным редакционным кабинетам хотелось одиночества... Чтобы проветриться. В кабинете, где стоял диван, было накурено даже ночью.

Он уже привык оставаться в редакции один, полюбил в ней две вещи — простенький трескучий динамик и плохо настроенное, но гулкое пианино. Иногда они спасали от тишины. Он выстукивал на пианино одну и ту же мелодию из «Последнего дюйма» — «Какое мне дело до всех до вас, а вам—до меня...» Одиночество уже не так тревожило, как в первые ночи. И он начинал думать, что каждый человек, взрослея, должен готовить себя к одиночеству, как к неизбежному, выработать в себе еще один иммунитет, научиться без паники встречать эту невеселую штуку. Он не замечал, что философствует только для того, чтобы подбодрить самого себя.

Изредка тишину кабинетов будоражили телефонные звонки, неожиданные и резкие. К ним нельзя было привыкнуть. Они били по нервам, как запрещенные автомобильные гудки. Бессмысленно, с тупым упорством строчили, строчили они тишину и, устав от попыток разорвать ее окончательно, отступались, затихали.

За каждым звонком скрывалась тайна. Он знал, что если даже поднимешь трубку, все равно не увидишь и кусочка этой тайны. Голос на другом конце провода скажет: «Извините...» И все. Потому что нештатные авторы, жалобщики и злопыхатели, которые обычно осаждают редакционные телефоны днем, не будут зря звонить ночью,— они и так стараются, чтобы ни один звонок не прошел впустую. Значит, каждый звонок — ошибка, стук не в ту дверь. Просто кто-то звонит кому-то и в спешке или по небрежности путает номер. Просто. А может, не просто.

Это напоминало ему не совсем безвинную забаву детства. Вечером мальчишки укрепляли на чьем-нибудь окне булавку, к ней привязывали нитку и протягивали ее до ближайшего

забора. А потом, спрятавшись, начинали дергать за нитку. Булавочная головка звонко щелкала по стеклу. Сначала хозяин дома раздвигал шторы и напряженно вглядывался в темноту, но увидеть, конечно, ничего не мог и успокаивался. Стук повторялся. Хозяин выскакивал на улицу, но там никого не было. Играть так можно было до тех пор, пока не обнаруживалась нитка с булавкой.

Так же стучались ночью в редакцию тайны. Это были несомненно они. За каждым ночным звонком чудилось что-то серьезное и трагичное, каждый казался сигналом «СОС», по которому надо срочно принимать меры. Только все равно один человек не поможет всем.

Он никогда не подходит к телефону, как бы долго он ни звенел.

Но однажды, это было после вечера, проведенного с друзьями в ресторане («разменяли» очередной гонорар), он решил, что обязательно должен услышать женский голос и... прочитать стихи. Больше часа он ждал звонка. И это ему надоело. И когда, наконец, звонок раздался, он поднял трубку и хриплым голосом произнес:

— Младший лейтенант Лазарев слушает!

— Мне скучно, товарищ младший лейтенант. Ко мне пристают...— да, это был женский голос.

— В чем дело, гражданка? Конкретней и покороче.

— Ко мне пристают мужчины, а это противно и скучно. В вашем городе слишком примитивные мужчины. А мне хочется спокойно дождаться утра.

— Так. Где вы находитесь?

— На вокзале. Вынуждена находиться на вокзале. В вашем городе нет ни одного свободного номера, все гостиницы забиты. Я больше не могу. У телефонной будки меня караулят сейчас два мужлана.

— Так. Вы в дежурную комнату обращались?

— Там, по-моему, все спят. «Моя милиция» спит.

— Так, так. К вам что же, наряд выслать?

— Как вы найдете нужным. А вообще-то здесь много женщин и много мужчин...

— Ясно. Фамилия, имя, отчество?

— Андреева. Дина Петровна Андреева.

— Ваши приметы, гражданка Андреева?

— У меня чуть курносый нос и очень тяжелый чемодан.

— Ждите меня, Дина. Я сейчас приеду.

В комнате наступила тишина. Только из трубки, которую он забыл положить, доносились короткие приглушенные гудки. Долгим взглядом он посмотрел на трубку, будто она могла что-то объяснить.

Кто же звонил? Женщина, которой не спится и которая с закрытыми глазами набирает номера телефонов, чтобы поболтать и при удаче разыграть кого-то? Или решила позабавиться подгулявшая компания? Но для розыгрыша слишком правдоподобна одна деталь — тяжелый чемодан. Это не придумаешь сразу.

Он посмотрел на часы: не успеет ли на последний автобус? Второй час ночи. Последний автобус давно ушел в парк. Значит, надо ловить такси.

Через полчаса он был на вокзале. Таксиста, на всякий случай, попросил подождать. Если клюнул на розыгрыш, на вокзале черта с два уснешь. Розыгрыш или не розыгрыш?

Он распахнул дверь в зал ожидания. Народу на скамейках сидело и лежало много — в конце августа одинаково трудно ехать на запад и на восток. Кассы были закрыты, до шести утра не шли поезда. Люди спали. Только двое мужчин расхаживали вдоль скамеек, о чем-то тихо разговаривая, женщина укачивала на руках проснувшегося не вовремя ребенка, девушка читала журнал. Она или не она? Во всяком случае, это была единственная девушка в зале, которая не спала.

Он подсел к ней, не очень близко для того, чтобы сразу начать разговор. Вот и чемодан стоит и, может быть, он тяжелый. Но кто тут без чемоданов? Наверно, он один. Красивая, спокойная, немного задиристая в профиль, потому что нос чуть курносый. Да, и нос курносый. Вот она посмотрела в его сторону. На него, но как бы мимо него. Почему же нет провожатых? Кто мог оставить такую одну, отправить одну на вокзал? Значит, она с поезда, приехала откуда-то. Одна в незнакомом городе. Впрочем...

Она отложила журнал, порылась в сумочке, позвякивая мелочью, и пошла к стеклянной будке телефона-автомата. Плотно прикрыла дверцу. Но и так все видно. Вот она набирает номер, ждет. Нажимает рычаг и снова набирает номер. Долго стоит недвижно. Потом выходит из будки, спокойно садится и берет журнал.

— Что — занято?— тихо спросил он.

— Нет, не отвечают,— без выражения ответила она.

— А я пришел, Дина, — неожиданно сказал он.

— Вы... из молодежной газеты?— она не смогла скрыть, что ожидала увидеть какого-то другого парня.

— Я из отделения. Пройдемте, гражданка,— он улыбнулся, резко встал и поднял ее чемодан.

— Прямо в отделение?— улыбнувшись в ответ, спросила она.

— Сначала в камеру хранения, сдадим ваш очень тяжелый чемодан.

И они пошли.

...Таксист, видно, давно нервничал. Когда они сели в машину, он вызывающе крикнул:

— Куда вам?

— Туда...

Машина рванулась с места и понеслась стремительно и легко сквозь строй огней. Они с размаха били по смотровому стеклу и, казалось, пронзали машину, а она летела и летела навстречу новым огням.

— Вы очень устали, Дина?— спросил он.

— Нет. Я весь день спала на верхней полке, а сейчас совсем не хочу. Только немного нервно. Так всегда, когда приедешь в незнакомый город.

— Вам нравится... ехать? Не сейчас, а вообще ехать?

— Да, особенно ночью. Все спят, будто умерли, а ты мчишься, смотришь, живешь.

— Тогда будем ехать. Я покажу вам весь город. А потом поедем на море. Хотите?

— У вас разве есть море?

— Ну, водохранилище. У нас называют морем.

— Поедем на море!

— Но сначала в редакцию, мне нужно оставить ключ. Кстати, как вы узнали наш телефон?

— Вы же в каждом номере пишете: «Звоните, заходите...» Газету я купила в дороге. А как вас зовут?

— Всеволод. Но так только мать звала, это звучало серьезно и обязывающе. А для всех остальных — Сева, Севка.

— Всеволод Лазарев, журналист. Звучит!

— ...Старомодно. А кто есть вы, Дина Андреева? Актриса?

— Почему вы так решили?

— Мне кажется, все актрисы живут импульсами. Раз — купила билет на первый попавшийся поезд. Раз — приехала ночью в первый попавшийся город и позвонила в редакцию. Раз...

— Сева, вы давно пишете роман?

—«Евгений Саманов не пишет романов. Не быть третьим Манном процентоману». Это сочинили наши ребята об одном старом журналисте. На него я похож гораздо больше, чем на романиста. Я, Дина, специалист по зарисовкам.

— Что же вы делаете в редакции по ночам?

— Сплю!

— А у нас в Челябинске ребята оставались на ночь в редакции и писали коллективный роман. Вот я решила позвонить и вам. По-моему, журналисты тоже живут одинаково.

— Значит, я отгадал: вы актриса?

— Начинающая, в прошлом году закончила училище. Насчет импульсов — все правильно. Для меня, во всяком случае...

Кружила, кружила по городу машина. Уже начали гаснуть огни в предчувствии рассвета. Уже проснулись первые дворники. Таксисту надоело придумывать новые маршруты, и он стал водить машину по большому кругу. В зеркальце он видел, как пассажирка заснула, положив голову на плечо парня, а тот, будто закаменев, сидел и даже не обнимал ее. Таксист повернулся и, подмигнув, тихо сказал:

— Ну, что — поехали баиньки?

— Поехали на море, — подмигнув, так же тихо сказал Севка. Таксист понимающе улыбнулся.

Через полчаса, когда небо уже посветлело, машина выскочила на высокий гребень плотины. Справа лежало море, тяжелое, литое, спокойное. Ветра совсем не было.

Севке не хотелось будить девушку, но куда он мог отвезти ее: назад на вокзал, в редакцию? Если она заснула в машине, то уснет и здесь где-нибудь на лавочке, здесь тихо, никто не мешает, можно дождаться первого автобуса.

Он попросил шофера остановиться. Машина затормозила, Дина подняла голову.

— Приехали на море,— сказал Севка.

— Здорово,— никогда не просыпалась на берегу моря! А я долго спала?

— Полчаса, не больше.

— Вы извините меня, Сева, больше я не буду, я выспалась вполне. Ну, пойдемте смотреть ваше море.

Они вышли из машины. Было уже светло, на западе алела узкая, как лента, полоска неба. Она вытянулась низко, над самой кромкой земли и потому почти не отражалась в воде. Утро занималось свежее, но теплое. «Хорошо, что стоит не сентябрь, а то был бы сейчас какой-нибудь утренник с инеем»,—подумал Севка.

Дина долго смотрела вдаль, пытаясь определить границы воды, но туман смешал воду и небо, стушевал горизонт.

— У вас настоящее море! Пойдемте гулять, Сева. Я, честное слово, не хочу больше

спать. А такси будет ждать нас? Давайте отпустим? Мы ведь выберемся отсюда?

— Конечно. Скоро пойдут автобусы,— сказал Севка и пошел рассчитываться с шофером.

— Желаю удачи!— таксист снова понимающе улыбнулся.

Двое остались одни на плотине, на бетонном берегу моря.

Утро развертывало свои декорации широко и стремительно. Редкие и куцые облака, невидимые сначала на фоне серого неба, вдруг стали яркими, как лоскуты мандариновой корки. Оранжевые блики брызнули по воде. Наливалось синевой небо и теплей становилась от него вода. Издалека, из-за горизонта бесшумными шагами торопилось на свой выход солнце.

Занавес поднят, зрители замерли...

И вот—его выход!

Севка и Дина спустились к воде, умылись и пошли вдоль берега. Потом они наткнулись на бревно, выбеленное водой, и уселись на него. Они сидели до первых автобусов.

Глава вторая

Вид у Севки, когда он пришел в редакцию, был такой, что на него сразу набросились с расспросами:

— Сева, если ты признаешься откровенно, мы не будем собирать профсоюзного собрания. «Где ты был, Адам?»

— «На войне, господи...»

— Нет, ты не юли! Скажи, ведь ты сегодня не спал всю ночь?..

— Скажи, ты только что ушел от нее?..

— Все правильно,— я только что ушел от нее. Мы встретили на море рассвет, — сказал Севка.

— Гони детали!— говорили и смеялись все одновременно. Севка поднял руку:

— Детали таковы: мы встретились на вокзале, потом долго катались на такси (кстати, кто накормит меня сегодня обедом?), потом сидели на плотине.

— И все?..

— Все.

— Сева, а ты помельче, помельче дай детальки. К примеру, кто она?

— Ребята, если я расскажу, вы все опошлите. Это моя тайна. Не хочу, чтоб вы ее сглазили.

— Говоря грубо, боишься конкуренции?

— Говоря честно, боюсь.

— Ого, значит, это прекрасная женщина. Тогда извиняй, брат!

—Ладно. Помогите мне найти хату.

— Сева, это не проблема, это мы сделаем,— пообещал Славка Ластовский, обладатель однокомнатной секции, у которого жена уехала отдыхать на юг.

— Мне нужна своя хата! Крыша, угол. Как я покажу паспорт в ЗАГСе, если у меня нет прописки? Куда я приведу жену?.. Что молчите? Ха-ха! Всерьез приняли? Да шучу, шучу я! А вы уж совсем собрались женить меня? Ха-ха-ха! Расчувствовались!

Ребята заулыбались с облегчением и хором задымили сигаретами. Значит, все в порядке у Севки Лазарева — ничего серьезного. Значит, не убудет великого племени холостяков.

«Ход конем» удался Севке: бдительность была усыплена, путь к дальнейшим расспросам и розыгрышам отрезан. Ведь советы тут могут только помешать, а слова, сказанные громко, способны приземлять даже самое высокое...

Проблема «квадратных метров» встала перед Севкой зловеще, как никогда. «Сказать девушке, что у тебя нет никакой жилплощади,— значит расписаться в своей полной несостоятельности,—трезво раздумывал он.— На что можно рассчитывать, если не можешь даже пригласить на чашку кофе и почитать стихи. Нельзя же все время водить в кино...»

Севка отпросился у своего зава Сережки Ефремова («Если что, скажи: ушел на задание»), и кинулся на поиски угла. Первый визит он нанес знакомому пенсионеру, в защиту которого когда-то написал небольшую статью и тем самым помог ему установить персональные баллоны для газовой плиты. Семья пенсионера из трех человек занимала трехкомнатную квартиру. Севка считал, что одна комната у них явно лишняя, что они вполне могли бы ее сдать.

Четвертый месяц он вел осаду пенсионерского уюта: регулярно приходил в гости с красным, противным ему до рвоты, вином; рассказывал о своих родителях, живущих в Ставрополье, о том, какой богатый у них сад; играл на баяне русские песни — баян купил пенсионер во время очередного склеротического затмения; помогал решать задачки их апатичному сыну — пятикласснику; часами выслушивал их воспоминания, клялся, что еще долго не женится,— словом, унижался всячески, чтобы вызвать доверие. Пенсионеры сочувствовали ему, «как родному», но комнату не сдавали. Боялись, наверно, что потом его трудно будет выселить.

Вот и сегодня ушел от них Севка ни с чем. Обозлился, чуть не крикнул на прощание: «Эх вы, кулаки!» — и решил больше никогда не появляться здесь, не баловать старикана красным вином.

На трамвае доехал он до пыльного деревянного предместья: на окраине легче найти комнату. По какой же улице пойти?

Выбрал Лесную — красиво звучит. Медленно побрел по тротуару вдоль двухметровых заборов. Почти на каждой калитке висели штампованные или написанные от руки таблички насчет злых собак. Не то что зайти — стучаться боязно в такие дома. Севка представил, как жутко ходить тут по ночам: чего доброго — могут пальнуть из обреза. Он тщательно ощупывал взглядом заборы и столбы: не мелькнет ли белый листок с объявлением. Наконец, такой столб попался. На куске бурой оберточной бумаги было написано: «Сдается комната для семейных. Обратиться в любое время — Лесная, семьдесят шесть».

Дом почернел от времени, сел в землю по самые окна. Севка постучал и начал ждать прихода Бабы-Яги. Кто же еще мог жить в такой завалюхе? И она пришла — потемневшая от старости, дрожащая старуха. У нее был пронзительный злой взгляд, выдвинутый вперед острый подбородок — все, как в сказке.

— По объявлению? Проходите, молодой человек! — приказала она высоким резким голосом.

Севка уже знал, что жить здесь не будет, и пошел за ней только чистого любопытства ради. Он шагнул в комнату и чуть не задохся от могучего запаха зверинца. Из-под ног бросилась врассыпную стая кошек. С печки, с кровати, из углов нацелились на него желто-зелено-бешеные глаза. Когда старуха зажгла свет (ставни она почему-то не хотела открыть), Севка смог сосчитать зверей. В комнате было шесть кошек и две шершавые собачки. Через минуту они перестали стесняться гостя и продолжали свою чехарду.

—Где же ваша жена, молодой человек? — вскрикнула старушка.

— Я один, один как перст. Холостяк, понимаете, убежденный холостяк. Мне бы отдельную комнату.

— Есть у меня отдельная комната, там сейчас живет больная Дамка. Заходить к ней опасно. Но мне нужны семейные квартиранты, одного не могу пустить. Не могу и не могу!

— Зачем вам семейные — у вас такая большая семья! — Севка выскочил из дома, почувствовав себя дурно от мерзкого животного духа.

«Знаю, знаю, старая, почему нужны только семейные, — чтобы побольше содрать за комнату. Живи со своим зверинцем! Плевал я на твою комнату», — подумал Севка, торопливо удаляясь от дома.

И еще по одному адресу сходил он. На этот раз в объявлении было прямо написано, что сдается жилплощадь для одинокого мужчины. Встретила его бедрастая с покатыми плечами женщина. «Тридцать девять — сорок», — определил Севка. У нее были виноватые, увиливающие от прямого взгляда глаза, и редкие, но заметные усики. В большой комнате, заставленной массивной дешевой мебелью, царили по-больничному идеальные чистота и скука, преобладали два цвета — белый и голубой. «Все понятно — здесь живет вдова», — решил Севка.

— Какую же площадь сдаете вы? — осторожно спросил он.

— У меня раньше жил студент, так он спал вот на этом диване, — смутившись, сказала женщина. — Дело в том, что я часто ухожу на дежурства, и квартира стоит пустая. Я думаю, это будет удобно вам.

— Конечно, конечно... Но мне бы лучше отдельную комнату. Вы ведь понимаете: одинокий мужчина — понятие относительное. К тому же я намерен в ближайшее время жениться. Вы извините, но я поищу еще где-нибудь...

«А где же искать?» — подумал Севка, вырвавшись от вдовы, которая совсем было настроилась угощать его чаем с малиновым вареньем. «Вот где, наверное, много места, — подумал он, проходя мимо большой, самой красивой в городе церкви. — Здесь-то нашлась бы отдельная келья. Но, чего доброго, начнут агитировать в монахи. Всеволод Лазарев — настоятель монастыря. Звучит! Из редакции выгнали бы с треском. Сразу, как узнали бы, что поселился в церкви. А интересно, можно было бы там прописаться?..»

Безуспешно пытался он развеселить себя: рейд «по квартиродателям» не удался.

В четыре часа дня он приехал в редакцию. Там уже никого не было, кроме уборщицы тети Сони. Назавтра газета не выходила, и все разбежались. Летом в редакции вообще не сидится. Летом даже графоманы реже там появляются — им, конечно, больше нравится загорать, валяться в траве, целоваться, танцевать, чем писать стихи и рассказы. Зато зимой от них не продохнуть — идут и идут, несут и несут свои опусы...

Дина должна была позвонить в пять. Сидеть одному и ждать целый час звонка не хотелось, он решил побродить по улице.

За последние дни в городе заметно прибавилось женщин — после каникул начали съезжаться студентки. Как легкие поплавки скользили и покачивались они в уличном течении. Севка старался не смотреть на их ноги. Считал, что сегодня должен поменьше заглядываться, потому что нашел свою женщину.

У кинотеатра встретил знакомого художника. На нем был просторный, как пижама, светлый чесучевый костюм. Севка перехватил его взгляд: тот смотрел на ноги идущих впереди девушек...

— Серафим Ильич! Приветствую вас!

— А-а, Сева, здравствуй. Почему не заходишь ко мне?

— Некогда, Серафим Ильич, — работа. Несколько раз собирался к вам в мастерскую и — не получается. А как подвигается ваш саянский триптих?

— Туго. Придется еще раз лететь. Ты не целишься туда?

— Да я бы с удовольствием — не отпустят. Там здорово! Помните котлеты из кабарги?..

Севка познакомился с художником Славиным зимой, когда ездил в Саяны к геологам. Веселая была командировка. По вечерам в комнатку, где они жили, сходился весь геологический отряд. Художник импровизировал такие лекции по искусству, что слушать его можно было бесконечно. Геологи окрестили его последним энциклопедистом: что касалось живописи, он знал все...

— Что же мы стоим на солнце, жаримся? Зайдем, пропустим по стаканчику? — Серафим Ильич потащил Севку в магазинчик с вывеской «Соки — воды».

Они выпили по стакану «столового», потом еще по одному. Никаких ощущений, кроме легкой оскомины, вино не вызывало.

— Помогает от жары, как квас. Может, еще по одному? — предложил Славин.

— Нет, больше не могу. У меня сегодня свидание, через полчаса она должна позвонить.

— Ну что ж, тогда отложим до твоей свадьбы. Наверно, собираешься, или нет еще?.. Здорово не тяни, после тридцати трудней будет решиться. Чем больше живешь, тем меньше попадается хороших людей, тем меньше веришь в идеальных. Это — закон. К тридцати пяти каждый становится реалистом, а некоторые и натуралистами, то бишь циниками. Дура лекс, сэд лекс. Закон суров, но это закон...

— Некуда будет привести жену, Серафим Ильич.

— Ты же где-то комнату снимал?

— Да, но молодой хозяин страшно ревновал ко мне свою жену. Он был шофер. За то, что несколько раз не выехал по ночному вызову, его чуть не уволили. Пришлось мне уйти.

— Где же ты сейчас живешь?

— В редакции на диване.

— Невеселое житье. У вас разве для молодых специалистов не полагается жилплощадь?

— Обещают и, видно, долго еще будут обещать.

— Ясно. Хочешь — перебирайся пока ко мне в мастерскую, я все равно по ночам не работаю. В сентябре поеду на этюды, будешь там жить один. Только договор: никакого шума не устраивать, никаких эксцессов.

— Все понятно, Серафим Ильич! Все будет, как в лучших домах, — по-джентльменски. По такому случаю давайте еще по «сухарику», Серафим Ильич!

Они выпили, и Севка вдруг почувствовал сильный голод. Он вспомнил, что со вчерашнего вечера ничего не ел.

Глава третья

Дина не позвонила в тот день, не дождался Севка звонка и на следующий день. Каких только предположений он не делал; ему казалось, что только несчастный случай мог помешать Дине найти его.

Сиднем сидел он в редакции у телефона. Сергей Ефремов, его непосредственный начальник, заведующий отделом спорта и информации, подбрасывал ему письма читателей, но на задания не посылал — сочувствовал. Севка даже обедать старался побыстрей, управлялся не за час, как обычно, а за полчаса. И каждого из сотрудников, кто заводил по их телефону пространный треп, просил перейти на другой телефон.

Так он ждал три дня (впрочем, ночами тоже ждал, потому что спать оставался попрежнему в редакции, хотя вещи свои уже отнес в мастерскую к Славину). Днем Севка боялся еще и того, что звонок могут перехватить ребята. За Сергея он был спокоен — это серьезный семьянин, шашни заводить не любит, разве что за компанию раз — другой в год. А другие сотрудники (молодежная все-таки газета!) были всегда готовы волочиться и флиртовать. И нередко все начиналось с искусно подстроенного телефонного разговора.

На четвертый день Севка еще ревнивей стал прислушиваться к каждому звонку — в редакцию вернулся из командировки Коля Кармилов, большой, всеми признанный король «кадрежа». «Закадрить», то бишь познакомиться и заинтриговать женщину, для него было просто, как написать информацию. Его победы были неожиданны и блистательны. У него была своя безотказная метода — увозить каждую «прекрасную незнакомку» подальше от города, на природу, в глушь. О, он умел это красиво обставить! Так красиво, что женщины не обижались, когда выяснялось, что ближайшая электричка идет только утром, но можно остаться на даче у его знакомых. Словом, Коля был легендарной личностью.

Вот и на этот раз, едва поздоровавшись с ребятами, которые, как по вызову редактора, кучей завалились в кабинет, он начал рассказывать о своей очередной победе:

—...Это была прелестная женщина. Приехала с Запада, хотела посмотреть настоящую тайгу. И нам оказалось по пути. Я взял командировку в Урманский леспромхоз, договорился со знакомым летчиком, и мы улетели. Бесплатно, разумеется. Кто из вас увозил когда-нибудь женщину на самолете?.. Никто. Какая женщина устоит перед таким соблазном? Никакая. Перенимайте, дети, опыт, пока я жив. Вопросы будут?.. Да, она, конечно, молода, двадцать — двадцать один, не больше. Была, правда, замужем, но не в этом суть. Бездна обаяния! Непосредственна, как Джульетта. Кстати, она начинающая актриса... Что ты хотел спросить, Севка? Хочешь, чтоб познакомил? Могу подарить. У нас с ней уже ничего не будет.

— Коля, ты талантливый бабник. На твоем фоне я буду выглядеть бледно,— сказал Севка, глубоко затягиваясь сигаретой и стараясь быть спокойным. Но Кармилов почувствовал в его тоне что-то такое, от чего расхотел делиться с ребятами подробностями своей победы, а про себя он подумал о Лазареве: «Дон-Кихот, которому жалко каждую девчонку, которая досталась не ему...»

На этом маленькая «пресс-конференция» закончилась, все разошлись по своим кабинетам. Севка остался сидеть у телефона. Выкурив до коричневого ободка фильтра одну сигарету, тут же закурил другую. Он вдруг подумал: «Посмотреть настоящую тайгу — типичный импульс...»

Надо было позвонить в соседний кабинет Кармилову и спросить: «Коля, а как звали ее?» Но Севке ни о чем не хотелось его спрашивать. Все это чушь! Глупо и смешно думать, что так случилось с Диной. Зачем же она сидела у моря, просто сидела, смотрела, слушала. И лицо у ней было спокойное и светлое. Она даже пыталась тихо петь: «Опять стою на краешке земли, опять плывут куда-то корабли...» Хотя море лежало пустое, без кораблей, без лодок.

...Ровно в пять Дина позвонила. Она сказала:

— Сева, ты извини, что так долго не звонила. Сейчас у меня все в порядке. Буду работать в драмтеатре и жить в общежитии. Познакомилась уже с городом, мне здесь очень понравилось. Только не узнала еще, где находится ваша редакция.

Севка так обрадовался и так растерялся, что забыл спросить, откуда звонит Дина, и начал объяснять, как добраться до редакции от вокзала. Она засмеялась и сказала, что уже не живет на вокзале. Оказалось, что она совсем близко, в общежитии, которое стоит на той же улице, что и редакция. Они договорились встретиться в шесть у кинотеатра «Сибирь».

Хорошо, что в кабинете никого не было: ребята не упустили бы возможности поострить, посмеяться над тем, как взбудоражил Севку этот телефонный разговор. Улыбаясь, он порвал на мелкие куски два листа, на которых был написан его репортаж с футбольного матча. Улыбаясь, начал разрисовывать чернилами телефонный справочник. «Дура лекс... Дура лекс...—вспоминал он слова, сказанные художником Славиным.— Сам ты дура, сам идиот. Как мог предположить... Всемогущий Кармилов! Собиратель бабочек!.. Да если разобраться в его коллекции, кроме смазливых простушек там никого и нет, одни симпатичные дуры...»

В шесть часов они встретились. Дина пришла в легком ситцевом платье. Севка долго тряс ее руку и долго улыбался, потом сказал:

— Дина, вас нельзя выпускать на улицу одну. Вас могут умыкнуть, увезти и спрятать в темную комнату. Вам будут приносить шампанское и фрукты, раз в неделю к вам будет заходить усатый мужчина: требовать стать его женой.

— Но здесь же не Кавказ и не Средняя Азия!

— Все равно — без спутников вас выпускать рискованно.

— В таком случае я прошу вас, Сева Лазарев, быть моим спутником. А почему мы снова перешли на «вы»?

— Ты сегодня такая... Дина, нам уже пора бежать отсюда, публика окружает нас, скоро полезут к тебе за автографами.

— Бежим, но куда?

— На реку хочешь, на лодочную станцию?

— Идея! Только чур: грести буду я. Обещай мне, Севка!

...Лето катилось к концу, начинали желтеть и облетать тополя. Стояли последние теплые вечера, горожане после работы уезжали за город, уходили в парки, на реку — долгая зима научила ценить каждый летний час. В тот вечер улицы были многолюдны, как в праздник, автобусы и такси шли с малой скоростью. Много народу собралось и на лодочной станции, у кассы очередь вытянулась метров на тридцать. Но Севке ничего не стоило взять лодку: в мае он писал репортаж с открытия станции и с тех пор его там, к счастью, не забыли. И если бы кто-нибудь в очереди крикнул: «Эй, парень, куда прешь!»— он мог бы ответить: «Граждане, моя фамилия Лазарев, я журналист, и это я помог станции «выбить» двадцать дополнительных лодок». Словом, угрызений совести у него не было, когда он помогал Дине войти в лодку. Как и договорились, она села на весла.

Снова, как в ночь знакомства, Севка почувствовал себя легко и просто, вернулось то же ощущение: да, эту девушку он знает с незапамятных времен, как знают друг друга близнецы, только долго не видел ее...

— Сева, ты уже нашел себе комнату?— вдруг спросила Дина.

— Ага, а как ты догадалась?

— Не знаю. Мне показалось.

— Да, меня пустил в мастерскую один знакомый художник. Ночью она свободна, художник живет в другом конце города. У него семья и трехкомнатная квартира. Местный мэтр.

— Это интересно. Я ни разу не была у художников. Ты пригласишь меня посмотреть?.. А не страшно спать среди картин, среди портретов?

— А у него там, в основном, пейзажи, так что даже приятно. Как говорится, ласкает глаз и успокаивает. Жить можно, надо только привыкнуть к запаху красок. Ты не устала?— Севке становилось уже неловко сидеть на корме.

— Нет, я еще немного погребу. Правда, у меня получается?

— Здорово! А где ты научилась?

— На Урале, на озерах. Там их много, и все чистые-чистые, плывешь на середине — и камни видно.

— Но не чище нашего Байкала!

— Сева, я хочу там побывать! Если б не было здесь Байкала, может, я не приехала бы сюда. Ты должен меня свозить! Обещай!

— Обещаю: поедем в ближайшее воскресенье. А сейчас я сяду на весла, а?

— Нет, нет, еще немножко.

— Такая маленькая и такая сильная,— усмехнулся Севка.

— Не льсти, я слабая, — серьезно сказала Дина.

...Они катались до тех пор, пока расплющенный малиновый шар солнца не вплавился в дальние таежные увалы, пока не дохнула река донной водорослевой свежестью. «Заканчивайте!» — грохнули по воде из рупора. Лодки послушно потянулись к причалу. Уткнулись носами в деревянный настил. Замерли.

Люди разошлись. А лодки еще помнили людей, берегли их тепло, но постепенно выстывали.

Город почему-то медлил зажигать огни. Севка и Дина шли по сумеречным неуютным улицам. Было в теплых и вязких сумерках что-то тревожное, как недоброе предчувствие. Хотелось скорей вбежать в ярко освещенную комнату и плотно захлопнуть дверь.

— Сева, я не хочу в общежитие,— сказала Дина. — Там в нашей комнате живут пять молодых актрисок. Представляешь, что это такое?

— Представляю: балаган, в котором играют круглосуточно. Поедем ко мне? Посмотришь творения Славина.

— Поехали!

Спустя полчаса они зашли в мастерскую. Это была двухкомнатная секция, в которой убрали перегородки и таким образом как бы расширили площадь. В ней царил слабый олифовый запах красок и спартанская атмосфера: диван, стол, два стула и пустой мольберт составляли всю обстановку. Стены были голые, только на одной висели огромных размеров корявые оленьи рога. На полу лежала большая новая темно-бурая медвежья шкура. Лишь она смягчала аскетический вид мастерской.

— А где же картины?— спросила Дина.

— Лучшая из картин вот здесь,— Севка подошел к окну и раздернул шторы. С высоты четвертого этажа была видна левобережная часть города. Тысячи пульсирующих вразнобой огней расплывчато, дробно отражались в реке. Вниз по реке шел теплоход. Освещенный изнутри, он казался легким, стеклянным.

Севка раскрыл окна, и в комнату вошел влажный речной воздух, проник приглушенный шум города.

— Вот этого не могут изобразить художники,— сказала Дина.

— Даже у Ван Гога ночь получалась неважно, — сказал Севка.— Он хотел нарисовать свет звезды, а выходили застывшие концентрические круги. Со злости он отрезал себе ухо... А я ведь тоже чуть не стал художником, Дина!— и Севка рассказал, как это было.

После школы он не знал, куда кинуться, вопрос «Кем быть?» так и остался нерешенным. Ему хотелось быть: а) путешественником, б) конструктором, в) летчиком, г) футболистом, д) художником, е) философом и т. д. Поехал поступать в Москву, долго ходил по институтам, приглядывался, прислушивался. Однажды зашел в институт живописи. Посмотрел развешанные по стенам работы студентов. Рыжий, в очках и редкой бороденке абитуриент сказал ему, что на приемных экзаменах требуют ню. И когда Севка спросил: «Это как?»— парнишка, сверкнув очками, небрежно пояснил: «Изображение обнаженной женщины, провинция». Севка попросил его снять очки, но рыжий, высоко подняв голову, ретировался.

Севка понял: таких приемных экзаменов не сможет сдать, и ушел из института. После этого случая он еще несколько раз попадал под холодный душ столичной спеси, и это было неприятно. Когда это ему надоело, он купил билет и уехал в Свердловск. Там неожиданно для себя поступил на отделение журналистики в университет — пути выпускников школы неисповедимы...

— А где же все-таки картины Славина?— спросила Дина.

— Да вон они стоят, он почему-то отворачивает их к стене, — усмехнулся Севка.

Часа полтора они смотрели этюды и картины.

— Пейзаж... Еще пейзаж. Обрати внимание: одни пейзажи, — говорил Севка.— Здесь многие — и старые, и молодые живописцы — поют Сибирь. Импрессионизм для них — апогей смелости. Графики есть хорошие, я тебя познакомлю с одним. А эти прячутся за пейзажи. Помнишь, в школе рассказывали о башнях из слоновой кости?.. Это нечто похожее.

— А вот и портреты!— сказала Дина, разворачивая незаконченные картины лицом к свету.

— Это его саянский триптих. Геологи. Зимой мы с ним вместе ездили в партию. Там круглогодичная партия. Люди, как отшельники, обрекли себя на одиночество. Конечно, не для поисков бога. Интересные ребята — в каждом сидит поэт и политик. О чем только они не рассуждают! Нравятся тебе портреты?

— Скучно. Они слишком походят на плакаты, — сказала Дина.

— Вот именно — плакаты. Еще одна спекуляция на романтике. Оскопление посредством лакировки.

— Сева, ты почему такой злой? Ты что, совсем не уважаешь Славина? Зачем тогда стал здесь жить?

— Только затем, что негде жить. Славин — неплохой мужик, эрудит. Но в искусстве не это главное. И среди графоманов встречаются умные люди, в редакцию иногда приходят такие...

— Сева, а это чей портрет?

—А-а, Славин еще не соскоблил его? Это портрет председателя колхоза. Заказ Дома культуры. Приличные деньги получил за него живописец. Год назад этот председатель на всю область гремел, обязательства брал сногсшибательные. Бодрячок дядя. Видишь, носил украинскую рубашку. Когда Славин закончил портрет, председателя уже не было на месте. Сняли за приписки. Оказалось,— дутая фигура. Деньги Славину выплатили, а портрет за ненадобностью вернули. Веселая история, правда?

— Правда,— устало сказала Дина.— Но у меня уже в глазах рябит от этих полотен. Поставь назад. Славин ставит их, как людей перед расстрелом,— лицом к стенке.

— Извини, я заболтался. Сейчас я тебя провожу,— заторопился Севка: было уже поздно. Дина подошла к дивану, села, прямо вытянув ноги. Она вдруг почувствовала приступ усталости, сильный до тошноты,— катанье на лодке давало о себе знать.

— Разве обязательно провожать?— сказала она.

— То есть как?— спросил он.

— Ты где спишь, Сева?

— На диване.

— А я буду спать на шкуре убитого медведя. Никогда не спала на шкуре убитого медведя! Я не хочу возвращаться в тот балаган. Ты меня не прогонишь?

— Нет, нет. Ты знаешь, у меня есть спальный мешок, сейчас я его притащу,— засуетился Севка.— Но тебе лучше будет на диване — на полу можешь простыть.

— Сева, не спорь. Я буду спать в спальном мешке на шкуре убитого медведя. Пойми: это же первый раз в жизни! Я буду спать, как верная собака у ног своего хозяина!—

Дина засмеялась. И Севка, чтобы сбить оглушившее его смущение, громко расхохотался. Потом он принес спальник. «Хорошо, что есть чистый вкладыш»,— подумал про себя. Когда все было готово, он выключил свет.

Дина тихо смеялась, осваивая спальный мешок. Наконец устроилась и спросила:

— Севка, а на все пуговицы застегивать?

— На все не нужно, жарко будет,— ответил он с дивана.

Они долго не могли уснуть. Когда тишина стала раздражать, Дина сказала:

— А здесь очень тепло. Прекрасно спать на шкуре убитого медведя! Мя-я-гко. Расскажи что-нибудь, Сева.

— Я уже весь выговорился, иссяк. Расскажи лучше ты о себе,— попросил он.

— Это не так интересно. Впрочем, если ты хочешь... Я была замужем, Севка. За актером. В восемнадцать лет выскочила, дура. Наверно, я любила его. О нем ходили разные слухи, а я никому не верила. Но однажды случилось такое, что я чуть с ума не сошла. Говорить противно... В общем, у моей подруги родился сын и оказалось, что это от него ребенок. В тот же день я убежала от него.

Два года прошло, а он до сих пор не дает согласия на развод. Ну, и черт с ним. После этого я видеть никого не могла. Я спасалась от мужчин. Ведь актрис ловят на каждом шагу, и это только дурам льстит. Думаешь, кокетничаю? Серьезно: противно, когда лезут, лезут... Девчонки завидовали и злились на меня, как мегеры. А мне тогда никого не надо было. Я разыгрывала своих поклонников. Прыгала от одного к другому, как на болоте по кочкам. Задержись на одном месте — и пойдешь ко дну. Можешь себе представить, какая слава обо мне ходила! Я никому никогда ничего не обещала, а они считали, что я изменяю напропалую, каждому с каждым...

В комнате наступило долгое молчание. Потом Дина спросила:

— Ты не веришь, Севка?

— Верю,— сказал он.

Дина уснула. Севка, накрывшись одеялом, прикурил сигарету.

Глава четвертая

Прошла неделя, и наступил сентябрь. В воскресенье был долгий дождь, после которого на деревьях появились новые желтые листья. Запланированная Севкой поездка на Байкал сорвалась. Но он верил, что будет еще много хороших воскресений, что осень будет ясная, как в прошлый и в позапрошлый год.

Дина приходила без предупреждений и обещаний — так приходят в гости к родственникам. Вид у нее был такой: «Мимо шла — увидела свет в окнах — дай, думаю, забегу». Но стоило ей сбросить плащ, как она вступала в роль хозяйки. Севка, дурея от радости, со рвением помогал ей утверждать в мастерской порядок.

Однажды Дине попали под руку акварельные краски и она решила «побаловаться». Севка сел писать материал для газеты. Подходить и подглядывать она запретила ему. Снова услышал он в тот вечер песню:

Опять стою на краешке земли,
Опять плывут куда-то корабли...

И было ему хорошо писать под эти слова, под мелодию, в которой будто эхо повторяло звуки. Виделась августовская тайга с поспевшими ягодами и кедровыми шишками, в которой ходят суматошные горожане и без конца аукаются, чтобы не растеряться. Хотелось в тайгу...

А Дина увлеклась. На столе перед ней просыхали уже несколько листов бумаги, вода в стакане, в которую она макала кисточки, сделалась грязной. Севка заметил это и посоветовал:

— Ты бы сменила воду.

— Сейчас,— сказала она и продолжала рисовать.

Она рисовала по памяти уральские пейзажи: многоцветные, яркие, как цыганские наряды, осенние горы, красные скалы, нависшие над рекой, зеленый закат над черными елями. На трех листах было просто небо — облака, тяжелые тучи, сквозь их разрывы, как сквозь проруби,— синева.

Дина не отрывалась от красок часа два. Севке давно надоело писать свой репортаж с волейбольных соревнований. Сидя на диване, он откровенно, в упор рассматривал ее напряженное, замкнутое и все-таки красивое лицо.

— Все,— сказала, наконец, Дина.— От имени дилетантов и по поручению профанов позвольте мне открыть выставку акварелей товарищ Андреевой Дины Петровны! Журналистов прошу не толпиться и не тыкать пальцем в картины — они еще не высохли!

Севка захохотал, закричал: «Ну-ка! Ну-ка!» — и подбежал к столу. Улыбаться сразу перестал, смотрел подолгу на каждый лист. Дина молчала, ждала, что он скажет, нервно

вертела кисточку. А Севка вдруг уставился на ее руки, немного испачканные в красках. Он впервые подумал, какие красивые у нее руки — тонкие, с чуткими пальцами. Ему отчаянно захотелось поцеловать их, положить в них лицо или спрятать голову под их теплый навес. Через мгновение у него уже не было сил удерживать это желание. Динина речь «по случаю открытия выставки» подсказала ему блестящую мысль. Он решил сыграть «поклонника таланта».

Если б не было на руках присохших мазков красок, может, он не решился бы. Эти прозаические мазки делали ее руки доступными...

Севка изобразил на своем лице типичный восторг ценителя муз, сказал протяжное и многозначительное «О-о-о!..» Потом учтиво склонил голову, быстро взял руки Дины и поцеловал их три раза. Кисточка неслышно мазнула его по щеке.

— Ну что вы, что вы!— подыграла ему Дина, уже по инерции. Ей не трудно было заметить, что Севка немного переиграл: поцеловал не раз и не два, а трижды. Но она улыбнулась его находчивости.

— Вытри щеку, вот здесь,— показала Дина на своем лице.— И скажи мне что-нибудь.

— Признайся: это не в первый раз?— кивая на рисунки, сказал он не в меру приподнято.— Вижу, что не в первый! Знаешь, что такое акварель. Обычно любители рисуют ей, как маслом. Кладут краску на краску, в результате — грязь. Горы у тебя тоже вышли грязновато, а небо — здорово! Особенно закат. Слушай, зачем ты пошла в актрисы?

— А я и сама не знаю, так случилось... Все могло быть иначе. Я и писать начинала, поэты челябинские хвалили даже. Но все это ерундистика, самодеятельность!

— Ты молодчина, Дина! Этюды у тебя добротные,— серьезно сказал Севка. Но думал он уже о другом, потому что она вдруг засобиралась уходить.

...В тот вечер Севка вспомнил давнее, еще школьных времен, ощущение. Всем классом они ходили в горы. На третьи сутки похода «взяли» перевал, решили устроить там, на плоской вершине, большой перекур. Стояла жара, солнце било прямой наводкой. Все побросали с плеч рюкзаки, попадали в густой и диковинный альпийский цветник, чтобы позагорать. Кто-то громко и счастливо закричал — и сильное эхо встряхнуло горы. Тогда начали кричать и блажить диким голосом все сразу — в горах случился переполох. А потом кто-то запел: «Трепал нам кудри ветер высоты и целовали облака слегка...» Откуда-то снизу, из ущелий, взбаламученных криком, как по вызову, стали подниматься облака. Вдруг солнце исчезло. Будто мокрой подушкой накрыло перевал, стало холодно, глухо. Ребята начали натягивать рубашки. Но скоро облако протянуло и снова ударило солнце, наступила жара. А снизу подползало уже другое облако... Климат на перевале менялся через каждые десять минут. Ребят бросало то в пот, то в дрожь. Жить в облаках оказалось скверно: мокрая вата забивала уши, глаза, нос. Они решили тогда не делать большого перекура, а поскорей спуститься в долину...

Вот такой же неровной была в последнюю неделю жизнь Севки: одиночество сменялось радостью и снова... Надо было быстрей миновать этот перевал двойственности, прийти к определенности. Но как?.. Он догадывался, что Дина убегает от какого-то большого своего смятения и тихая мастерская художника для нее — как надежная конспиративная квартира, где не будут ни о чем допытываться и лезть в душу. Он чувствовал, что она безоглядно доверяется ему. Это делало его счастливым и безоружным. А хотелось быть сильным, говорить тяжелые и дерзкие слова о любви... Но он боялся испугать ее.

К двадцати пяти годам он так и не научился обходиться без посредников. Все его знакомые девушки прежде были знакомыми его друзей. В одной компании, куда затащил однажды зимой Коля Кармилов, все считали своим долгом найти «девушку для Севы». Ничего серьезного из этого никогда не получалось.

В эту-то компанию и повел на следующий вечер Севка «свою девушку». Конечно, не для того, чтобы поразить «салон мадам Ирен» (так называли среди журналистов этот угол с музыкой).

Он решил познакомить Дину с Кармиловым, завсегдатаем салона, и покончить с сомнениями, которые иногда приходили к нему. Ведь портрет «прелестной женщины», которая летала с Кармиловым в леспромхоз, полностью походил на Дину. Севка рассуждал так: Коля все-таки хороший товарищ, не станет скрывать, если у него спросить прямо: «Вы не знакомы?» Надо только спросить с нажимом. Может быть, и сама Дина не будет скрывать. Есть актрисы, которые играют и на сцене и в жизни, а Дина — без рисовки, без тонких многозначительных улыбок: встретишь и даже не подумаешь, что актриса.

Они пришли в девятом часу, когда все были уже в сборе. «Кармилов обещали быть», — сказала Ира, хозяйка салона. «Да, он

обещал нам показать свою новую девочку»,— подтвердил Боря, ее юный супруг. Парню шел девятнадцатый год; когда при знакомстве ему задавали нескромный вопрос о месте работы, он отвечал с достоинством: «Я — коллекционер музыки». Нельзя сказать, что молодая семья жила только на зарплату жены (Ирен работала на почтамте в окошке «До востребования»),— увлечение Боба музыкой также приносило доходы, он был разворотливым и довольно популярным в городе миссионером от музыки.

Салон занимал половину небольшого деревянного дома, который стоял на одной из центральных улиц и ждал своей очереди на снос. В другой половине жила старушка-домовладелица. Она была почти глухая и потому не препятствовала музыкальным вечерам, которые устраивались частенько. В салоне стояли два поролоновых кресла, журнальный столик и широкая тахта, на которую взбирались иногда по восемь-десять человек. Окна закрывали желтые жалюзи из деревянных планок. На полу лежали циновки и потому было принято ходить в носках. Гордость дома — громадный магнитофон с разными приставками — помещался в красном углу.

Угощениями гостей не баловали, обычно каждый приносил что-нибудь с собой; обычно «выпивона» было больше, чем закуски. Фирменным блюдом считался «черный кофе по вечерам». Кофе пили всегда, даже тогда, когда ни у кого не было денег, а для того, чтобы регулярно пополнять его запасы, организовали специальную кассу, взносы в которую делал каждый, кто переступал порог этого дома вечером. Пришлось внести по двадцать копеек и Севке с Диной.

Когда Ирен узнала, что Дина актриса, ей на секунду стало неловко за «кофейную кассу». Но не могла же она предположить, что Севка приведет к ним актрису! Самыми светскими из приходивших сюда женщин были стюардессы, они, конечно, выламывались и смотрели на всех, кто ходит по земле пешком, свысока (у Нонки Быстровой было такое любимое выражение: «Пресмыкаетесь, да?»), но когда напивались, они становились обыкновенными девчонками, каких много работало и на трамвае, и на почтамте, и на слюдяной фабрике. Актриса в салоне была впервые.

Это событие восприняли бы спокойней, если бы ее привел Кармилов: тот мастак, может «закадрить» кого угодно. Но привел Сева Лазарев, этот валенок, этот лопух... Впрочем, он держался уверенно, будто знал ее близко, по крайней мере, уже месяц, добился всего и за это время успел поохладеть. Так показалось всем, кто собрался в тот вечер. В салоне случился тихий переполох, тем более что Севка выставил бутыль мускатного шампанского. Надо было не уронить честь дома, во что бы то ни стало произвести впечатление. Васю Серкова сразу же послали в магазин (правда, не раньше того, как отрекомендовали перворазрядником по самбо). Севка знал, что сейчас каждый начнет выпендриваться, знал наперед, о чем будет говорить каждый.

Дину усадили в кресло и на столик перед ней положили последние номера журнала «Америка». Чтобы сразу ошарашить гостью, Боб поставил ленту с американским джазом.

— Соло на трубе. Исполняет Луи Армстронг!— объявил он голосом опытного конферансье. И тут же добавил, поглаживая полку с кассетами:— Вы знаете, Дина, сколько здесь лежит мелодий?

— Три тысячи мелодий,— досказал Севка.— Можно слушать неделю подряд.

— Сейчас уже больше трех тысяч,— уточнил Боб с достоинством.— Недавно я достал записи эмигрантских песен. «Очи черные» поют так, что закачаешься. Кстати, послушайте, сейчас будет петь «Очи черные» сам Армстронг...

Музыкальная коллекция Боба была эклектична, как свалка. Лента с американским джазом, как и все остальные, демонстрировала потрясающую всеядность владельца магнитофона. Классически сложные ритмы рапсодии Гершвина сменяли шлягеры для ширпотреба, спиричуэлсы — духовные гимны негров — следовали за унифицированными твистами, умиротворяющие блюзовые мелодии — за вакханалией ударных инструментов... Десятки имен певцов и композиторов. Всех их, конечно, не мог знать Боб-коллекционер. Но те, которые знал, он произносил часто и со смаком: Элла Фитцжеральд! Элвис Пресли! Гарри Белафонте! Пит Сигер! Луи Армстронг!

Пожалуй, только одно объединяло большинство магнитофонных записей — ритм и заграничное происхождение. А любовь к ритму объединяла посетителей «салона мадам Ирен».

Сейчас они сидят и полулежат на тахте и на циновках, слушают давно надоевшие мелодии, ждут, когда принесут выпить.

На тахте — гости. Парень с бородой — это геолог Аркадий Тихомиров. Как-то в молодежной газете появлялась его статья о романтике профессии разведчика недр. Правда, сам он давно уже не был в тайге — третий полевой сезон заканчивает на асфальте... Девушка

в красном платье — помреж со студии телевидения Люба. Свою должность она обычно называет полностью — помощник режиссера, хоть и работа ее — чуть посложней работы курьера. Люба — подружка геолога-урбаниста Тихомирова. Он часто обещает на ней жениться, но все не хватает времени развестись со своей первой женой... Девушку в декольте зовут Жанна, она работает на швейной фабрике. Мечтает стать кинозвездой: у нее громадные глаза. Об этом все в салоне знают и все верят, что «со своими глазами Жанна станет человеком».

Видно, что Дину они оценили, хотя она ничего не делала, чтобы понравиться,— просто сидела, слушала, не отказалась от предложенной Бобом сигареты. Магнитофон гремит почти на полную мощность, все молчат, придавленные обвалами звуков. Севка наклоняется к Дине:

— Тебе здесь не скучно?

— Нормально,— говорит она.

Хозяйка дома обратила внимание на их шепот. Она собралась было сказать трафаретное: «В компании секретов нет», но побоялась, что актрисе это покажется слишком банальным. Вместо этого Ирен подошла к Дине и протянула журнал мод:

— Посмотрите вот на это...

С фотографии номер сто шестнадцать улыбалась симпатичная узкобедрая девушка. Внизу стояла такая подпись: «Вечернее платье из капрона. Юбка гофрированная. Поясок скреплен брошью. Автор Г. Габуния».

— Красивое платье. Вам нравится, Ира? Хотите сделать такое?— спросила Дина. «Неизменный номер программы, слава салона»,— с усмешкой подумал Севка и, опережая ответ Ирен, лишая ее большого удовольствия, сказал:

— Эта манекенщица раньше работала вместе с Ирен на почтамте, они были подругами. А потом ее увез в Москву какой-то заезжий актер. Повезло!.. Как видишь, неплохо устроилась. Жаль, конечно, что в журнале пишут фамилии художников-модельеров, а не фамилии манекенщиц... Так и спутать можно одну с другой.

— Не язви, Севка. Она же писала мне, что фотографировалась для журнала мод,— обиделась Ирен.

Севка вел себя далеко не безупречно. Он нервничал, ожидая, что вот-вот заявится Кармилов. Когда вернулся из магазина Вася-самбист, Севка начал торопить с выпивкой, маскируя свое волнение вполне идиотскими прибаутками: «Руки зябнут, ноги зябнут, не пора ли нам дерябнуть», «Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать».

«Надо успеть напиться, тогда все будет проще»,— думал он.

На журнальном столике выстроились в шеренгу керамические бокальчики, по-деревенски аляповатые и незамысловатые.

— Все как в лучших домах!— комментировал Севка их появление.

— Севка сегодня в ударе,— сказал Боб.— Что могут сделать с человеком...

— Говори, не останавливаясь, какую-нибудь муру и ты будешь в ударе,— не дал ему досказать Севка.— Ты уже положил начало, продолжай в этом же стиле.

Столик пододвинули к тахте, подтащили кресла и табуретку, налили шампанского и, наконец, все было готово.

— Дамы энд господа!— начал Боб говорить тост.— Как мне стало известно, у одного из нас случилось сегодня в некотором роде событие. Точнее, он явился непосредственным виновником этого события. Вы обратили внимание, как тих и загадочен сегодня наш геолог?..

— Не томи! Покороче,— попросил Севка. Боб продолжал:

— Аркадий Тихомиров стал сегодня папой! У него родился сын на три кило! Выпьем же за единственного среди нас папу! Выпьем за его будущего собутыльника — сына!

Все засмеялись, зашумели, закричали: «Что же вы молчали! Молодец, Аркаша! Держись, геолог! Крепись, геолог! Выпьем за отца семейства! Вот это сюрпризик!» Вместе со всеми смеялась и прыгала вокруг стола помощник режиссера Люба, подруга Аркадия.

Выпили шампанское и сразу налили столичной. Выпили под лозунг: «Даешь потомство!» Слово попросил «непосредственный виновник», повеселевший от всеобщего внимания геолог-урбанист Тихомиров:

— Мальчики и девочки! Помогите придумать имя для сына. Объявляется конкурс на лучшее имя. Победителю — остатки шампанского!

Снова все загалдели и стали выкрикивать имена: Эдуард, Артур, Андрей, Игорь, Герман, Лев, Леопольд, Сергей, Олег, Виктор, Роман, Радий, Феликс, Александр... Вместе со всеми придумывала имя помощник режиссера Люба. Она настаивала, чтобы сына звали Арнольд. Арнольд Аркадьевич — отличное сочетание. За настойчивость Любе налили шампанского.

Потом на столе выросли две бутылки «Анапы». Пили уже без тостов, «в рабочем

порядке»; кто хотел, тот наливал себе и своей девушке. Севка угощал всех и быстро, быстро напивался.

Магнитофон работал на полную мощность. О, великое достижение двадцатого века! О, культ магнитофона! Когда он есть, не нужны умные разговоры, споры и прочие интеллигентские штучки. Пусть этим занимаются пенсионеры! Танцуйте, актрисы, твист!

Дина танцевала с Бобом, Вася-самбист с волоокой Жанной, папа Аркадий с изящной и гибкой Ирен. Белобрысый плечистый самбист танцевал энергично и примитивно. Он стоял с опущенными длинными руками и ожесточенно двигал правой ногой, отставленной вперед, будто растирал на полу окурок. В комнате пахло потом — люди занимались тяжелой работой. Лица были напряженны и непроницаемы, как при исполнении сурового обряда. Только Дина улыбалась.

Севка сидел на тахте рядом с помощником режиссера Любой. Он пребывал в нирване и в размышлениях о культе магнитофона и телевизора. Он вовсе не слышал, как доказывает ему Люба, насколько красиво звучит имя Арнольд и сочетание Арнольд Аркадьевич. Иногда он встречался взглядом с Диной и улыбался ей в ответ. О Кармилове больше не вспоминал. Сейчас ему было наплевать на Кармилова и на то, что могло случиться с Диной. Это не самое важное. Есть женщины, которых невозможно унизить, которые всегда остаются чистыми. Их можно оскорбить, но не унизить. И, подумав так, Севка почувствовал себя счастливым. От того, что нашел такую женщину, от того, что никто не помешает ему быть с ней.

— Ребята!— закричал он.— Давайте выпьем!

Умотавшись после нескольких твистов, танцующие повалились в кресла и на тахту. Портвейн уже кончился, перешли на рислинг. Хорошо, что его можно было пить, не закусывая: все съестное со стола исчезло. Магнитофон так нагрелся, что пришлось выключить.

Пожалуй, все началось с тоста, который сказал геолог-урбанист Тихомиров. Он сказал:

— Друзья, знаете ли вы, что горение — это не что иное, как распад, разложение? Это явления одного порядка. Так давайте гореть! Выпьем за горение!— Аркадий выпил рислинг. К нему полезла обниматься помощник режиссера Люба. Все хохотали и хлопали в ладоши. Севка поднялся с бутылкой и закричал, чтобы перекрыть гам:

— Аркаша! Выпьем за день рождения твоего сына!

Тихомиров не расслышал или нарочно не обратил внимания. Тогда Севка подошел к нему вплотную и заорал:

— Аркадий! Выпьем за твоего сына!

Любаша выскочила из объятий Аркадия и стала испуганно поправлять волосы.

— Сева, не будь истеричкой,— сказал Боб. — Хочешь пить — пей. Но, по-моему, ты уже накерялся.

Когда рислинг был допит, в салоне на несколько минут установилась тишина. Все закурили сигареты, разобрали стопку журналов, начали ждать, когда остынет магнитофон. И вдруг Вася-самбист сказал:

— Чуваки, в Америке новое течение — анти-джаз!

— Лажа!— сказал уверенно Боб.

— На, прочитай сам,— Вася бросил ему журнал в глянцевожирной обложке. Боб, едва взглянув на статью, встал в позу поэта чревовещателя и произнес:

— Ритм не умрет!

Потом он подошел к магнитофону и раскрутил регулятор громкости до конца. Через несколько секунд взвизгнула труба, грохнул барабан и — задрожали на окнах желтые жалюзи. В соседней половине дома, наверное, все-таки перевернулась на другой бок глухая старушка. Самый тренированный из компании — Вася-самбист пригласил Ирен на танец и с новым остервенением начал растирать на полу невидимый окурок. А рядом приседала и поднималась, выгибалась и заламывала руки тонкая и гибкая как змея Ирен. Все любовались Ирен.

— Я скоро фельетон напишу,— доверительно говорил Севка геологу Тихомирову.— Я назову его «Сибариты по-сибирски». Скажи, Аркаша, звучит: «Сибариты по-сибирски?» Я напишу фантастический фельетон. Представляешь: вдруг исчез джаз!..

— Сева, ты накерялся, ты обогнал нас всех,— сказал Аркадий.

— Забалдел от своей актриски,— сказал Боб, сидевший рядом.— «И страсть Морозова схватила своей мозолистой рукой».

— Тупик! Тупичок,— похлопал Севка по плечу Боба.— Иди поставь мне Гершвина. Уважай его! Гершвин — это человек!

— Вася-самбист — тоже человек. Не забывай, что Вася — мой лучший друг,— попытался Боб урезонить Севку.

Дина уже заметила, что Севка пьян, и думала, как увести его из салона,— слишком воинственно он настроен. Он, казалось, не хотел униматься. Когда Боб переставлял кас-

сеты, воспользовавшись паузой, Севка громко сказал:

— А вы не ищите мне больше женщину! Я нашел себе сам! Я все нашел!

— Сначала человек ищет себя. Потом любовь или жену. Потом собутыльника, умеющего слушать. Вся жизнь — в исканиях,— произнес геолог Тихомиров явно ворованное изречение и добавил.— Ты, значит, все нашел, Сева?

— Я нашел очень много!— трезво сказал Севка и подошел к Дине.

— Поедем домой,— тихо сказала Дина.

— Да, да,— сразу согласился Севка.— Чуваки энд чувихи! Мы с Диной покидаем вас. Мы едем домой. Благодарим за внимание. Если увидите Кармилова, передайте, что мне на него наплевать.

И уже в дверях он крикнул:

— Салют, сибариты!

— Плебей,— бросил кто-то лениво вслед.

Севка был по-настоящему пьян. На ходу он крепко прижимал локоть Дины и, тяжело наваливаясь, клонился в ее сторону. Дина положила его руку себе на плечи. Севка тотчас пошел старательней, легче.

В этот вечер Дина поняла, что он одинок беспощадно, что компания, в которой они были, давно жалеет его и всегда прощает ему язвительные выпады и уколы, что нелюбовь его к этим ребятам, как и к художнику Славину,— это от одиночества, что, наверное, все, с кем он знаком, жалеют его, а он от этого презирает всех... Так жалеют старых дев. Так жалеют больных мальчиков, которые тихо ходят, прилизанные и чистые, в стороне от ребячьих драк.

— Как же ты живешь, Севка? Ты, наверно, все время один?— сказала она осторожно, вдруг почувствовав себя на много лет старше его.

— Сейчас я с тобой,— сказал он, не поняв ее неожиданного вопроса.

И Дина решила с уверенностью, что зря приходит она к нему в мастерскую, все это зря. Совсем не она нужна ему, а какая-нибудь девчушка-десятиклассница! И пока не поздно, пока он не узнал всего, надо ей уходить. Пока не поздно. Завтра же...

Глава пятая

Сборы в субботу перед вылазкой на Байкал были короткими. Дина сбегала в магазин, купила кое-что поесть. Севка уложил в рюкзак акварельные краски, бумагу, фанерную крышку от посылки, которую можно было использовать как мольберт, пару книжек, плащ — и все. На автостанции вышло небольшое недоразумение, последствия которого оказались приятными. Что-то случилось с рейсовым, обыкновенным, автобусом и пассажиров посадили в роскошный интуристский автобус с мягкими откидными креслами и громадными окнами.

В салоне было чисто и свежо. Сквозь открытый вверху люк падало солнце, сочилось небо и тугой волной бил таежный воздух. Когда автобус выскакивал на вершины холмов, все поворачивали головы к окнам: с высоты открывались пронзительно резкие, не замутненные панорамы сентябрьских лесов, занимавшихся тихим недымным пожаром,— где факелами, а где большими кострами пылали березы и осины.

Севка вспоминал музыкальную вечеринку. Ему неудобно было за то, что привел Дину к «мадам Ирен», что напился там и наговорил всякой чепухи, хотя Аркашке Тихомирову стоило и в морду дать. А Дина отнеслась тогда ко всему спокойно. Наверно, в таких компаниях ей приходилось бывать, наверно, уральские «сибариты» не лучше сибирских...

Дина пристально, жадно смотрела на тайгу, тронутую осенью. Словно сама хотела затеряться, раствориться в таежной безбрежности, встать где-нибудь у замшелого ручья малиновым, дрожащим на ветру, факелом.

В седьмом часу вечера автобус был на конечной остановке, на берегу Байкала.

— Вот он како-ой!— улыбаясь, сказала Дина и побежала по белому галечному спуску к воде. Скинула туфли и побрела, но через несколько секунд выскочила, закричала:

— Почему ты такой холодный?!

— Кто?— спросил, дурачась, Севка.

— Да Байкал же, Байкал!

— Наверно, для того, чтобы быть таким чистым. Видишь, камни на дне? Там глубоко, а они лежат как на ладони.

— А там что за черточки, как пунктирная линия?— спросила Дина.

— Это сигары.

— Сигары?..

— Да, так называются плоты. Буксир тянет лес в плотах.

— Ну, куда мы пойдем, Севка?

— В Березовую падь.

— Пошли в Березовую падь!

Сразу за последними домами поселка начинался лес. На пологом косогоре стояла сухая, без подлеска, лиственничная роща. На самой кромке обрыва, судорожно цепляясь за землю бугристыми корнями, росли сосны,— широкие, приземистые, беспощадно изогнутые



байкальскими штормами. За деревьями мерцало море. Оно казалось безбрежным, потому что горы, встававшие по ту сторону на горизонте, были легкими, нереальными, похожими на длинную гряду облаков.

— Смотри, какая здоровая сосна, какие длинные иголки!— с восторгом сказала Дина.

— А-а, это кедр! Пышное дерево, правда?

— А что это за птицы летят?

— Дикие голуби.

— Ух, какие они стремительные!

По дорожке навстречу бежала собака. Увидев ее, Дина закричала:

— Собака, собака, а у нас колбаса есть!— Собака равнодушно свернула с дорожки. Севка объяснил ее поведение так:

— А у меня зато конура есть...

Дина рассмеялась. Потом он сказал, что не мешало бы им, пока не поздно, поискать место для ночлега. Она ответила, что успеют еще.

Они прошли еще несколько минут и показались крыши домов, распадок, на склонах которого стоял желтеющий березняк.

— Вот это и есть Березовая падь. Здесь дворов тридцать, не больше. Живут кондовые сибиряки,— сказал Севка. Дина поняла это по-своему:

— Значит, войди в любой дом — гостеприимство обеспечено.

— Пойдем дальше, там для тебя приготовлен отличный пейзаж.

Тропа скользнула вдоль заплотов, нависших над обрывом, потом запрыгала по камням вверх, потом, виляя среди порыжевших кустов багульника, круто спустилась вниз. Открылся синий пятачок бухты, взятой с трех сторон, как ладонями, лесистыми скалами. Казалось, что осень кинула на отвесные склоны свои самые броские краски, в лучах низкого солнца они выглядели особенно ярко. И все эти краски вобрала в себя бухта, обведенная узкой белой полосой галечника.

— Севка, смотри, прибой-то желтый!

— Это листьев надуло со скал. Ну что, доставать тебе краски?

— Нет, Сева, я не буду рисовать, у меня ничего не получится. Разве передашь цвет этой воды? Не хочу оскорблять такой пейзаж. Пусть он ждет настоящих художников.

— Тогда пойдем дальше или здесь посидим?— спросил Севка.

— Давай посидим, я никогда в жизни не видала такого! Жалко, что уже нельзя загорать. А камни-то какие теплые! Давай ходить босиком, я так люблю ходить босиком, только уж отвыкла. — Резкими движениями ног она далеко отшвырнула туфли.

— Эх, почему живут летом в городах? Выселять надо всех на траву, на песок! Чтоб люди снова учились чувствовать землю,— сказал Севка.

— Я где-то читала, что в Париже в августе закрываются все заводы и начинается всеобщий отпуск.

— Когда-нибудь будут делать все летние месяцы отпускными. Но останется ли земля такой же, много ли сохранится красоты?— начал рассуждать Севка.— Нам повезло: мы видим Байкал таким, каким он был тысячи лет. А представляешь, что здесь будет лет через сто? Цивилизация. Заводы, фабрики всякие. Не говоря уж о курортах и санаториях. Для производства, видишь ли, очень нужна химически чистая вода. А здесь ее так много, что кажется расточительством держать в резерве. Но художников не слушают, когда проектируют заводы...

— И журналистов не слушают?— спросила Дина.

— Журналисты могут хоть пошуметь, кампанию провести. У них хоть совесть будет чиста.

— Ладно. Если все обстоит так серьезно, если уж нам так повезло,— доставай краски. Я все-таки попробую!

Севка раскрыл рюкзак, спросил:

— Ты есть не хочешь?

— Нет, нет. Потом,— сказала Дина.— А для воды-то мы ничего не взяли,— в чем мне разводить краски? Или макать прямо в Байкал?

— Сейчас что-нибудь придумаем,— успокоил ее Севка. Кнопками он укрепил на крышке от посылки лист бумаги, быстро нашел на берегу консервную банку, погнутую совсем немного, зачерпнул воды.

— Только поздно уже, Дина. Солнце садится. Может, оставишь на завтра?

— Ты иди, иди погуляй пока, Сева.

Он пошел по берегу и стал собирать камни. Серые, невзрачные, они оживали и начинали играть неожиданно сочными цветами и оттенками, когда он брызгал на них водой. Так преображается пустой белый лист фотобумаги, когда его берут с доски увеличителя и опускают в проявитель. Севка подумал, что можно было бы сделать аквариум без рыб — положить в воду одни камни с Байкала.

Вдруг послышался шум, похожий на мотоциклетный треск. Севка невольно оглянулся на горы: кто и как мог там проехать? Но шум доносился с Байкала. Из-за крутого мыса, защищавшего бухту с восточной стороны, показались две лодки. Они шли, высоко за-

драв носы, почти наполовину поднимаясь над водой. «Рыбаки возвращаются»,— решил Севка. И хоть лодки не собирались причаливать в этом месте, он пошел поближе к Дине, чтоб рыбаки ненароком не помешали ей.

Дина даже не обратила внимания на шум моторок. Резкими короткими движениями кисти она бросала краски на лист бумаги, нервно постукивала по консервной банке, когда чистила кисточку, торопилась, будто никогда не повторится такой вечер, такой пейзаж.

Но невозможно было угнаться за закатом. Солнце уже высвечивало только вершины скал, небо менялось каждое мгновение, вода выцветала, темнела, сливалась с берегами. Быстро подступали сумерки.

— Все, пошли, Дина. Иначе загубишь этюд,— сказал Севка.

— Ну, как? Получилось что-нибудь?— спросила Дина.

— Да, это походит на Байкал. Ты талантливая женщина: закат на скаку остановишь!..

Дина рассмеялась счастливо, сказала:

— А в какую избу мне сейчас войти? Горящая не подойдет!

В Березовую падь они пришли, когда совсем стемнело. Пока Севка раздумывал, в какой бы дом постучаться, Дина договорилась с первой встречной женщиной. Разговор был кратким:

— ...Вы знаете, мы опоздали на последний автобус. Рисовали здесь на берегу и засиделись до темноты,— сказала Дина.

— Ну — проходите. Места хватит, — сказала женщина.

В комнатах ярко горел свет, было прибрано, пахло жареной рыбой, на плите посапывал чайник. За столом сидел хозяин дома — молодой мужчина с обветренным до черноты лицом и синими прищуренными глазами. Он отложил газету и энергично протянул руку — как топором махнул. Познакомились. Его звали Михаил, хозяйку, выглядевшую тоже молодо,— Лида.

— Как раз успели к ужину,— сказал Михаил.— А я вас видел на берегу.

— Вы с рыбалки ехали?— спросил Севка.

— Ага, ездили, да неважно порыбалили. Промерз только здорово, все никак не могу отойти.

— Так сегодня же тепло было, весь день — солнце!— удивилась Дина.

— На воде-то посидишь — заскучаешь. Это же Байкал! Давайте поближе к столу. У тебя там все готово, Лида?

— Сейчас, сейчас накрою,— засуетилась хозяйка.

— А магазин у вас во сколько закрывается?— спросил Севка.

— Еще работает,— ответил Михаил.— Но там у нас ничего нет, одни консервы да конфеты.

— Нет, я схожу, тут же недалеко. Что-нибудь там найдется...

Севка ушел и вернулся через двадцать минут с бутылкой шампанского.

— Прав был Михаил,— сказал он.— Пустые полки. Кроме шампанского нечего было купить, а для согревания оно, конечно, не очень подходит.

— Да, серьезности в нем не много — так, для баловства,— усмехнулся Михаил. Все уселись за стол. Лида поставила сковороду с жареной картошкой, сковороду с жареным хариусом, тарелку с малосольными огурцами, тарелку с солеными грибами, вазу с засахаренной брусникой. Колбаса и сыр, которые Дина достала из рюкзака, были отвергнуты. В граненые стаканы налили шампанского.

— Грех пить шампанское под такую «серьезную» закуску,— сказал Севка. Михаил улыбнулся, поняв его:

— Ничего, переживем.

Выпили «за знакомство». А потом Севка и Дина стали наперебой хвалить хариуса и соленые грибы — в ресторанах такого не подают. Михаил рассказывал, что давно на рыбалку не ездил, все лето болел, а вот сегодня, наконец, Лида отпустила его. Рассказали они также, что оба работают на судоверфи, что сын у них есть,— отправили погостить к бабке на ту сторону Байкала. Узнали Севка и Дина простую историю о том, как они познакомились и поженились, как строили дом и обзаводились хозяйством.

— Да, пришлось мне пообивать пороги ее дома, однажды чуть даже не подрался со своим будущим тестем...— вспоминал Михаил. А Лида тонко, с достоинством улыбалась: мол, так оно и должно быть по-хорошему — обивать пороги, куковать до утра на завалинке, добиваться, ждать... Все было естественно, правильно в их немудрящей жизни. И Севка с Диной, не сговариваясь, решили, что не нужно в этом доме рассказывать умеренных, «дамских» анекдотов, делиться зряшными городскими новостями, говорить о своей суетной работе, о запутанной жизни, о своих взаимоотношениях...

Потом мужчины допивали шампанское, а женщины налили себе чаю. Дина, не стесняясь, объедалась брусникой с сахаром. Лида убрала лишнее со стола, поставила чайник и

чашки и пошла стелить постели. Через несколько минут вернулась, сказала:

— Ну вот, все готово. Ложитесь здесь, в большой комнате, а мы уж там, в детской, все равно Юрки-то нет сейчас. Ничего, ничего, не смущайтесь, вы нас не стесните.

Дина встала из-за стола:

— Большое спасибо, Лида. Честное слово, никогда в жизни я так вкусно не ела. Пойду спать, я так устала за сегодняшний день.

Она вошла в комнату и увидела большую кровать, застеленную чистым, будто только что вышедшим из-под утюга, бельем. «Свою кровать отдали»,— улыбнулась она про себя. И еще улыбнулась — другой мысли...

Мужчины курили и продолжали разговор. Говорил больше Михаил:

— Болел я нынче сильно — ревматизм на рыбалке схлопотал. Еле передвигал ноги. Спасибо Лиде — вылечила. И откуда у нее талант знахарский появился, от предков, что ли? Чем она меня ни лечила: медвежьим салом, муравьиным спиртом, разогретым овсом, подснежниками и даже на горячей сковороде заставляла стоять. А потом свозила в Нилову Пустынь — и все прошло.

А Севке вдруг пришла в голову мысль, в которую он сразу поверил: «Постелили-то нам на одну кровать...» От этой догадки ему стало жарко. Он решил, что надо подольше затянуть разговор, чтобы Дина уснула.

Но Михаил сказал:

— Пора спать, я тоже сегодня умотался. Завтра с утра мы пойдем по ягоды, так вы здесь распоряжайтесь. Поесть в сенях найдете, да Лида что-нибудь сготовит утром. Будете уходить, ключ положите над дверью. Замок у нас вот здесь висит.

— Спасибо, спасибо, Михаил,— растерялся Севка от такого неожиданного и полного доверия.

— Да что вы на каждом слове «спасибо, спасибо»,— сказал Михаил и пошел во двор. Севка шагнул за ним. Они постояли, выкурили по последней папиросе. Севка еще попытался завести разговор о погоде и прогнозах. Михаилу, видно, не хотелось распространяться с несведущим городским человеком на эту тему и он сказал коротко:

— Завтра будет ясно.

Они вошли в дом. Севка снял у порога туфли и тихо прошел в комнату. В горле у него пересохло, першило от папирос — обычно он курил сигареты. Дина лежала у стенки и, казалось, спала. Но только Севка собрался присесть на стул, она повернулась и прошептала:

— Ничего, ничего, не смущайтесь, Сева, вы нас не стесните. Я буду спать у самой стенки.

— Вот так штука,— сказал Севка.

— Гаси свет, им завтра рано вставать,— сказала Дина.

Севка погасил свет, разделся и лег осторожно.

— Слушай, за кого же они нас приняли?— зашептала она.

— Наверно, за брата и сестру,— сказал он. И они засмеялись в подушки.

— Спи, Севка. Хочешь я тебя поцелую на ночь?

— Не, не надо. Меня мать никогда не целовала. Я не приучен.

— Ну, тогда спи так. Спокойной ночи, Сева.

— Спокойной ночи,— прохрипел он.

Дина отвернулась к стенке.

В доме напряглась тишина, непрочная, как перетянутая струна. Уже через минуту она порвалась: Севка услышал, как в соседней комнате что-то сказала Лида и коротко, успокаивающе ответил Михаил. Потом далекий динамик донес обрывки гимна, прошуршали в сенях мыши, скрипнула на крыше балка.

Дина всем телом, как от удара, дернулась. «Что с тобой?»— хотел спросить Севка, но услышал, что она дышит легко и ровно, и удивился: неужели спит? Да, она спала.

Севка почувствовал духоту, стало тяжело дышать неостывшим кухонным воздухом. Он решил немедленно встать, выбраться потихоньку из дома и идти куда попало, не останавливаясь, всю ночь или сесть на крылечке и курить до утра папиросы «Беломор», которые Михаил оставил на столе. Он с обидой подумал о Дине как о постороннем человеке: «Ей-то что — замужем была...» Но тут врасплох захватила его другая мысль: «Почему же нас приняли за мужа и жену? Почему?..» Это была приятная, обезболивающая мысль, которая лишала силы, чтобы встать и уйти, но и не давала смелости разбудить Дину. Снова, как это было уже не раз, Севка отдался слабости от того, что так безоговорочно, насовсем, словно ребенок взрослому, доверяется ему Дина, будто бы как он решит — так и будет. Не случайно же их приняли за мужа и жену...

Севка лежал с открытыми глазами, боясь шевельнуться. Ему было неловко, тесно и жарко от непривычного женского тепла. И нельзя было свернуться, как он любил, калачиком. Наконец, он устал лежать прямо, вытянувшись. Повернулся на бок, немного подогнул ноги, тяжело вздохнул и заснул.

Они проснулись поздно, когда уже Михаила и Лиды не было в доме. Позавтракали, стараясь не смотреть друг другу в глаза, и пошли бродить. Они снова ходили по берегу Байкала, потом поднялись вверх по Березовой пади. Оттуда вид на озеро-море был еще более захватывающим. Дина рисовала, а Севка подремывал под кустами, на опавших березовых листьях.

Они спустились с горы только тогда, когда у Дины кончились синие и желтые краски.

— Такие маленькие ванночки,— пожалела она.

Надо было идти к автобусу. Они оставили Михаилу и Лиде записку, в которой не сумели, конечно, избежать слова «спасибо», закрыли дом и положили ключ куда следует.

В автобусе Дина достала из сумочки тетрадь в сиреневой обложке и начала читать. Севка смотрел за окно на осень, которая, казалось, спустя день, стала еще богаче. Дина сказала негромко:

— Ты только не ругай меня, Алеша... Не могу я больше. Не вынесу. Девчонки ночью уснут, а я реву. Весь угол подушки изгрызла, чтоб только не слышали...

— Ты о чем?— спросил Севка.

— Точно как в пьесе! Та же реплика: «Ты о чем?» Это новая пьеса, Сева,— «Месяц осенних дождей». У меня роль Анюты. Самая фальшивая — сцена объяснения, никак не запоминаются слова.

И она продолжала читать свою роль:

— Я об одном прошу. Не будь резким со мной. Не нужно. Я от тебя отвыкну, не бойся. Постепенно. Приучу себя к мысли, что мне не на что надеяться.

— ...Не смей так говорить, не смей! Не знаешь ты своей души. Глупый ты еще, ничего не знаешь. А у меня сейчас вся радость оттого, что вот так мучаюсь около тебя.

— ...Вот ты мне прикажи: иди, Анюта, босиком по снегу. Пойду. И холода не почувствую. Прыгни, Анюта, в огонь. Прыгну. Да я б ни минуты, понимаешь, ни одной минуточки не жила бы на свете, если б знала, что тебя нет где-то, пусть даже далеко!..

Севке грустно было слушать слова, которые звучали в миллионах объяснений и еще будут звучать миллионы раз. Грустно потому, что Дина просто учила роль, что слова эти говорились не для него. Он не подумал, что текст можно было учить и не вслух...

— Я очень хотела бы жить там, на берегу,— вздохнула Дина.

— Что, это ты мне?— спросил Севка.

— Да, я говорю, что хотела бы жить там, на Байкале.

— Там хорошо...

Автобус уносил их в город со скоростью семьдесят километров в час.

Глава шестая

— Поедешь в командировку на село, выдашь проблему по спорту,— сказал Севке заведующий отделом Ефремов.

— Может, лучше я сделаю что-нибудь здесь, в городе? Хочешь — разгромную статью по футболу? Ведь наши нынче опять «пролетят»,— просил Севка.— Есть заголовок: «Играйте, парни, головой». Устроит? Идея такая — показать, какие, в сущности, темные ребята в бутсах. Подслушать их разговоры, рассуждения, советы тренеров, узнать, кто где учится, что читает. Короче, статья об интеллекте в футболе. А? Давай, Серега?

— Я знаю, почему тебе не хочется ехать, сочувствую, но... Редактор говорит, что давно у нас не было ничего о сельском спорте и что ты засиделся в городе.

— Ну что ж, как говорится, приказ редактора — закон для литраба. На сколько ехать?

— Дней на пять.

— Ладно, три дня мне хватит.

Севка сник: командировка в то время, когда художник Славин уехал на этюды, когда Дина почти совсем переселилась в мастерскую... Севка уговорил-таки ее спать на диване, а сам перешел на медвежью шкуру. Она согласилась на это только тогда, когда он переставил диван к окну. Можно стало лежать и смотреть на разливы закатов, на городские огни и слушать далекий, с того берега реки, голос станционного диктора, объявлявшего о прибытии и отправлении поездов. Но ее созерцание обычно длилось недолго. Она то хватала краски и кисти, то начинала писать стихи (Севка говорил, что и это у нее получается). Казалось, сама спартанская атмосфера мастерской вдохновляла ее...

Это было днем. Ему вдруг захотелось немедленно увидеть ее, во что бы то ни стало. Набравшись смелости, он зашел в театр, показал журналистский билет, и его провели в полутемный зал. Он незаметно присел в последнем ряду, у выхода. Зал был будничным, пустым и гулким, только в первом ряду сидели люди. На сцене шла репетиция.

Севка сразу увидел Дину — она стояла у рампы в черном спортивном трико, заломив за спину руки, рейтузы плотно обтягивали ее ноги. Он никогда не подозревал, что у нее

такая фигура, и смотрел, смотрел... Потом ему стало неловко, будто от тайного подглядывания; он покраснел. И наконец он стал слышать, что говорят на сцене. Дина, рядом с которой стояли двое парней в заплатанных телогрейках и сапогах, говорила в зал:

— ...Израиль Борисович, но ведь Анюта — не спортсменка! В пьесе нет этого. Сцена в бараке — и вдруг трико!..

Это были слова не из роли. Она обращалась к режиссеру, немолодому уже мужчине с неестественно белой, как парик, лысиной, который сидел в первом ряду. Режиссер вскочил с кресла:

— Дина Петровна, прекратим наконец этот спор. Пьесу я знаю не хуже вас. Но не забывайте о рядовом зрителе. У вас же прекрасная фигура! Итак, продолжаем! Все по местам!

Дина махнула рукой: безнадежно доказывать. Парни в телогрейках отошли в глубину сцены, Дина встала за кулисы.

— Пошли!— резко сказал режиссер.

Парни, громко топая сапогами, подбежали к столу, один достал из-за пазухи поллитру, другой снял телогрейку и яростно шмякнул ею об пол. Пошел «соленый» рабочий разговор насчет «выпить и закусить». Потом, постучав, вбежала Дина, изящная и строгая в своем черном трико, и начала ругать «товарищей по бригаде» за постоянные выпивки после работы...

Севка был единственным в зале рядовым зрителем. Он почувствовал отчаянную нелепость черного трико. Парни на сцене решительно собирались напиться и не обращали никакого внимания на Дину, будто им, строителям, каждый день приходится видеть таких прекрасных женщин в таких неотразимых трико,— так подумал рядовой зритель.

Дина играла вяло. И лысый режиссер бодро полез на сцену показывать, как это надо делать.

Севка осторожно выскользнул из зала. И побрел по улице со сжатыми кулаками в карманах, злой на всех режиссеров, на все театры...

Потом, получив командировочные, Севка сходил в магазин, купил динамик и установил в мастерской. Чтоб Дине не было скучно. По своему невеселому опыту ночевок в редакции он знал, что когда есть радио, чувствуешь себя уже не таким заброшенным.

Он отбывал командировку как наказание. Кое-как собрал материал для статьи о никудышном снабжении совхозов спорттоварами, для небольшого очерка о трактористе, который организовал секцию тяжелой атлетики и так натренировал ребят, что трое работали по первому разряду. Мотаясь в автобусах и на попутных машинах по пыльным разбитым проселкам, наткнулся на интересную тему. Это было то, что называют «для души». Но как это подать, что из этого выйдет, он еще не знал. Придумал только заголовок — «Игра в слова».

На четвертый день к вечеру Севка вернулся в город. Дины в мастерской не было. Она пришла поздно, в двенадцатом часу, обрадовалась Севке и сразу поделилась новостью:

— А я тут познакомилась с художником Славиным!

— Как, он был здесь?

— Да, приезжал на день. У него кончились белила и еще что-то. Златоуст, весь вечер говорил «за искусство». Похвалил мои этюды. Вам, говорит, надо попробовать писать маслом, акварель — очень тонкая штука, не каждому художнику под силу. Сева, давай купим какой-нибудь набор масляных красок? Я неукротимый дилетант, правда? Ты терпишь меня и не ругаешь, потому что стесняешься. А я, наверно, зря разбрасываюсь. Как думаешь, зря?

— По-моему, в двадцать лет можно разбрасываться,— сказал Севка.

— Вот видишь, ты добрый, ты меня оправдываешь. Кстати, художник сказал, что ты славный парень, со вкусом, что ты верно судил о его картинах. Так и сказал: «Он верно судил о моих картинах». Кстати, он не против, чтобы я здесь бывала. Просил, чтоб я ему позировала. А мне почему-то не хочется. Хотя интересно, я ведь ни разу в жизни не позировала. Попробовать, а?

— Ты же знаешь, что он неважный портретист...

— Ты почему на меня так смотришь? Плохо выгляжу? Мы вечером ходили в ресторан. Все были наши, из театра. Сегодня ведь была премьера. Я пила только сухое вино,— забыла, как называется. Сева, а мы пойдем с тобой вдвоем в ресторан? Давай сходим!

— Принято: с первого же гонорара.

— А знаешь, чем меня угощал Славин? Никогда не догадаешься. Перцовкой! Говорит, отличное профилактическое средство от всех простудных заболеваний. Знаю я эти средства от всех напастей...

— А как у тебя в театре дела? — спросил Севка.

— Там неважно идут дела. Пожалуй, мы не поладим с главрежем. Он почему-то считает, что каждая молодая актриса прежде всего должна выступить в роли его любовни-

цы. Иначе — будет прозябать на выходных ролях. Я убедилась: так не только здесь... В общем, руки опускаются.

— «Ведь нам, актерам, жить не с потомками, а режиссеры — одни подонки»,— процитировал задумчиво Севка.

— Вот именно!— тотчас согласилась Дина. Она не знала, что он сказал это неспроста, что он сам кое-что видел. Севка решил не рассказывать о своем тайном посещении репетиции. Не потому, что Дина просила не ходить в театр на ее спектакли, а потому, что у него до сих пор не прошло ощущение неловкости, будто нечаянно подглядел что-то запретное.

— «А режиссеры — одни подонки»,— повторила Дина.

Севка вдруг увидел, что шнур от динамика выдернут из розетки. Он четко представил, как Славин «вырубает» динамик, который мешает ему говорить, как Дина даже не обращает на это внимания. Значит, зря принес он динамик. Жалкой и нелепой показалась ему попытка избавить Дину от скуки с помощью такой допотопной вещи. И он подумал, что есть женщины, которым никогда не бывает одиноко, которым не грозит одиночество.

Как часто случалось у него после командировки, Севка написал в первую очередь то, что было труднее написать, что было самым интересным для него самого. Это была зарисовка «Игра в слова». Она появилась в воскресном номере газеты под рубрикой «Из блокнота журналиста». Севка писал ее медленно, стараясь не допустить ни одного лишнего предложения, и потому, при желании, мог бы прочитать ее наизусть.

«Только сначала, когда автобус вырвался из объятий тесных улиц в желтые холмистые поля, они поговорили.

— Ночью, наверно, там холодно?— спросила девушка.

— Игорь сказал, что дров там много. Наколотые лежат,— ответил парень. И похлопал ее по узким, в черных чулках, коленям.

— А когда назад поедем?

— Посмотрим. Долго-то что там делать...

Больше ни о чем не говорили. Вроде бы не ссорились, а молчат, молчат. Как чужие, как незнакомые. Старик, что сидел напротив, все пытался заговорить, расспросить, разузнать: кто такие, куда едут — на дачу или так просто? Не решался.

А день стоял синий, солнечный. За окнами прыгал белый частокол молоденьких берез. Бесконечной цепью, как часовые, шли навстречу телеграфные столбы с серыми коршунами на плечах.

Говорить старику хотелось, рассказывать. Про то, как с рысью дрался однажды (это еще когда служил коногоном), про то, как играли в Шамановке свадьбу, а тройка с женихом и невестой под лед ушла, про то, как не замерз, было, в тайге, когда вез в леспромхоз первую бензопилу... Про все свое — дальнее, безвозвратное.

Сомневался старик: «А интересно это будет молодым? Все молчат они, в глазах — скука и вроде печаль. И солнце для них будто не солнце. Сидят какие-то полусонные. А сами — красивые. И он, и она. Хоть бы про картины поговорили. Картины в городе все новые...»

Прикладывая ладонь к правому слезящемуся глазу, левым он посматривал на колени в тонких черных чулках. Неловко было, а не мог не посматривать. И все кому-то про себя доказывал: «Разве грех — на красоту смотреть? Разве грех?»

— Может, сыграем?— вяло предлагает парень.

— Ну, давай,— говорит девушка.— Долго еще?

— Минут двадцать. На какие буквы?

— Да на любые. На эл с мягким знаком хочешь?

— Поехали.

— Лань,— говорит девушка.

— Лень,— говорит парень.

И дальше по очереди:

— Лазурь...

— Ливерпуль...

— Лебедь...

— Лесть...

— Лодырь...

— Ложь...

— Лажь...

— Что за лажь!

— Ну, лажа.

— Сама ты лажа!

Она отвернулась к окну. Ее сочная нижняя губка воинственно выдвинулась. И от этого девушка показалась совсем юной — лет девятнадцати.

— Лось!— будто выстрелила она.

— Лосось,— тут же нашелся парень.

Но больше слов не было. Оба вспоминали изо всех сил,— слова не приходили.

Старик сразу схватил смысл игры и теперь тоже думал.

Наконец, девушка неуверенно сказала — спросила:

— Лодзь?

— Правильно,— сказал парень. Минуты через две он выплюнул, будто надоевшую сигарету:

— Лагерь!

Глаза девушки от долгого думания сделались тоскливыми. Семнадцать лет — больше не дашь.

— Не можешь?— спросил парень.— Гони десять коп.

— Потом.

— Давай, давай.

Девушка раскрыла красную сумочку.

— Лунь,— словно удерживая ее, подсказал старик. Парень повернулся к нему:

— А эт-то что такое, дед?

— Птица такая есть. Сова иначе.

— Интер-ресно. А что ты еще можешь выдать, дед?

Неподвижно глядя на красную сумочку, старик словно начал складывать туда дорогие хрупкие украшения:

— Ливень... Линь... Ладонь... Локоть... Ломоть... Лапоть... Ларь...

— Хватит, хватит, дед. Дай нам подумать,— парень спрятал в карман десять копеек. Ему показалось, что нужных слов еще очень много. Он страдальчески сдвинул брови. Шептал:

— Лес — не то, лесть — была, лазурь — была. Чего же не было? Лань, лень, Ливерпуль...

— Лю-бовь,— хитро сказал старик. Сверкнули глаза из-под кустов бровей — голубые, как у младенца. Лицо в улыбке смялось, сморщинилось.

— Любовь! Любовь. Во, придумал дед! Хорошо придумал. Молодец,— парень положил руку с большим тускло-серебряным перстнем на узкие колени девушки, покачал их.

Старик все улыбался. И тогда парень подмигнул ему, ухмыльнулся косо и неприлично. Старик отвел взгляд — и словно провалился в себя. Спряталась за серой бородой и усами улыбка, спрятались за нависшими бровями глаза. Губы превратились в короткую морщину.

Старик смотрел за окно на желтые поля. Все такой же яркий, синий стоял день. А говорить с попутчиками не хотелось уже».

...Севка принес газету Дине. Она прочитала и отчего-то разволновалась, но потом справилась с собой.

— Это лучшее, что я у тебя читала,— сказала она.— Мне это нравится, тут есть подтекст. А что говорят в редакции о твоей зарисовке?

— Еще не знаю. Вот завтра будет летучка, послушаем.

— Сева, дай мне на память эту газету?

— Возьми, конечно! Вот уже чего никогда не дарил! Может, тебе с автографом? Обожаю ставить автографы! Могу ставить их, как космонавт, где угодно и когда угодно. День и ночь напролет. Отличная у них работа. Хочу быть космонавтом и ставить напропалую автографы!— Севка говорил, говорил, а сам думал, что худо дело, если Дина попросила на память газету.

Дина рассмеялась:

— Ну, распишись, распишись, если тебе так хочется! Напиши: «Дарю сердечно — помни вечно!»

Уж не раз решала она не встречаться с Севкой, не приходить в мастерскую, но каждый вечер, где бы она ни была, что-то тянуло ее сюда. Вот и сейчас она подумала, что не может же это длиться бесконечно, пора расходиться. Но оборвать все разом, своими руками, было ей теперь нелегко — не только из уважения к этому «славному парню». Она еще считала, что главное — это необычные декорации мастерской, в которых так хорошо чувствуешь себя по вечерам. Это стало ее привычной мыслью. Но все чаще, как бы забываясь, Дина спрашивала себя: «Когда же я успела привязаться к нему?..»

...Севка даже не ожидал, что его маленькая зарисовка «Игра в слова» вызовет большой спор на летучке. Говорили все, но поразному: кто долго — кто коротко, кто спокойно — кто раздражительно, кто хвалил — кто ругал.

Один говорил:

— Кому нужны эти расплывчатые нюансы, эти, простите, слюни? Нужны крепкие статьи на моральные темы с конкретными фактами, именами. Чтобы бить, так бить! А иначе — действительно получается детская игра в слова — «лазурь», «Ливерпуль»...

Другой говорил:

— А я считаю, что вот об этом нам сейчас и надо писать. Это — не расплывчатая проблема! И мне нравится форма, это, в сущности, короткий рассказ. Надо каждому стремиться так писать...

Третий говорил:

— Газете нужна не литература, а журналистика, не импрессионизм, а публицистика! (Этому даже похлопали — за то, что сказал в рифму, и за оголтелость).

Четвертый говорил:

— Газете нужны разные жанры и стили, кроме тупых и прямолинейных. Время дубо-

вых статей прошло. И если уж мы должны воспитывать, то надо делать это тонко.

Пятый говорил:

— Правильно: подонки на фельетоны давно уже не реагируют — адаптировались!

Редактор похвалил Лазарева. Сказал, что зарисовка эта — нужная, но было бы лучше, если б она была конкретнее, пусть бы остались безымянными парень и девушка, но старик так детально описан (приводятся, например, его мысли), что требуются имя, отчество, фамилия — от этого материал только бы выиграл, а так — произошло смешение двух жанров — рассказа и зарисовки.

Севка молчал, но он мог бы кое-что сказать насчет адреса своей зарисовки. Он вспомнил вечер в «музыкальном салоне мадам Ирен» и свое обещание. «Сибариты по-сибирски»... Жаль, что пропадает пока такой заголовок. Но ничего. Все-таки он почти выполнил обещание.

Глава седьмая

До зарплаты и гонорара оставалась еще неделя — самая длинная в холостяцкой жизни, когда в редакции трудно перехватить даже полтинник на обед. Но кто оценил по достоинству такой стимул жизни, как хроническое безденежье? Чем можно заменить его, когда хотят, чтобы мальчик стал энергичным и предприимчивым мужчиной? Конечно, не пинг-понгом.

Севка прошел школу безденежья еще в студенческую пятилетку, когда по ночам приходилось разгружать вагоны с фруктами, когда во время каникул нештатно сотрудничал в районной газете, когда вкалывал со своим курсом два месяца на целине, чтобы заработать на костюм. И потом, когда он пришел в газету и начал получать твердую ставку, безденежье постоянно подгоняло его и делало из него разворотливого журналиста, хотя он быстро научился презирать тех газетчиков-строчкогонов, которые видели в ганорарах единственный смысл профессии, благо, кроме газеты есть радио, телевидение; были среди пишущей братии такие, которые изощрялись продавать свой материал в три-четыре места.

Сейчас Севке надо было срочно найти деньги, чтобы пригласить Дину в ресторан: не ждать же целую неделю! Он чувствовал, что пришло время поговорить с Диной серьезно обо всем, а главное — он должен сказать ей, что решил уйти из мастерской художника, снять где-нибудь отдельную комнату и переселиться туда вместе с ней. (Будь у него такая комната, может, все с самого начала пошло бы иначе). Да, он должен позвать ее, и легче всего это будет сделать в ресторане, выпив чего-нибудь «для смелости». Надо спешить! В последней командировке, когда он вечера напролет валялся в номере тихой районной гостиницы и думал о Дине, он сделал для себя открытие: отношения дружбы постепенно настолько укрепляются, что их трудно перешагнуть, что иные, более близкие отношения становятся уже невозможными, а долгая дружба с женщиной — это нечто противоестественное, это должно быть оскорбительно для самой женщины, даже старшеклассники в школе скептически улыбаются, когда учителя говорят им о дистиллированной дружбе мальчиков и девочек...

Самым надежным и безотказным кредитором Севка считал пенсионерку Анну Григорьевну, в доме которой он жил сразу, как приехал работать в этот город. Баба Аня жалела его, относилась к нему, как к обыкновенному студенту-бессребренику. Но в отличие от студентов, которые постоянно квартировали в ее доме, он долги возвращал вовремя, и поэтому она в него верила. Севке оставалось только спокойно выслушивать ее неизменный совет: «Женился бы ты быстрей...»

И на этот раз Севке повезло: баба Аня одолжила двадцатку. После обычного напутствия, уходя, он сказал:

— Может, завтра женюсь!

— Приходи хоть, покажи ее!— крикнула Анна Григорьевна вслед.

Вечером Севка пошел в театр к окончанию спектакля, нашел там Дину и повез ее на такси в аэропортовский ресторан. Дина, когда узнала, что едут в аэропорт, обрадовалась:

— Люблю смотреть на самолеты, завидую тем, кто улетает! Пассажиры — счастливые люди. Как это в поговорке? Хорошо там, где нас нет. Пассажиры будут там, где нас нет. Эх, пойти, что ли, в стюардессы!.. Сева, ты умница, ты хорошо это придумал — ехать в аэропорт. Считай, что ты везешь меня на край земли — ведь оттуда начинается небо?

— Просто там хороший ресторан,— сказал Севка.— Там подают лучший в городе черный кофе, есть приличные вина. А самое приятное то, что нет джаз-банда. Может, поэтому там бывает мало народу. Ведь обыватель, когда напьется, обязательно должен заказать оркестру свою любимую песню, покуражиться дозволенным способом.

— У тебя неважное настроение?— спросила Дина.

— Нет, нет. Сейчас мы с тобой напьемся и все будет отлично! Наконец-то мы с тобой выпьем вдвоем, как говорили институтки — тэт а тэт!

Половина столиков в ресторане, как и ожидал Севка, оказалась свободной. Ему не трудно было выбрать столик у окна, за которым виднелись красные и фиолетовые огни посадочных полос. Рядом со зданием вокзала стоял освещенный прожекторами ТУ-104, его готовили к рейсу.

— Как тут здорово! Все видно!— воскликнула Дина.— И не накурено, я не люблю, когда накурено.

Севка, готовясь к предстоящему разговору, был серьезен и деловит. Он нашел на соседнем столике меню и протянул Дине:

— Выбирай, что понравится, я сегодня богат. Посмотри, сухие вина тут есть?

Она раскрыла меню на последней странице и прочитала:

— Коньяк, водка столичная, портвейн белый, «Ркацители», «Хванчкара»...

— О! «Хванчкара»— доброе вино. Возьмем бутылочку,— оживился Севка и закурил сигарету. Дина продолжала изучать меню. В ресторане стоял негромкий, ровный шум разговоров, звон рюмок и вилок, неслышно и быстро ходили официантки. Севка, освоившись в этой мягкой обстановке, медленно панорамировал по столикам: нет ли знакомых. И вдруг он увидел входящего в зал Колю Кармилова. Рядом с ним шла девушка. Коля сразу заметил их и направился прямо к столику.

Они подошли, поздоровались.

— У вас не занято?..— спросил Кармилов.— И не взяли еще заказ?.. Прекрасно!

Коля был в новом, недорогом, лавсановом костюме, в белой рубашке и галстуке. Он всегда ходил в белой рубашке и галстуке.

— Это Вика, первокурсница из мединститута,— представил Коля свою спутницу. Хороша была новая девочка Кармилова — пухлые губы, большие удивленные глаза, тугой свиток черных волос, открытая улыбка.

— Знакомьтесь,— сказал Севка,— это Дина.

— А мы...— начал Коля и посмотрел на Дину.

— Мы знакомы,— сказала она, положив на стол меню.

— Да, в этом городе я был ее первым гидом,— сказал Кармилов.

— Нет, первым был Севка,— сказала Дина.— Он встретил меня на вокзале и всю ночь возил на такси.

— Ах, вон как!— удивился Кармилов.— Наконец-то разгадана тайна Лазарева. В редакции он всех поголовно заинтриговал рассказом о прекрасной незнакомке. Он скрывал даже ее имя и никому не хотел показывать, как татарский хан, как турецкий султан, как домостроевский купец.

Коля легко справился с секундным замешательством, быстро и охотно возложил на себя привычные обязанности тамады. В две минуты он решил вопрос с общим меню, подозвал официантку, сделал заказ, а потом сказал:

— Простите, но я хочу сходить помыть руки. В этих такси не очень-то чисто.

— Я с тобой,— сказал Севка. Они вышли из зала.

— Ты извини меня, старик, но я должен тебе сказать, что это та самая актриса...— сказал Коля, аккуратно натирая руки плоским обмылком.

— Я все знаю,— перебил Севка, дожидаясь, пока он передаст мыло.— Можешь не рассказывать.

— Я не в курсе твоих намерений, старик, но пойми одно: она хорошая женщина. Поэтому она и не захотела меня больше видеть. Помнишь, я говорил в редакции, что между нами все кончено? Я с того времени не видел ее. А у тебя, я чувствую, серьезно заварилось?..— Коля снял с вешалки мокрое серое полотенце.

— Ладно, пошли. Они ждут нас,— сказал Севка, вытирая руки о носовой платок.

Севка давно готовился к такому разговору с Кармиловым и все-таки удивился сейчас своему спокойствию. Злости почему-то не было вовсе. И казалось, не за что злиться на Кармилова, не за что бить. Может, так было потому, что он давно привык к этому человеку, а близким мы всегда прощаем и не можем даже на минуту заподозрить их в большой подлости, иначе — близких вообще не было бы.

По радио объявили о посадке на хабаровский рейс. Под это объявление Севка и Коля сели за стол, который был уже накрыт. Коля разлил по рюмкам «Хванчкару», приговаривая: «Полетели, полетели». Потом он произнес длинный тост, который начинался с того, как на севере стояла одинокая, хмурая, как монахиня, ель, как однажды она отправилась в дальнее путешествие на юг и по пути бросала в каждый встречный ручей иголки, как она дошла до моря, но море не приняло ее. Все это закончилось неожиданно:

— Так выпьем же за великую и вечную проблему — любить или не любить!

Выпили, не чокаясь.

Дина взяла сигарету, Севка протянул ей зажженную спичку. Она курила и вид у нее был спокойный, чуть вызывающий.

— Ну, что же вы молчите? Развлекайте нас,— сказала она.— Говорите что-нибудь.

— Хотите, я расскажу вам одну сентиментальную историю?— предложил Севка. И по тому, как торопливо он отозвался на ее просьбу, Дина поняла, что Кармилов рассказал о поездке в тайгу. Ей давно казалось, что Севка догадывается об этом, только боится спросить. Она могла бы и сама сказать (противно вспоминать — Кармилов тонко сыграл тогда подлец), но не представлялось случая, да и ни к чему было. Севка тихо и как-то обреченно влюблен в нее, и эта история сделала бы его совсем несчастным. Есть же такие люди, которым нравится все время страдать... Но сейчас все станет проще. О чем собирается говорить Севка? О несчастной любви?

— Это история про любовь?— спросила Вика, посмотрев коротко на Кармилова: не очень ли свободно она ведет себя.

— Да, как и во всех сентиментальных историях, здесь про любовь. Так вот, слушайте. После окончания второго курса университета мы поехали на целину в Северо-Казахстанскую область. И вот там я познакомился с одним московским студентом, он и рассказал мне эту историю.

Случилось так, что от Москвы он добирался до целины один — отстал от своих. В том вагоне, куда он сел, ехала делегация немецкой молодежи, она ехала куда-то в Сибирь. И была там девушка, на которую он сразу обратил внимание. У нее были синие глаза и роскошные белые волосы. Сначала он боялся подойти к ней, а потом осмелился. Немецкого языка он не знал абсолютно, но, к счастью, в соседнем вагоне ехали студентки-практикантки, будущие учителя немецкого языка. Они и помогли ему познакомиться. Первый вечер практикантки бойко переводили простые предложения: как вас зовут? сколько вам лет? где вы живете? где вы учитесь или работаете? и тому подобное. А на второй вечер переводчики уже не потребовались, потому что глазами тоже можно много сказать. Один из тамбуров вагона по молчаливому согласию всех курящих был отдан им, и они стояли там допоздна. Так было во второй и в третий вечер. Короче, они влюбились друг в друга. И каждый в вагоне считал, что это — блестящая пара.

А потом поезд остановился на станции Булаево, где ему нужно было сходить. Девушка плакала, но свадьбы не входили в программу немецкой делегации. Они обменялись адресами. А когда поезд тронулся, она сорвала с себя медальон и бросила ему. (Рассказывая, Севка, видел, что Дина слушает его очень внимательно). На медальоне были выгравированы слова: «Их бринге глюк» — «Я несу счастье». Парень все время носил его на шее, все два месяца работы на целине. Нашлись ортодоксы, которые обвиняли его бог знает в чем и на собрании публично заставляли снять медальон. Но когда из Братска пришло письмо той немки, все успокоились. Парень срочно начал учить немецкий язык. А чем кончилась эта история, я не знаю.

— Ну и в чем тут суть?— спросил Кармилов.

— В сентиментальных историях не бывает сути. Это пример нелепой любви, заранее обреченной на провал,— сказал Севка.

— А как звали того парня?— спросила Дина.

— Его звали Геннадий.

— Правильно, Геннадий,— подтвердила Дина.

— А фамилию забыл,— сказал Севка и спохватился.— Что? А ты как его знаешь?!

— Я с ним познакомилась, когда была в Москве. Он мне тоже рассказывал эту историю. Он до сих пор переписывается с той немкой. Я даже медальон видела,— спокойно сказала Дина. И добавила про себя: «Севка, прости! Я не хотела!..» Она не понимала себя: зачем пошла на эту явную ложь,— ведь в Москве-то не была ни разу!— почему вдруг решила так разыграть Севку...

— Вот здорово!— восхитилась Вика.

— Поистине: тесно жить на этом свете, господа!— сказал Кармилов.— Скоро все люди станут сестрами и братьями, как у сектантов. Предлагаю тост,— и он снова произнес длинный и вычурный тост. Шумно выпили.

Севке на этот вечер хватило бы и одного общего с Диной знакомого — Коли Кармилова, но нашелся еще один, уже полузабытый им Гена. Севка попытался вспомнить, как выглядел тот парень, но воображение не нарисовало ничего, кроме щуплой фигуры и черных, навыкате, глаз. Обыкновенный был парень, даже не симпатичный...

— ...Может, еще одну сентиментальную историю расскажет нам этот задумавшийся товарищ?— сказал Кармилов.

— Что? А-а, нет, я больше не знаю,— очнулся Севка.— Теперь твоя очередь, Коля. Давай что-нибудь полегче.

— Хорошо. Я расскажу вам сюрреалистские анекдоты. Вот первый. Плывут по Нилу два крокодила. Встречаются. Один крокодил спрашивает: «Далеко ли до Саратова?» Другой говорит: «Катись ты...»— Коля выжидающе замолчал.

— Ну и что дальше?— спросила Дина.

— Все! Тут надо смеяться,— объяснил Коля.

— Не смешно,— сказала Дина.

Кармилов еще рассказал пару сюрреалистских, а потом, не видя за столом особого воодушевления, перешел на логические анекдоты, которые были еще менее смешными и походили на плохие затянутые загадки. Отчаявшись развеселить публику, он предложил выпить каждому за свое, а когда выпили, начал повествовать об одном из своих пикантных приключений, подавая его как прочитанный где-то когда-то рассказ.

После четвертой рюмки (это был мужской «заход») Севка почувствовал себя легко и как-то оторванно от всех сегодняшних волнений, сейчас он мог бы поговорить с Диной о самом серьезном, если бы они были одни. Севка перехватил взгляд Дины: она смотрела на светящийся цепочкой иллюминаторов ТУ-104, который выруливал на взлетную полосу.

«Я люблю тебя, Дина,— сказал он про себя.— Тебя можно любить за одно то, что ты смотришь сейчас, одна во всем зале, на уходящий самолет. Всем, всем наплевать, куда он летит. А ты, наверно, думаешь о пассажирах, которые будут там, где нас нет. Ты хорошо сказала про пассажиров». Севка вдруг так разволновался, что, не извинившись, поднялся из-за стола и вышел в фойе. Его проводили недоумевающими взглядами.

— Вы извините его, журналисты обычно пьют водку, а тут «Хванчкара»...— попробовал сгладить неловкость минуты Кармилов.

Когда Севка вернулся, Кармилов выручил его:

— Я тут разъяснил женщинам, что журналисты — народ непривычный к разным «хванчкарам», они больше уважают водочку.

— Да, да,— сказал Севка.— Мне вдруг ударило в голову, что надо уточнить, когда же закрывается ресторан. Раньше он работал всю ночь, а сейчас, оказывается, только до двенадцати...

Севкиной выдумке поверила только студентка Вика, которая к этому времени уже перестала смущаться, беспричинно смеялась и могла поделиться со всеми любым своим секретом. Так, она простодушно рассказала о том, что у них в Закаменске все девчонки обрезали косы, а она — оставила, а вот получилось (будто она предвидела это), что длинные волосы стали модными, их можно носить и прямо, как Марина Влади, и делать «бабетту». Затем Вика заговорила о своих студенческих подругах, искренне возмутилась тем, какие жадные собрались девицы в общежитской комнате, где она живет. И, наконец (о, святая простота), подарив Кармилову обаятельную улыбку, она выдала его с головой. Она сказала гордо:

— А вы знаете, Коля обещал покатать меня на самолете! У него здесь в порту есть знакомый летчик. Мы полетим бесплатно туда и обратно!

— ...Если ты будешь хорошо себя вести,— строго сказал Кармилов и, чтобы замять этот разговор, срочно сочинил экспромтом последний тост, который был хотя и не таким гладким, как первые, но таким же замысловатым и неожиданным.

Дина отказалась пить, сославшись на то, что завтра с утра у нее репетиция. В серьезность «самоотвода» поверила опять же только Вика. А Севка подумал, что Дина, конечно, догадалась о его разговоре с Кармиловым в начале вечера. По тому, как он выскочил из-за стола и убежал в фойе, и потом неуклюже оправдывался,— не трудно было догадаться. Типичная тихая истерика. Зря он распустил слюни. И попробуй объяснить ей теперь, что расчувствовался не из-за того... Ведь еще в «салоне мадам Ирен» он кричал при всех, что ему наплевать на Кармилова. Правда, он тогда кричал это больше для себя, но и она должна была понять...

...Они вышли из ресторана в первом часу ночи. Такси не смогли поймать и решили идти в город пешком с надеждой, что по дороге попадется «зеленый огонек». Севка и Коля ушли чуть вперед, девушки отстали и, кажется, не собирались их догонять. Кармилов оглянулся и сказал Севке:

— Ты понимаешь, в чем тут дело?

— Конечно, но придется им подождать,— сказал Севка.

— Нет, не это. Тебе всегда не хватало проницательности,— сказал поучительно Коля.— Дина советует сейчас моей Виктории не летать на бесплатных самолетах... Я в этом уверен.

Парни дождались девушек и пошли все вместе. Вика попросила Колю:

— Спой песню про журналистов, а?

— Вот, все студенты такие: напьются —, подавай им цыган, песни,— резюмировал Коля.— Я же давно вышел из студенческого

возраста! Ну, ладно. Женщин надо ублажать. Какую тебе спеть?

— А ту, где: «Адью, ребята».

— Понял вас. Подпевай, Севка!— и Коля запел тихо, под Трошина:

Наша жизнь проходит очень быстро —
Деньги на деревьях не растут.
И всю жизнь мечтают журналисты
Заиметь свой собственный уют...

Севка сначала решил, было, не помогать Коле, но эта песня ему нравилась и второй куплет он подтянул:

В тридцать лет очки себе закажешь,
В тридцать пять катары наживешь,
В сорок лет «Адью, ребята!» скажешь,
В сорок пять убьют или помрешь...

Все было бы в этот вечер не таким уж скверным для Севки, если бы Дина осталась в мастерской. Может, тогда и состоялся бы самый важный для него разговор. Но Дина решительно, резковато отказалась, она села в трамвай и уехала в общежитие. Она повторила, что завтра с утра у нее репетиция, что вечером придет к нему.

Потом Кармилов поймал такси и повез куда-то Вику.

Севку хватил приступ одиночества. Стало жалко себя. Так было всегда, когда он напивался: тоскливо, обидно и до слез жалко себя.

Глава восьмая

День начинался с дождя и хандры. Севка не мог отвязаться от пасмурной мысли, что с Диной у него ничего уже не будет, что она не придет больше. Ему казалось, что вчерашний вечер сделал для нее невозможным продолжать эти странно близкие отношения, полные недоговоренности и неопределенности.

Утром в редакции случилось вот что. Севку вызвали к телефону. Мужской тихий и взволнованный голос произнес:

— Алло, это редакция?.. Это товарищ Лазарев?.. Здравствуйте. Вам звонят из театра по просьбе знакомой вам актрисы. Дело в том, что на репетиции она вывихнула ногу. Нет, вы не волнуйтесь, это не так опасно. Она просит вас срочно подъехать к театру, вам из редакции легче вызвать машину. Пожалуйста, побыстрей. До свидания...

Севка испугался, подумал: «Может, сломала ногу?» Он тут же набрал номер диспетчерской такси. Послышались частые гудки — занято. Он набирал номер подряд несколько раз, и все было занято. И вдруг он вспомнил, что тот мужской голос ему очень знаком. В соседнем кабинете прокатилась волна «здорового» смеха. «Розыгрыш!»— обрадовался Севка. Он позвонил в этот кабинет:

— Алло, ни у кого из вас нет денег?

— Нет. А что?— игриво спросили там.

— ...И вы решили развлекаться без денег?

—А в чем, собственно, дело?—на другом конце провода начали сердиться — не узнали Севкин голос.

— Рекомендую карманный бильярд. Презабавная игра! До свидания,— Севка положил трубку и невозмутимо развернул газету.

— Ты с кем это говорил?— спросил Сергей Ефремов, сидевший за столом напротив.

— Сейчас увидишь.

Севка догадался, что его хотели разыграть парни из редакции: значит, Кармилов рассказал кому-то, что видел его девушку и что она работает в театре.

Через несколько секунд парни шумно вошли в кабинет, Кармилова среди них не было.

— Грубо работаете, парни!— захохотал Севка.— Экие вы кровожадные: «вывихнула ногу»! Славе Ластовскому я советую пойти в драмкружок при Дворце пионеров, там его за неделю обучат менять голос до неузнаваемости!

— Шутки в сторону,— сказал Ластовский.— Ты почему до сих пор не показал нам свою актрису? Коллектив должен знать, с кем проводит свободное время литсотрудник Лазарев. Правильно, коллектив?

И загалдели все:

— Эгоцентризм чистой воды!

— Кончился последний Дон-Кихот!

— Дон-Кихот стал Дон-Жуаном и ушел в подполье!

— А самый страшный черт — это бывший ангел!

— Ну, расскажи, расскажи, Сева, каковы успехи? Ты ведь с ней давно уже познакомился...

— А я ничего и не добиваюсь,— отмахнулся Севка, у которого уже прошла обида за розыгрыш.

— Может, она типичная хищница? С тобой крутит динамо, а где-то на стороне...— предположил Славка Ластовский. Он всегда держался с Севкой настороже. Видно, не забывал случая, который произошел три года назад. Однажды вот так же собрались ребята, и Севка начал рассказывать о симпатичной студентке из пединститута, с которой нечаянно познакомился накануне. «А-а-а, знаю эту чувиху! Многие ее знают»,— протянул Ла-

стовский, сделав ударение на последнем слове. Севка, совсем неожиданно для себя и для остальных, коротко ткнул его в подбородок. Как-то ловко у него получилось: Ластовский повалился на стул и с треском разломал его. Парни похохотали, драка не состоялась. Может, пожалели Севку — он был тогда новичком в редакции. Но это было давно. С тех пор он научился спокойно встречать и провожать подобные «шуточки». Свободный диалог — обычная форма разговора...

— Уймитесь, Слава,— сказал Севка.— Она не хищница. Скорей наоборот... В общем, я решил на ней жениться. Только и всего.

— Ну-у, тем более, старик! Ты должен показать нам невесту!

Парни сразу отступились — им стало скучно. А Севка, сказав при всех, что намерен жениться, почувствовал себя тверже и хандра прошла, и он подумал, что не такие уж легкие у него с Диной отношения, чтобы могли кончиться вдруг, в один вечер. Конечно, сегодня она придет, раз обещала. Значит, надо приготовиться к встрече.

После работы он бесшабашно, но с умом распорядился оставшимися от вчерашней двадцатки деньгами: купил ученический набор масляных красок, громадный, на восемь килограммов арбуз и килограмм винограда. «Если в городе осень, то пусть в мастерской будет лето»,— подумал он.

...И Дина пришла.

— Привет, Севка!— сказала она с порога.— На улице сегодня так муторно, а здесь светло и сухо.

Она быстро сняла плащ и кинула на вешалку. Двумя-тремя резкими движениями привела в порядок волосы перед зеркалом. Севке бросилась в глаза ее размашистость, она все делала наверняка. Он не знал, что Дина решила заглянуть сегодня в мастерскую ненадолго, в последний раз. Чтобы сказать: «Извини, Севка, но...» Или даже ничего не говорить. Просто — прийти, посмотреть на медвежью шкуру, на пейзаж из окна. И уйти.

Дина заметила на столе полосатый арбуз и виноград, подбежала, схватила арбуз, прижала, как ребенка.

— Севка, из тебя мог бы получиться талантливый...— и она запнулась.

— Кто? Кто?— спросил он.

— Из тебя уже получился талантливый человек,— сказала она и на мгновение отвернулась, чтобы справиться со смущением. У нее чуть не вылетело слово «любовник».

—Я хочу разрезать арбуз,—сказала она.

— Конечно, конечно! Я весь день ждал этого мгновения. Женщина режет арбуз! Режет сердце степи. Ау, поэты, ко мне! — он протянул ей нож.

Взявшись за кухонный нож двумя руками, как за кинжал, навалившись на арбуз грудью, она с трудом проткнула толстую корку.

— Не отрежь себе нос!— засмеялся Севка.

И вот на стол опрокинулись и закачались два полушария, две чаши, до краев наполненные красным и розовым.

— Севка! Это же надо рисовать!— закричала Дина, наклонив арбузную половинку и положив рядом с ней длинную прозрачно зеленоватую гроздь винограда.— Это же натюрморт! Слушай, это мы не будем есть, а вот это уничтожим немедленно.

— Я знал, что ты захочешь рисовать, и купил набор масляных красок в шестнадцать цветов. Хватит тебе?

— Хватит, хватит. Ой, какой ты умница! На тебе первый ломоть. Смотри, он как в росе. А семечки какие черные! Спе-елый!

— Вот это ломтик — как раз от уха до уха.

— Ха, ха! Ты весь измазался!

— А ты, думаешь, нет? Посмотри-ка на свой нос!

Они ели, посмеиваясь друг над другом, и не уставая, восхищались арбузом. После него виноград показался кислым, недозрелым. Дина убрала со стола корки и деловито сказала:

— А сейчас я буду рисовать.

— Прямо сейчас?— удивился Севка — он никак не мог привыкнуть к ее импульсам.— Но ведь при электрическом свете краски теряются. Потерпи до завтрашнего дня.

— Нет, не хочу терпеть. Я не профессионал, для меня освещение не играет роли,— настаивала Дина.— Да пойми ты: человек первый раз в жизни притронется к масляным краскам. Неужели надо ждать до утра! Если хочешь, я нарисую натюрморт и подарю тебе на память. Хочешь?

— Не хочу,— сказал уныло Севка, услышав от нее опять эти слова «на память».— И почему ты уверена, что у тебя получится натюрморт, который можно будет даже подарить?

— Не сердись, пожалуйста. Ты ведь сам внушил мне, что у меня получается. Вот я и становлюсь самоуверенной.

— О! Тонкая лесть — самый могучий таран. Сдаюсь! Сейчас я все организую.

Севка нашел среди этюдов Славина прямоугольный кусок картона и старую истертую

палитру. Установил картон на мольберте, научил Дину разводить краски, помог разложить на застеленном газетой стуле виноград, два тонких и один толстый ломти арбуза, подсказал композицию рисунка.

— Остальное — дело техники,— пошутил он. С этой минуты он почувствовал себя неприкаянным, будто остался один на весь вечер. Дина была рядом и ее не было, небольшой кусок картона наглухо отгородил ее от всего. Севка мог заниматься чем угодно: петь, читать стихи, ходить на голове, упражняться в твисте — она все равно не заметила бы его. Она могла воспринимать только советы, как лучше держать палитру, как чистить кисти, как смотреть на готовые детали натюрморта. С ней совершенно невозможно было вести «двусторонний» разговор, — в лучшем случае, она двумя-тремя словами отвечала на вопросы.

Дина рисовала самозабвенно, с упоением. Она радовалась, что с масляными красками обращаться проще, чем с акварелью: можно бесконечно переделывать, менять один цвет на другой, уточнять каждый штрих,— так в театре на репетициях отшлифовывается каждое движение.

Дина продолжала рисовать и после двенадцати ночи. Бесполезно было доказывать, что при дневном свете все будет выглядеть иначе. Устав слоняться из угла в угол, измаявшись от безделья, Севка, не раздеваясь, забрался в спальный мешок. Попробовал читать, но в спальнике стало так тепло, что он почувствовал себя покойно и начал засыпать. Успел еще подумать, что не нужно пока никаких серьезных разговоров, не нужно уезжать из мастерской, Дина — рядом и потому все образуется само собой.

...Утром он проснулся первым. Тихо, чтоб не разбудить Дину, встал, свернул и убрал спальник, умылся. Ступая на носки и балансируя руками, словно подкрадываясь к чему-то запретному, подошел к мольберту.

— Доброе утро!— сказала Дина и засмеялась. Севка от неожиданности вздрогнул.

— Доброе утро, с солнцем. Сегодня будет хороший день. На дворе типичная золотая осень,— сказал он.

— Подглядываешь, да? Ну и как мой натюрмортик?

— Недурно. Вполне на уровне художественного училища.

— Нет, правда?

— Правда. Мне нравится, сделано энергично. И фон ты нашла подходящий. Осязаемо. Без сиропчика, без сладости — это хорошо. В общем, для первого раза весьма смело.

— Спасибо, Севка. А я, дура, вчера легла в третьем часу, никак не получался виноград. Только я вот думаю, что дилетантам легко быть смелыми — они не знают, чего бояться. Как ты считаешь?

— Я считаю, что ты талантливое дитя. Честное слово, из тебя мог бы выйти художник,— сказал Севка.

— Комплименты поступали с утра. Их, как кофе, подавали прямо в постель!

— Кстати, сейчас я сварю кофе. Тебе погуще или наоборот?

— Мне с сахаром.

— В этом доме куча сахара, целых полпачки! Любо, братцы, любо-о, любо, братцы, жить...—запел Севка и побежал на кухню. Но через минуту он услышал крик Дины:

— Севка, иди быстрей сюда!

Он вошел в комнату. Накинув одеяло на плечи и встав на колени, Дина смотрела в окно. Из-под одеяла высунулись розоватые точеные пятки. Севка сделал над собой усилие, чтобы отвести от них взгляд. Он скрестил за спиной руки и до боли стиснул кисти.

— Иди, иди,— оглянулась на него Дина и быстро присела, поправив одеяло.— Ну, иди сюда. Смотри, цветы косят.

Он подошел к окну.

Город уже полностью захватило утро. Над освещенными солнцем крышами стояло торжествующее, синее, как в апреле, небо. Над рекой истончались и исчезали последние лоскуты тумана. На том берегу полыхали желтые сады. А внизу, у дома, выкашивал большую овальную клумбу цветов мужик в широких серых штанах и белой рубахе с засученными рукавами. Звук косы не доносился до четвертого этажа, но зато сверху отчетливо виднелся коридор скошенных цветов — красных, белых, оранжевых, голубых. Поблескивая, умело, размеренно ходила коса — вправо — влево, вправо — влево.

Севка и Дина долго смотрели, не разговаривая. Они видели, как пробегавшие мимо клумбы девчонки с портфелями и в белых передничках схватили по нескольку срезанных цветков, как женщина, толкавшая впереди себя коляску, собрала букет и положила ребенку, как одноногий мужчина, взяв в одну руку оба костыля, наклонился и подобрал белую хризантему, как из подъезда соседнего дома выскочили две шустрые старушки с ведрами и судорожно, воровато стали сгребать цветы, как налетели стайкой воробьев мальчишки,— им цветы не нужны были, им большое удовольствие доставляло просто побегать, попрыгать на клумбе. А мужик не обращал ни на кого внимания, все косил и

косил, будто занимался своей всегдашней работой.

— Зачем же косят?— расстроенно спросила Дина.

— Сейчас сбегаю узнаю,— сказал Севка. Он вернулся скоро и объяснил:

— После этого будут садить многолетние.

Дина все еще стояла у окна, смотрела. Она сказала:

— Я впервые вижу, как косят цветы... Разве не могли поставить за несколько дней такую табличку: «Товарищи, рвите цветы. Скоро посадят новые».

— До этого не додумались,— сказал Севка.— Обычно ставят другие таблички: «Не рвать!», «Не ломать».

— А почему же ты не принес цветов?— удивилась Дина.

— Забыл! Наверно, очень затвердил это правило: не рвать, не ломать. Ну, мне пора на работу. Пойду проглочу чашку кофе. А у тебя сегодня нет репетиции?

— Есть, но я не пойду. Скажу — болела... Севка, по-моему, у тебя не хватает на трамвай?

— Нет, у меня даже останется две копейки.

— Значит, не хватит на обратную дорогу. Возьми у меня в сумочке.

— Ладно, рискну. А как ты догадалась?

— Простейшие мысли я могу читать на расстоянии. Это не трудно.

— Тебе достать бумагу? Ты будешь писать?

— Ага. А ты как догадался?

— Запросто — посредством той же телепатии.

— Да, у меня есть уже две строчки:
«Товарищи! Влюбленные! Рвите цветы!
Завтра посадят новые!»

Глава девятая

В этот день Севка работал с настроением, время шло быстро. Он не удержался и рассказал Сережке Ефремову о том, что они с Диной видели сегодня утром, как косят цветы на клумбе, что Дина вдохновилась на стихи.

— Прямо косой?— переспросил Сергей.

— Да, как на сенокосе,— сказал Севка.

— Интересная тема для стиха! То, что берегли, над чем дрожали целое лето,— за пятнадцать минут вжик-вжик. А старухи, значит, прибежали с ведрами, чтоб набрать и вечером вынести на людской перекресток: «Купите фиалки! Всего рубль за букетик». А инвалид взял только одну хризантему?.. Да, могучие стихи можно написать!— расчувствовался Сергей.

— Здорово я посмеялся над одной старушенцией!— рассказал Севка.— Она стоит на коленях, хватает цветы, торопится. А я подошел к ней, позвякал мелочью в кулаке и говорю: «Будьте добры». Она механически, таким заученным движением протягивает руку. Я тогда раскрыл кулак, а там лежит всего лишь пятак — три копейки и две копейки. Она опомнилась и как замахнется на меня...

— Думаю, что после этой шутки великого племени рвачей не убыло,— посмеявшись, сказал Сергей.

Севка все думал о том, как вернется после работы в мастерскую и Дина прочитает ему стихи. Какие это будут стихи?.. Должны быть хорошими, потому что утром Дина разволновалась чуть не до слез и это не походило на обычную женскую сентиментальность.

В половине двенадцатого зазвонил телефон. Севка поднял трубку, но прождал минуты две и ничего не услышал.

— Что-то случилось с нашим телефоном,— сказал он.

— Я недавно говорил, все было нормально,— сказал Ефремов.

Звонок повторился и — снова молчание. И тогда Севка высказал все, что думает о молчальнике:

— Алло, если вы развлекаетесь, мне с вами не интересно. Мне эта игра надоела давно, лет двадцать назад. Но, может, вы действительно звоните с испорченного телефона? Тогда позвоните с другого. Желаю удачи!

Он бросил трубку. Ефремов посмотрел на него осуждающе, сказал:

— Зря ты так. А если это кто-нибудь...

— «Кто-нибудь» не будет звонить из автомата,— заметил Севка.

Через десять минут опять раздался звонок. Севка поднял трубку и четко произнес:

— Сотрудник Лазарев у аппарата!

— Ну, слава богу,— сказал женский голос.

— Дина! Откуда ты?— он сразу узнал ее голос.— Я рад, ты слышишь?

— Я уже слышала, как ты меня отчитал. Пришлось искать второй автомат.

— Ага, я так и подумал.

— А я и вправду развлекаюсь, Сева.

— То есть? В каком смысле?

— Меня развлекает художник.

— Какой?

— Славин.

— Так, так. На этот раз у него совсем быстро кончились белила.

— Он притащил бутылку шампанского и мне пришлось пить. Понимаешь, я не могла отказываться. Из-за тебя. Ведь ты у него живешь, он может тебя в любое время...

— Дина! Ты не должна об этом думать, какое это имеет значение! Рано или поздно я от него уйду, но, скорей всего, очень рано!

— Ладно, не будем об этом. Ты меня дослушай. Так вот, выпили мы бутылку, и он собрался за второй. А я говорю: «Серафим Ильич, в вашем возрасте уже не так просто подниматься через каждые полчаса на четвертый этаж. Давайте я сама схожу в магазин». Он страшно обиделся, но потом согласился и дал мне десятку. Дошлый дядечка! Решил, что с десяткой я не убегу. А мне наплевать на его десятку! Я могла бы сейчас же приехать к тебе, а ты вернул бы ему деньги. Только бутылку-то я уже купила, звоню тебе из магазина, а на углу телефон не работает.

— Дина, приезжай! Мы выпьем это шампанское за здоровье Славина! Учти, что я уезжаю от него завтра же,— просил Севка.

— Нет, мы должны над ним посмеяться, мы красиво проведем его! Понимаешь, он обнаглел. Он уговаривает меня позировать полуобнаженной, уверяет, что у меня классически правильный торс... Слушай, как мы проведем его. Я ему сказала, что мы с тобой договорились ехать на море и ты должен заехать за мной на такси. Но, по-моему, он не поверил. Тем хуже будет для него. Приезжай быстрей, Севка.

— Дина, не нужно этого эксперимента! Я прошу: приезжай сюда!— умолял Севка.

— Ты почему всегда такой? Деликатный, как старый интеллигент. Даже противно... Ты пойми, как это необходимо — щелкнуть его по носу! Слушайся меня — когда я выпью немного шампанского, я становлюсь умной. Ты не представляешь, какой смертельный будет для него удар, когда ты изящно уведешь меня из мастерской. Приезжай! Я жду.— Дина повесила трубку.

Севка метался со сжатыми кулаками по кабинету и шептал:

— И это он просил меня не устраивать в мастерской эксцессов... Досрочно вернулся с этюдов. Может, он думает, что Севка — сопляк, что такая женщина — не для него. Может, он хочет, чтоб я платил ему за квартиру не деньгами... Ну, держись, старая калоша, сейчас мы поставим тебя в угол...

— Что случилось, Севка? Чего ты мечешься?— спросил Ефремов.

— Ничего. Я успокаиваюсь. Мне надо быть спокойным,— ответил Севка и подскочил к Ефремову.— Сережа, мне срочно нужна трешка!

— Трешка всегда бывает нужна срочно. Но у меня не найдется, если б ты даже подождал. А в чем дело?

— Мне очень нужна трешка,— сказал Севка.

Ефремов почувствовал, что его сотрудник расстроен не на шутку. Но как его выручить, если зарплата будет только через четыре дня?

В кабинет заглянул один из безымянных начинающих поэтов. Заглянул на полминуты, спросить, где найти литконсультанта. Но этого времени Сергею и Севке хватило на то, чтобы обласкать парнишку, вознести его до уровня желанного гостя и друга редакции, обаять, охмурить, взять взаймы три рубля. И тот ушел счастливым от сознания, что стал своим человеком в редакции.

— Серега, мне нужно срочно ехать, — сказал Севка.— Если «кто-нибудь» спросит, скажи: ушел писать свой материал. А завтра я буду вкалывать. Не сердись, Серега! Чем чаще ты меня будешь отпускать, тем скорей мы начнем ходить друг к другу в гости по-семейному. По-моему, Галка твоя ждет этого с нетерпением! А?

— Ты уже успокоился? Ну и прекрасно,— сказал Ефремов.— Беги, мой сын! Беги, быстрей женись, и я приглашу тебя по-семейному...

Севке повезло: на улице он сразу остановил такси, сказал водителю, что сначала заедут «в одно место», а потом — на море. Таксист не заставил долго упрашивать: «На море — всегда пожалуйста!»

— Поскорей только,— сказал Севка. Машина, присев на задние колеса, прыгнула и помчалась.

— Если бы не светофоры, можно было бы и поскорей,— сказал шофер.

— Развесили их, где надо и где не надо,— пробурчал Севка. Он сосредоточился, напружинился, готовясь к предстоящей встрече. Как боксер перед решающим раундом, в котором он должен непременно победить. Он думал о том, что ему надо тонко выиграть, тонко и наповал.

Машина остановилась. Севка бросил таксисту: «Одну минуту»,— и, перескакивая через три ступеньки, вбежал на четвертый этаж. Дверь была закрыта, и он постучал. Послышался голос Дины:

— О, это, наверно, Сева приехал!

Открывать не торопились. Севка постучал посильней и услышал, что к двери подбежала Дина. Она крикнула:

— А где же ключ, Серафим Ильич? И зачем вы закрыли?..

Наконец, дверь распахнулась и Севку ударил взгляд художника Славина. Он стоял возбужденный, с раскрасневшимся лицом. Впрочем, так было всегда: стоило ему выпить хоть немного, и он краснел, как огнетушитель. Севка знал эту особенность Славина.

— А-а! Серафим Ильич! Добрый день! Вы когда приехали? — наивно обрадовался Севка, проходя в комнату.— Ого, на столе шампанское! Вы изменяете своим привычкам, Серафим Ильич. В ваши годы это, пожалуй, не безвредно.

— Ты помешал нам, Сева,— едва справляясь с раздражением, сказал Славин.— О чем я говорил, Дина?

— О Ренуаре,— подсказала она.

— Да, да. Его роскошные женщины одновременно возвышенны и греховны, как богини. Принято считать, что художники равнодушны к натурщицам, но когда смотришь на женские портреты Ренуара... Сева, тебе, наверно, не интересно это слушать. Ты, по-моему, все это знаешь.

— Серафим Ильич, я всегда с удовольствием вас слушаю и сейчас мне интересно. Но вы извините, нас внизу ждет такси. Мы с Диной едем на море. Стоят последние теплые дни, надо успевать.

— А вы не хотите с нами, Серафим Ильич?—неожиданно предложила Дина. Это был блестящий, по-женски изощренный ход, после которого Славину оставалось лишь улыбаться и отказываться. Он тяжело сел за стол и предложил выпить. Дина сказала томно:

— Спасибо, вы меня уже напоили. Я уже плохо соображаю!

Севка поднял стакан:

— За ваше здоровье, Серафим Ильич!

Славин был растерян.

— Побежали, Дина,— заторопил Севка.— Таксист ждет нас.

Славин проводил их до дверей, попрощался и пробормотал свое обычное выражение:

— Дура лекс, сэд лекс...

До второго этажа Дина и Севка спускались молча, а потом вместе расхохотались.

— Ты знаешь, что он сказал на пороге? — спросил Севка.

— Нет, не расслышала.

— Дура лекс, сэд лекс. Это у него любимое изречение. В переводе означает: закон суров, но это закон. В этот раз оно пришлось очень кстати, правда?

— Ага. Как мы его, а!.. Так ему и надо. Сева, куда мы сейчас? Учти, что я вдребезги пьяная. Но это скоро пройдет.

— Мы едем на море. Бродить по берегу и шуршать листьями. Я соберу для тебя такой букет, какой никто никогда не дарил тебе.

— Сева, ты действительно приехал на такси, чтобы увезти меня на море? Ты не представляешь, какая ты прелесть! Я больше всего на свете люблю шуршать листьями и получать букеты! И вообще, ничто женское мне не чуждо. Я даже реветь умею. Хочешь?

— Нет, нет. Давай в другой раз,— сказал Севка.— Таксист может подумать, что я увожу тебя насильно. Таксисты, знаешь, какие догадливые? Все видят насквозь!

Они сели в машину.

— Туда? — спросил шофер.

— Да, к заливу,— сказал Севка и шепнул Дине.— Видишь, я же тебе говорил...

— Как хорошо, что ты приехал, — сказала она, прижимаясь к нему. Севка обнял ее за плечи.

Солнце дарило им остатки летней ослепительности. Город расстилал перед ними улицы, расцвеченные догорающими садами и засыпанные желтыми листьями,— скудел золотой запас осени. Город был растрепанный и неубранный, как после большого праздника.

Глава десятая

Они возвращались с моря вечером на автобусе. Дина, уставшая, притихшая и посветлевшая, сидела с диковинным букетом ярких осенних веток. Каких только листьев в нем не было: березовые, рябиновые, ольховые, осиновые. Черемуховые ветки с глянцевитыми черными ягодами, ветки кедра и лиственницы с молодыми лилово-заиндевелыми шишками. Выбивались из остальных два цвета — красный и желтый.

Когда автобус подбрасывало, листья щелкали и потрескивали, как на костре.

Пассажиры оглядывались на необычный букет и не было среди них мужчины, который бы не улыбнулся Дине. А один, наклонившись, сказал:

— Осторожно, девушка, не наделайте пожара.

— Ничего, у меня есть спаситель,— ответила она.

Севка гордо сидел рядом: это он собрал такой букет. Дина шепнула ему на ухо:

— За что ты наградил меня? Я не заработала. Ведь стихи-то сегодня я так и не написала.

— Ничего еще не потеряно,— сказал Севка.— Вот посмотришь, как будут садить на той клумбе многолетние, и придут новые мысли.

— Скажи, а этому букету сколько жить?

— Дня три. Может, неделю.

— Ну и пусть. Я никогда еще не держала в руках такого... Сева, а в мастерскую я больше не приду, не хочу видеть Славина.

— Давай заедем в последний раз. Его сейчас там не будет. Ему жена не разрешает оставаться в мастерской на ночь. Заедем, Дина?

— Ну, хорошо. Только не надолго. Я возьму свой натюрморт.

Они сошли на остановке и, подойдя к большому четырехэтажному дому, около которого чернела вскопанная клумба, увидели, что в окнах мастерской нет света.

— Вход свободен!— обрадовался Севка.

В мастерской было прибрано и проветрено.

— Славин никогда не оставляет после себя бутылок и прочих следов. Все по той же причине: боится жены,— объяснил Севка.

Дина подбежала к окну и отдернула шторы, словно раскрыла створки обсерваторского купола: город был усыпан мигающими огнями дальних фонарей, светофоров и окон, ближние светили ровно, спокойно, как звезды первой величины; расплывчато и слабо, как Млечный путь, мерцала река.

— Все-таки мне здесь нравится,— сказала она.— Каждый раз смотришь — и думаешь, сколько в жизни толкучки, и хочется не спеша делать что-нибудь хорошее, прочное. Овладеть бы как следует масляными красками...

— Верно кто-то писал, что вид с высоты располагает к творчеству. Нам бы такую комнату. То есть...— замешкался Севка,— я хотел бы здесь жить. Может, со временем что-нибудь и придумал бы дельное.

— Конечно, надо пробовать, не стесняться!— оживилась Дина.— Бери пример с меня: я наглая нахалка — попали под руку краски, я раз-раз и намалевала натюрморт. Похвалил профессиональный художник Славин. Кстати, как поживает мой натюрморт? Просох или нет еще?

Дина подбежала к мольберту. На подставке лежала только грязная промасленная тряпка, не видно было даже кнопок, которыми укреплял Севка кусок картона к стойке.

— Куда же он исчез?— заволновалась Дина.

— Может, Славин взял, чтоб показать в Союзе художников?— предположил Севка.

— Ты нехорошо шутишь,— сказала она растерянно.— Тут что-то другое...

Женским чутьем Дина угадывала недоброе: «Как же! Понесет Славин в Союз художников...» Она молча присела на стул.

А Севка решил обшарить всю мастерскую. «Не мог же натюрморт исчезнуть бесследно. Ведь не книга какая-нибудь, которую можно запросто унести по забывчивости. Это же, черт побери, произведение! Вещь, которую нельзя повторить. Сколько с ним мучилась Дина... И, главное, первая проба»,— так думал он, но предпочитал не говорить об этом вслух, чтобы не расстроить Дину еще больше.

Он тщательно перебрал стопки этюдов, заглянул за каждую картину, посмотрел на подоконниках, залез в стол, порылся в книгах, сваленных в углу. Наконец, приподнял медвежью шкуру и рассмешил этим Дину. Ей надоело сидеть без дела, она встала и пошла поискать на кухню.

Встав на четвереньки, Севка заглянул под диван и — вытащил оттуда натюрморт. У него задрожали руки, когда он разнимал слипшиеся от непросохших еще красок куски изорванного картона. Он сказал шепотом о Славине такие слова, какие тому, уважая возраст, давно не говорил никто. Он не знал, как показать Дине ее загубленную работу.

— Не нашел?— крикнула она из кухни.

Повинуясь ее голосу, он, не ответив, медленно пошел.

Узкое окно на кухне было раскрыто настежь. Она стояла на подоконнике и осматривала верх высокого шкафа, стоявшего рядом.

Из-за реки донесся обрывок фразы станционного диктора:

«...прибывает на первый путь».

— Зачем ты открыла окно?— спросил Севка тихо, без выражения.

— Пылища тут, пусть немного продует. Ты не нашел? Что ты держишь за спиной?!

Севка, не глядя на нее, показал куски натюрморта и сказал:

— Это он со злости... Он никакой не художник. Он всего лишь фашист.

Глаза Дины сделались громадными, заморгали часто, и она заплакала. Севка успел еще сказать:

— Я попробую склеить!

Потом случилась истерика. Не сходя с подоконника, вцепившись побелевшими пальцами в угол шкафа, она говорила, захлебываясь и задыхаясь:

— Все, все так! Сначала рассыпаются, умничают... Джентльмены! Потом... Как это подло! Все — игра в слова... Этот Славин до-

бивался одного — чтоб я ему позировала... «Классически правильный торс!»

...Правильно кто-то сказал: творчество требует одиночества. Где найти это одиночество женщине, если со всех сторон к ней липнут, липнут?..

— Я хотела бы облазить полземли, побывать там и там. Но романтика — не женское занятие. Нас ловят, как бродячих собак. Каждую хотят посадить в клетку. Мои импульсы столько принесли мне неприятностей!

Наверно, из меня ничего не выйдет. Я не зря просила тебя не ходить на мои спектакли. Здесь у меня ни черта не получалось. Старалась, но все шло впустую. Мне давали мизерные роли...

(В узкой раме окна ее фигура четко рисовалась на черном фоне неба и пульсирующего огнями города. Севка вспомнил репетицию и подумал: «Это не правда, что ни черта не получалось». Дина убрала руку со шкафа, и Севка невольно шагнул к ней. Он испугался. Ему вдруг показалось, что она запросто может броситься в окно, а там, внизу,— асфальт).

—...Не зря называют актеров последними цыганами,— продолжала она уже спокойней.— Они мечутся с места на место, ищут хорошие роли и хороших режиссеров, а их мало.

Вот и я здесь вдрызг разругалась с режиссером! Женщине-одиночке лучше не работать в театре... Я не рассказывала тебе, Севка, что несколько раз ко мне привязывались и провожали от театра до самых дверей этой мастерской. Я говорила, что у меня есть муж. Они не верили до последней минуты, пока я не открывала дверь. А когда ты был в командировке, один даже ворвался сюда. Еле выперла его.

Мои импульсы не приводят ни к чему хорошему. Полетела посмотреть тайгу... Кармилов перехитрил меня. Он тонко сыграл, подлец...

А тебе я сразу поверила, Севка. Но зачем ты меня приручаешь? Ты хочешь жениться на мне, да? Я не могу, Сева. Ты никогда не простишь мне истории с Кармиловым. Не спорь. Я мудрая, Сева...

(Дина шагнула с подоконника на пол, и Севке сразу стало легче. Все это время он стоял напряженно, следил за каждым ее движением: он и вправду боялся, что она может прыгнуть с четвертого этажа).

— Зачем ты ходишь около меня тихо, как нянечка около больной? Ты не жалей меня. Я должна сама вылечиться. Мне надоело жить импульсами. Когда я встретила тебя, мне захотелось какой-то твердости. Мне понравился город, здесь можно было бы остаться. Я знаю, с тобой мне было бы спокойно. Но чувствую, что не смогу быть долго в одном русле, снова меня занесет куда-нибудь. Тебе со мной будет тяжело. Зачем тебе это нужно?

Ты талантливый человек, тебе надо найти себя. Да и мне самой пора выбирать что-то одно — увлекаюсь, как девчонка. Уйти бы ото всего куда-нибудь к черту на кулички, чтобы хорошенько собраться с мыслями!

Севка, ты прости меня. Пойми одно: мне с тобой было спокойно, как ни с кем. Но я должна уехать. Я, наверно, очень скоро уеду. Не знаю еще — куда. Мне надо прийти в себя... Ну, что ты молчишь?

— А что же я буду делать?— сказал Севка.— Ведь я люблю тебя, Дина. Честное слово.

За рекой, на станции бесстрастно говорил диктор: «Граждане пассажиры, проверьте, не остались ли ваши билеты у провожающих».

И снова: «Граждане пассажиры...»

Глава одиннадцатая

Все стало сложно для них после этого вечера: встречаться, говорить, думать. Перевал неопределенности остался позади...

Горькое откровение Дины потрясло Севку. Он так долго и нетерпеливо ждал ясности, а когда она пришла наконец, он растерялся перед тем, насколько она сложна. Были моменты, похожие на приступы отчаяния. Севка безуспешно пытался понять, почему же так фатально недостижима безоблачность в их отношениях. Ему казалось, что после той смешной первой встречи на вокзале (хоть и была-то она всего полтора месяца назад) у них появилось столько общего, что нелепо разъезжаться, разбегаться и жить поодиночке. Нашли же физики такие элементарные частицы, которые могут существовать только парами.

Он бесконечно возвращался к ее монологу, вспоминал каждую мысль, каждую интонацию голоса. И он догадывался, что сказала она не все.

«Зачем ты меня приручаешь?»— это прозвучало неожиданно. Может быть, она невольно выбрала известную тактику: наступление — лучший вид обороны? Для чего? Чтобы не говорить об очень важном: зачем она-то была все это время с ним?..

Севка презирал себя за эти въедливые домыслы. Он мучился мрачной рефлексией

только потому, что боялся поверить в ту радостную мысль, что отношения с ним были для Дины вовсе не грубо рациональными и вынужденными, что не просто спокойно было ей с ним. Об этом Севке еще предстояло услышать.

А пока у него не было причин для радости: Дина решила уезжать и очень настойчиво просила не останавливать ее. Так настойчиво, будто она была чем-то обязана ему, будто у него появились какие-то права на нее. Что ж, он не будет удерживать потому, что это не в его силах и это бессмысленно,— он сам поедет с ней. Да, он уедет с ней вместе. Куда она, туда и он — в любую сторону. Для журналиста везде найдется работа.

Севка узнал, что Дина собирается ехать на Дальний Восток, и принялся готовиться в дорогу. В редакции он пока никому не говорил об этом — зачем выбалтываться раньше времени? Он и так уж пожалел, что сказал ребятам о своем намерении жениться. Теперь при каждом удобном случае его допекали:

— Ну, когда свадьба?

— Откладывается на неопределенное время?

— Не вздумай жениться подпольно! Потом не на кого будет сваливать вину, сам будешь виноват кругом!

— Может, не хватает денег на свадебное путешествие? А ты на попутных машинах. Покажешь билет журналиста и повезут бесплатно.

— Или пешком. С рюкзаком и палаткой. На транзистор мы скинемся.

— Скоро снег выпадет — можно и на лыжах...

У Севки было такое настроение, что не хотелось даже отвечать на шутки. Он грубо отмахивался от любопытных, а это давало новый повод для подначки.

Дину почему-то не отпускали из театра,— видно, не такая уж бесталанная актриса была она. Севка воспользовался задержкой, чтоб решить проблему проблем — найти на дорогу деньги,— свою зарплату он уже раздал на долги.

За неделю удалось собрать триста рублей, большая половина из них была взята в долг. Пришлось продать фотоаппарат вместе с экспонометром: Севке надоело ждать, когда найдет хорошую комнату, в которой можно будет организовать фотолабораторию. Он даже обрадовался, что теперь не надо будет разоряться на увеличитель, ванночки и прочие принадлежности. И пожалел лишь о том, что больше продавать нечего. Была, правда, еще отличная японская авторучка, но он не мог расстаться с основным орудием труда, с той вещью, которую считал единственной своей собственностью.

Теперь оставалось только подумать о маршруте. Севка однажды остался после работы в редакционной библиотеке и до поздней ночи листал Большую советскую энциклопедию, рылся в книгах, в которых хоть что-нибудь писалось о Дальнем Востоке. Интересного он прочитал столько, что заочно и без оглядки полюбил весь этот край, но особенно — экзотические Курилы, цепочку брошенных в океан островов с фантастической природой. «Вот туда и только туда надо ехать! Это и есть тот край земли, о котором она все время поет»,— решил Севка.

В ту ночь он купался в теплых целебных ручьях, бегал по бамбуковой аллее и выбивал палкой дробь на деревьях — как в детстве по штакетнику, помогал рыбакам тянуть сети... Не один, конечно. Вдвоем с Диной.

Наконец у него все было готово и продумано. Он знал, что в редакции его не смогут удерживать, потому что положенные три года он уже отработал. Значит, ничто и никто не помешает ему. Надо дождаться, когда рассчитается с театром Дина и даст ему знать об этом. А она почему-то не звонила, не давала сигнала к «отплытию» на Курилы.

Одного Севка не знал: как сообщить Дине о своем решении ехать вместе с ней, как она отнесется к этому?.. Но он уже думал о том, что если они уедут, Дине нужно будет сначала отдохнуть и, вообще, оглядеться, как жить дальше, а работать будет пока он один, о! у него появился бы тогда вкус к работе, он бы постарался держать марку журналиста!..

Но все-таки как сказать Дине о своем решении? Надо выбрать подходящий момент, надо найти такую обстановку, чтобы ему помогли, как говорится, сами декорации. Может быть, поехать в последний раз за город, чтобы попрощаться с Байкалом, с тайгой? Пожалуй, она согласится поехать.

Севка поймал в редакции молодого поэта Виктора Лебедева, единственного среди молодых литераторов города, который мог гордиться благоприобретенной дачкой. Пускай это был в недалеком прошлом всего-навсего гараж, но сейчас это была дача, куда можно было приехать и поработать, и отдохнуть с компанией. Виктор по дешевке купил ее на гонорар со своей первой книжки у директора какого-то небольшого завода: по непонятным причинам тот был вынужден срочно продать свою «Волгу» и гараж, который стоял в стороне от его почти двухэтажной дачи — дома

с мезонином. Виктор был счастлив в гараже со своей молодой женой. Директор и его семейство не мешали, они приезжали редко,— наверно, успели отквыкнуть пользоваться электричкой, которая по субботам и воскресеньям становилась слишком общественным транспортом.

Севка как-то весной приезжал на дачу Лебедева. Виктор тогда сажал на клочке отведенной ему земли цветы и прикидывал, где поставить забор, чтобы отгородиться от директора. Севка безжалостно острил по поводу «пробуждения частнособственнических инстинктов», но ему понравилось в бревенчатом домике, стоявшем у подножья крутой, заросшей соснами горы, на берегу каменистого ручья.

И вот сейчас Севка обрадовался идее съездить туда с Диной. Он угостил Лебедева хорошей сигаретой марки «Лорд», которую за минуту до этого перехватил у другого гостя редакции, и начал разговор:

— Ну, какие стихи родятся на твоем ранчо, Виктор?

— Слушай, Сева, забор-то не дали мне поставить. Зачем, говорят, отгораживаться, лучше жить коллективом. Чувствуешь, какая сознательность! Но ничего, поэму я все-таки закончил. Принес вот отрывок вам. Напечатаете? Деньги мне вот так нужны сейчас! Надо покупать пеленки, распашонки и какие-то пинеточки. Жена в роддоме, жду наследника с минуты на минуту! Вот так-то, брат.

— Молодец, Витька! Я всегда в тебя верил!— Севка обнял его и похлопал по спине.— Я обязательно куплю тебе какие-нибудь погремушки.

— Спасибо, старик. А как у тебя дела? Я слышал, собираешься жениться?— спросил Лебедев.

— Нет, ничего пока определенного.

— У меня тоже до самого конца не было ничего определенного, а потом смотрю — выходим из загса... Вот так-то, брат. Кстати, у тебя нельзя перехватить двадцатку?

— Для такого дела найдется,— сказал Севка.— У начинающего папы должны быть хотя бы карманные деньги? Но у меня к тебе тоже есть вопрос: на даче никто сейчас не живет?

— Четкий вопрос. Нет, никто не живет. Я никак не могу перевезти оттуда вещи. Хочешь съездить?

— Да, мне очень нужно, Витя.

— Ну, какой разговор! Ключи от рая я всегда ношу в своем правом кармане. Прошу вас... Вернешься — позвони мне.

— Хорошо. Спасибо, Витек. Ты меня здорово выручил. Держи, вот тебе двадцать рэ.

— Поезжай. Там сейчас прекрасная осень. «Октябрь уж наступил...» Все дачники посмывались в город. Воздух чистый, как на Байкале.

Они пожали друг другу руки.

Глава двенадцатая

Дина позвонила в пятницу. Голос у нее был радостный:

— Севка, все в ажуре: меня уволили! В среду, наверное, я поеду. Расскажу тебе все, когда встретимся. Сегодня мне некогда, а завтра можно будет. Где ты хочешь назначить мне свидание? Только не у Славина.

— Давай встретимся у сосновой горы на берегу чистого-пречистого ручья.

— Давай, если не будет дождя. А это далеко?

— На электричке час езды. Но, к сожалению, это не Байкал. Хотя воздух там, говорят, точно как на Байкале. Есть такой разъезд — Медвежий. Есть там один симпатичный сарай — это дача моего друга — поэта. Я знал, что ты захочешь там побывать и попросил у него ключи.

— Скажи, а тайга там близко?

— В двух шагах, сразу за ручьем. Завтра вечером мы уедем, а в воскресенье вернемся. Можно будет сходить в лес, поискать бруснику. Соглашайся, Дина.

— Ну, ладно. С тобой мне не страшно, я могу куда угодно поехать.

Остаток пятницы и половину субботы Севка прожил с легкой душой и настроением, которому завидовал каждый, кому он сказал хоть одно слово: «Привет!» Он вспомнил, что есть такая хитрая теория, в которой колоссальное значение придается обмолвкам, оговоркам, опискам, малейшим непроизвольным движениям, якобы они-то и выдают человека с головой. Севка был полностью согласен с этой теорией. Еще бы: Дина нечаянно высказала нечто очень важное для него: «С тобой мне не страшно, я могу куда угодно поехать». И он скажет ей так же: «Я с тобой могу куда угодно поехать. Хоть на самый Дальний Восток. Я подумал и решил, что лучше всего податься на Курильские острова». Так и скажет. А в понедельник выложит редактору на стол заявление: прошу уволить по собственному желанию. Может, даже с мотивировкой: в связи с семейными обстоятельствами. Это — для солидности.

...Они сошли на разъезде Медвежьем вечером, когда солнце садилось уже на кромку плоского хребта. Отстучала за поворотом электричка, и началась тишина. Даже собаки не лаяли в этот умиротворенный закатный час. Слышно было лишь, как в желтом железнодорожном домике кто-то говорил по телефону.

Севка помог Дине спрыгнуть с деревянного настила платформы, и они пошли по широкой заросшей травой улице, которая упиралась прямо в склон горы. Многие дачи стояли уже заколоченные. Казалось, что в них никто никогда не жил. Но банки из-под консервов и бутылки, валявшиеся в канаве, порванный красно-желтый детский мяч, лежавший посреди улицы, говорили о том, что лето здесь было шумным.

— Во-он, видишь дом с зеленой крышей в самом конце?— спросил Севка.

— Вижу. Это действительно симпатичный сарай!

— Нет, что ты! Это дом того директора, который продал Лебедеву свой гараж. Поэты не могут позволить себе роскоши жить в таких хоромах. Поэтовская дачка стоит в глубине двора, ее пока не видно,— разъяснил Севка.

— Здесь хорошо, но очень холодно. Такое впечатление, что вот-вот пойдет снег,— сказала Дина.

— Ничего, гараж-то утепленный,— успокоил ее Севка.— Мы сразу начнем топить печь.

— А-а! Там даже печь есть? Это превосходно!— обрадовалась Дина.

Дача директора тоже стояла глухая, нелюдимая, с прочно закрытыми ставнями. А гараж, с его широкими дверями и низкой крышей, издалека не походил даже на жилой дом. Но когда они вошли в него и Севка зажег свет, там оказалось все по-городскому. В беспорядке валялись книги — на столе, на диван-кровати, на подоконниках и просто на полу. На стене разными почерками, но одной зеленой краской были написаны два лозунга, один под другим:

«С милой рай и в гараже!»
«С милым рай в сарае!»

Дина, прочитав их, засмеялась и сказала:

— Здесь живут шутники!

— Давай топить?— спросил Севка.

— Нет, сначала пойдем погуляем. Посмотрим на твой чистый-пречистый ручей.

Ручей оказался и вправду чистым. Он бежал, узкий, в просторном, загроможденном камнями ложе, которое напоминало о том, каким размашистым и буйным бывает он в мае. Мелкие заводи были устланы опавшими и почерневшими уже листьями. Вода была холодная, будто только что вышла из-под ледника.

Перепрыгнув по камням на другой берег, Севка и Дина поднялись немного в гору. Идти было мягко, дышалось легко. Но лес выглядел пусто, сумрачно, неприветливо. Только охряные пятна не осыпавшихся еще лиственниц оживляли его. Быстро темнело. Хотя и воздух был пронзительно чист и горек, и утопали ноги в хвойной подстилке, и тишина настраивала на хорошее молчание — надо было спускаться к дому. Он светил своим желтым окном сквозь сосновые стволы, как светлячок, упавший в траву. Других огней близко не было.

Когда они вернулись в гараж, Севка нашел топор и начал колоть дрова. Дина прибрала немного в комнате и помогла ему занести поленья. Потом они вместе сходили к ручью за водой. Ручья уже не было видно, только смутно белели валуны.

— Страшно,— сказала Дина.

— Ага, жутковато,— согласился Севка.

Он отыскал воду по шуму и зачерпнул ведром. По дороге назад Дина крепко держалась за его свободную руку.

В гараже стало уютно, когда они разожгли печь и поставили чайник. Севка достал из рюкзака традиционную колбасу, яблоки и бутылку «Цинандали».

— Только давай сразу договоримся, что эти яблоки ты не будешь рисовать, мы съедим их все до одного.

— Хорошо,— сказала Дина тихо.

Он подумал, что зря напомнил ей о печальной судьбе натюрморта с арбузом. И поспешил переменить разговор:

— Дина, ты мне до сих пор не сказала, куда ж ты едешь?

— В Петропавловск-Камчатский.

— А если дальше?..

— Некуда. Там самый восточный театр.

— Значит, снова в театр?

— Да. Там работает моя подруга, мы вместе заканчивали училище. Она пишет, что работа найдется.

— Что ж, тогда первый тост — за незнакомые города, которые снятся и которые называют голубыми.

— Я хочу выпить за твои успехи,— сказала Дина.

— Это потом. А пока — за голубые города и розовые облака!— Севка паясничал, ему было совсем не весело. Он разлил вино по стаканам, протянул Дине самое красное яблоко. Они выпили и Севка сразу попросил:

— Что-то я не расчувствовал, можно мне полстакана вне очереди?

— Пей, алкоголик!— засмеялась Дина.— Только закусывай. Яблоки ты купил отличные! Выпей за то, чтобы заиметь, наконец, «свой собственный уют». Как вы пели тогда.

— Это не самая голубая моя мечта,— выпив и прикурив сигарету, сказал Севка.— Послушай меня. Я сейчас скажу... Вот ты вчера по телефону оговорилась, что со мной тебе не страшно поехать куда угодно. Дело в том, Дина...

— Нет, Севка, я поеду одна,— тотчас догадалась Дина, о чем он хочет говорить.— Глупый, ты ничего не понимаешь. Я не могу пока... Мне одной будет легче. Я должна сама выкрутиться.

— Знаешь, очень интересное место — Курильские острова. Настоящий край земли. Поедем, а? Я уже собрал на дорогу деньги...

— Ты не упрашивай меня так,— испугалась Дина.— Лучше не будем говорить об этом.

— Хорошо. Тогда выпьем за тех, кто едет туда, где нас нет. И пусть им повезет!

— Спасибо, Севка.

Потрескивали в печке дрова, начинал закипать чайник. Со стены смотрели на двух задумавшихся людей игривые надписи — вариации на тему «с милым рай и в шалаше». У этих людей не было шалаша. Они походили на транзитных пассажиров, которые оставили чемоданы на вокзале и отправились разыскивать в большом и запутанном городе знакомых. Погостили у одного, у другого. Заглянули к третьему, не застали дома четвертого. Но вот наступила пора, чтоб не пропали билеты, возвращаться на вокзал и ехать дальше. Впереди еще много городов, в которых надо сделать остановку и побродить по незнакомым улицам, подышать незнакомым воздухом.

...Двое боялись говорить. Они лежали далеко друг от друга. Смотрели, как на потолке прыгают красные блики. Слушали, как стреляют в печке сухие поленья. Потом они стали слышать, как шуршит в камнях ручей. Звук был глухой, но слитный. Казалось, что лес под ветром шумит. В черных окошках, которые забыли занавесить, не было видно ни одной звезды.

— Страшно,— прошептала Дина.— Я бы одна ни за что не осталась здесь ночевать.

— Глухомань, будто до ближайшего города миллион километров,— сказал Севка.— Я бы один тоже не согласился здесь жить. А сейчас — ни черта не боюсь. Напади сейчас какая-нибудь шайка — всех бы перерубил топором. Честное слово, у меня такое ощущение. Ты не веришь?..

Дина резко подвинулась к нему, прижалась всем телом и поцеловала его в затылок.

— Севка,— сказала она,— ты не представляешь, какой ты человек. Ты не такой, как все. Мне с тобой хорошо. Где ты был раньше?.. Я тебя никогда не забуду. Я не хочу потерять тебя навсегда. Ни за что!.. А мне пора начинать работать по-настоящему. Я постараюсь, теперь все будет по-другому. Скажи, я не пропащий человек?.. Как мне хорошо с тобой! Я буду стараться... Я тебя никогда, никогда... Ну вот, разревелась. Прости меня...

Севка вдруг почувствовал себя сильным, как никогда. Счастливый от своей неожиданной силы и веселой решимости, он начал быстро-быстро целовать ее в мокрые щеки...

...В ночь выпал первый снег. И проснувшись утром в гараже, залитом белым светом, как детская комната, они радовались снегу как дети. Они барахтались на диване, бегали босиком по комнате, бросались книжками и разбили лампочку.

Глава тринадцатая

В среду Севка провожал Дину.

На вокзале было зябко и сыро от растаявшего снега. Они занесли вещи в вагон. В купе уже сидели трое военных. Они спросили:

— Куда едете, девушка?

— До конца,— сказала Дина.

— Значит, будем попутчиками, — оживились военные. — Нам тоже до Владивостока.

Вышли на перрон. Вместе с Севкой пришли провожать Дину две актрисы. Они предупредительно стояли в стороне и шептались.

— Ты напиши мне сразу «до востребования»,— попросила Дина.

— Обязательно напишу.

— Мы еще встретимся. Я не хочу прощаться,— сказала она.

— Да, мы еще встретимся.

Диктор объявил по радио, что до отправления поезда остается две минуты.

— Спасибо тебе за все, Сева,— сказала она.

— Так говорят гости хлебосольному хозяину,— попытался он шутить.— А какой я хозяин без дома? Не мог пригласить тебя даже на прощальную рюмку чая.

— Ты ушел от Славина?— спросила она.

— Да, назад в редакцию, на диван.

— А как ты ушел? Ты сказал ему о натюрморте?

— Нет. Его уже поздно воспитывать.

— Ну почему ты со всеми такой деликатный! Я бы ему сказала... Да, совсем забыла: в театр пришла анонимка. О моем моральном облике. Будто я развращаю одного «славного парня»... Я сразу поняла, что это Славин написал. Увидишь его — передай от меня спасибо. Он помог мне уволиться...

Подошли актрисы и начали целоваться с Диной. Почему все актрисы так любят целоваться?..

Дина обняла Севку и сильно поцеловала в губы, потом быстро чмокнула в глаза, в лоб, в нос.

— Да свидания, Сева!— сказала она.

— До свидания!— сказал он, сжимая ее руки.

Дина поднялась в тамбур и оглянулась. И Севка увидел ее такой, какой никогда не видел. Не было всегдашней уверенности и решительности. Она улыбалась неестественно, через силу, и казалась уставшей. Севка вдруг представил, как она рвет и бросает билет, протягивает ему руки и — прыгает. Он представил это так отчетливо и так поверил в это сразу, что невольно сделал движение навстречу к ней. Дина подняла руку, но не помахала, не покачала ею, а тотчас уронила и вбежала в вагон.

Медленно и бесшумно стронулся состав. Плавно заскользили вагоны. Севка даже не уловил этого момента. И не услышал, как актрисы сказали ему: «До свидания».

Потом перрон опустел. Севка подумал, что вот и прощаться стало просто: поезд отошел совсем незаметно, будто уполз. Раньше паровоз давал такой душераздирающий гудок, такая железная дрожь пробегала по вагонам...

Севка проходил через тот же зал ожидания, где впервые встретился с Диной. Он вспомнил ту ночь — взбалмошную, нелепую и — прекрасную. Ночь, которую уже никогда не забудет.

...Ах, как предупредительно, скромно он вел себя! Какую свободу он предоставлял ей... Дурак. Совершеннейший идиот.

Севка вышел на привокзальную площадь. Шуршали по мокрому асфальту такси, суетились люди с чемоданами, задевая друг друга, толкаясь и переругиваясь. Одним надо было скорей захватить такси, другим — скорей втиснуться в вагонное купе или на вокзальную скамью. Сталкивались и отскакивали рикошетом чемоданы, рвались в разные стороны сцепившиеся нечаянно авоськи, панически замирали туфельки под гипнозом неумолимо надвигавшихся тяжелых сапог, разбрызгивавших грязь...

Он уже промочил ботинки и продрог. И только из желания додумать до конца, решиться на что-то — все толкался среди пассажиров, все не шел к автобусной остановке. Хорошо быть среди чужих людей человеку с несчастьем: никто не жалеет тебя, не подсказывает «единственный выход», когда нет никакого выхода, не помогает услужливо увидеть причины твоего несчастья в других — и тем верней можно их отыскать в себе самом, рассудить обо всем самому.

* * *

На центральной улице города, на людном месте, у театра, стояли большие стенды с портретами актеров — «заслуженных» и простых. Там висел и портрет Дины Андреевой. Он еще долго висел — до конца зимы.

Иркутск—Аршан, 1965 г.

ГАЛЕРЕЯ „АНГАРЫ“

СЕГОДНЯ В ГАЛЕРЕЕ «АНГАРЫ» ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ. ВЫ ПОЗНАКОМИТЕСЬ С РАБОТАМИ УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ «МОЛОДОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО, СОВРЕМЕННОСТЬ» АНГАРЧАНИНА А. КРИВОГО, ЕГО РОВЕСНИКА В. БЕЛОНОГОВА И ДВУХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФОТОМАСТЕРОВ — В. БЕЛОКОЛОДОВА И А. ЛЕВИНСОНА.

МНОГО ЛЕТ РАБОТАЕТ В САМЫХ ТРУДНЫХ ОБЛАСТЯХ ГРАФИКИ АЛЕКСАНДРА РИХАРДОВНА МАДИССОН — АКВАТИНТА, ОФОРТ, СУХАЯ ИГЛА... ЛЕТОМ В ДОМЕ ХУДОЖНИКА СОСТОЯЛАСЬ ЕЕ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА, И ВСЕ ЗРИТЕЛИ УБЕДИЛИСЬ, ЧТО АЛЕКСАНДРА РИХАРДОВНА ТАКЖЕ СВОЕОБРАЗНЫЙ, КОЛОРИТНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ. МЫ ПОЗНАКОМИМ ВАС С НЕСКОЛЬКИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИНТЕРЕСНОЙ ХУДОЖНИЦЫ.

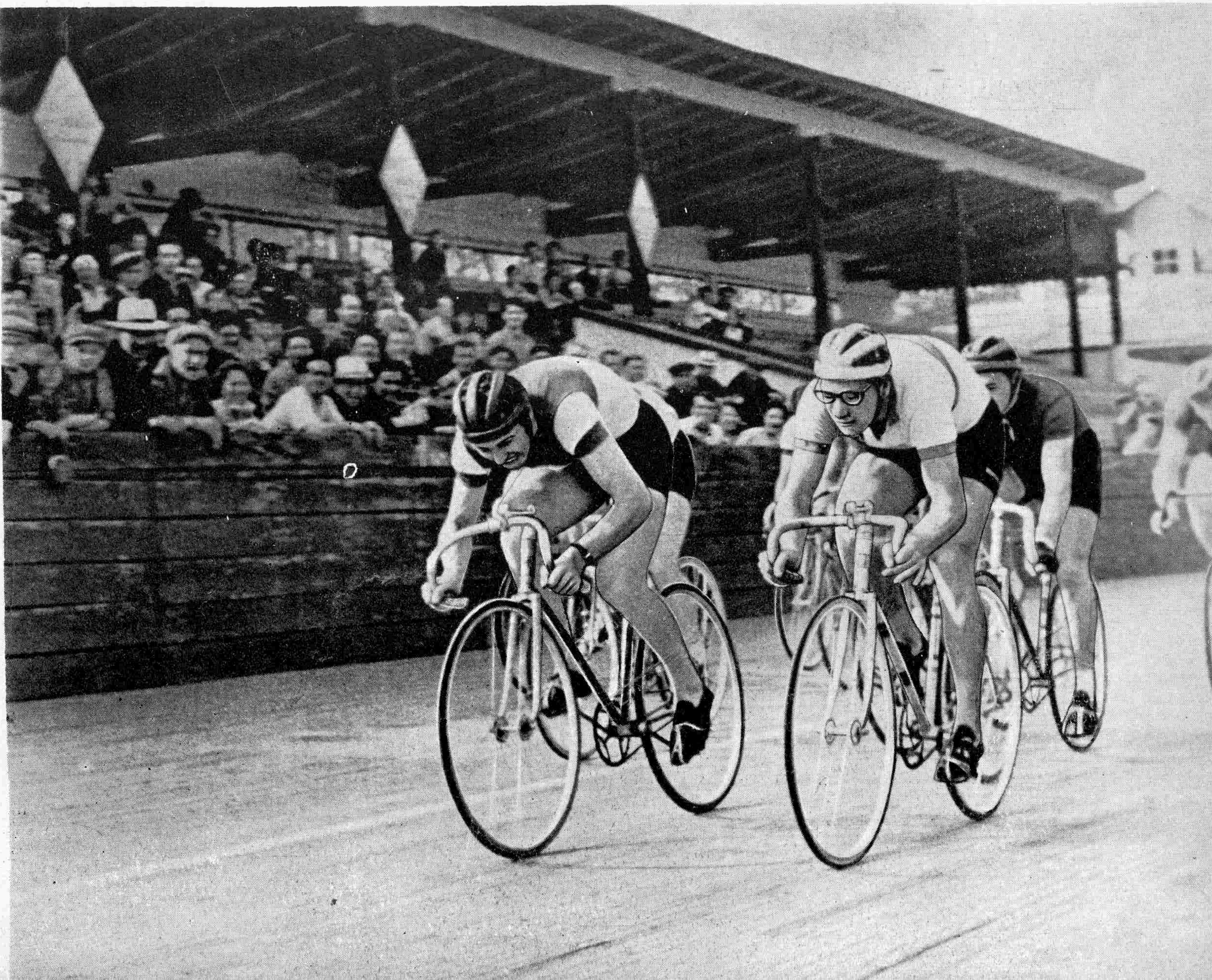


А. Левинсон. Юный механизатор.



В. Белоколодов. Мотогонки.

В. Белоногов. Велогонки на треке.





А. Кривой.
Бежит трамвай по тайге.

А. Кривой. Ангарск. Бассейн.



ДЕНЬ ПОЭЗИИ

УЖЕ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ ЕЖЕГОДНО В ТРЕТЬЕМ НОМЕРЕ «АНГАРЫ» УСТРАИВАТЬ ПРАЗДНИК СТИХОВ—ДЕНЬ ПОЭЗИИ. НЕ НАРУШАЕМ МЫ ЭТОЙ ТРАДИЦИИ И НЫНЧЕ. НО КАК НЕ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА ДАЖЕ ДВА РЯДОМ СТОЯЩИХ ДНЯ, ТАК И (ВСЯКИЙ РАЗ, ОТБИРАЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЭТОВ, МЫ ДУМАЕМ ОБ ЭТОМ) НЕ ПОХОЖ ДЕНЬ ПОЭЗИИ «АНГАРЫ» 1966 ГОДА НА ПРЕДЫДУЩИЕ.

КРОМЕ СТИХОТВОРЕНИЙ ПОЭТОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ, В ЭТОМ НОМЕРЕ АЛЬМАНАХА ПУБЛИКУЮТСЯ СТИХИ МОЛОДЫХ АВТОРОВ, УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ «МОЛОДОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО, СОВРЕМЕННОСТЬ», КОТОРАЯ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА В АНГАРСКЕ ИРКУТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР СОВМЕСТНО С ОБКОМОМ ВЛКСМ. СТИХИ ВЕРЫ ЗАХАРОВОЙ, ТАТЬЯНЫ БУЛАВИНОЙ, ПЕТРА ПРИХОЖАНА, ПЕТРА ПИНИЦЫ И ДРУГИХ ОДАРЕННЫХ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ ОТМЕЧЕНЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ ДИПЛОМАМИ.

Л. БОЛДЫРЕВА

* * *

Живу не безупречно, не порочно,
а в сердце все вокзальный неуют,
живу, как испытание на прочность
сдаю.
Опять стою одна на полдороге...
Но молниям жар-птицы не убить!
Я не умею всех и понемногу
любить.
Я не умею громко поклоняться.
В любви красноречиво и молчанье.
Чем дальше, тем настойчивей и чаще
ночами
я ухожу в далекую деревню,
где бражный запах сохнущей полыни,
как вызов бурям, липа моя древняя
под ливнями.
Бывает в жизни слякотно и скверно,
бывает: ненавижу — не таю.
Живу, как испытание на верность
сдаю.

Т. БУЛАВИНА

* * *

Голубоватый снег и лес
Березовый с полоской сосен —
Задумчивый, притихший весь,
Недавно переживший осень.
Сворачиваю на лыжню,
Лечу, сбивая с веток иней —
И вот уже в снегу лежу.
И небо близко. Переливы
Его оттенков глубоки.
Глаза склонились надо мною
И две протянутых руки.

* * *

И час веселый пробил..
М. Цветаева

Как эполеты, листья носим.
Сентябрь в желтеющей красе.
Какая осень!
Кануть, бросив
Заботы все, печали все.
Брести, бежать по перелескам,
Попасться в ветки, хохотать,
Барахтаться в листве по-детски
И воздух, как вино, глотать...
На волю — час веселый пробил.
Под вечер выслежу зарю,
Зароюсь в рыжие сугробы,
К земле приникну и замру...

ВЕРА ЗАХАРОВА

* * *

Не говори мне: «Девочка моя».
На свете я не только для тебя —
оспаривают ветры и моря
меня у очень гордого тебя.
Не для тебя живу я на земле.
Живу я на земле, чтоб петь, чтоб быть,
чтоб видеть солнце и самой светить —
вот для чего живу я на земле.
Я для моих друзей и для врагов,
и для дождей и яростных снегов,
для первых звезд, для горьких слез, для гроз,
для ненаписанных пока стихов.
Живу, чтоб распускалась вновь листва,
живу вовсю, для всех — и я права, —
для мира, ненавидя и любя,
и уж потом немножко для тебя.

* * *

Ты заметил второе солнце,
которое плавало в луже?
По нему проехал автобус
и какой-то чудак прошелся,
замечтался, а потом чертыхался,
из ботинок вытряхивал солнце.
Ты подумай, ты должен вспомнить:
совсем беззащитное солнце.
Было много прохожих, и его топтали ногами,
и расплескивали по асфальту,
и (ты помнишь) асфальт дымился.
Не качай головой, не смейся,
вспомни: светлый, нарядный вечер
от улыбок и мокрых листьев.
Все прохожие были в духе,
даже под ноги не глядели
и глаза поднимали к солнцу!
Как забавно бывает на свете!
У прохожих свои заботы:
им глядеть да глядеть под носом,
а не то не найдут, что ищут.
Вот, пожалуйста, загляделись,
промочили свои ботинки,
раздавили бедное солнце.
Не его ли они искали?

* * *

На что тебе, умытому, прилежному,
засиженные истины нужны?
Пожалуйста, я смирная, я нежная,
я первый снег — лепи себе снежки
и жди тепла. Тогда-то все изменится.
По снегу бегай, гордый человек.
Но ты не забывай, что наводнение —
расплата за вчерашний тихий снег.

МАРГАРИТА ЛУКАШЕВИЧ

* * *

Чужих не разоряю гнезд,
Коварных планов
Не вынашиваю,
На горькой соли чьих-то слез
Своих восторгов
Не заквашиваю.

И этим с гордостью живу,
Что, вопреки всей бабьей логике,
Свои, родные наяву
Непрочные ломаю домики.

Но, как ты, гордость, тяжела! —
На нервах — тоненькой веревочке,
Привязаны пудами зла
Насмешки бабьи и издевочки.

СВЕТЛАНА МАШКИНА

* * *

Я в детстве на ключ студеный
Ходила за чистой водой,
В серебряных звонких бидонах
Носила ее домой.
Я слушала, как он лопочет,
Тоскуя в глуши лесной.
Мой ключ был упавшей ночью
С неба на луг звездой.
Он пленником мне казался,
Дозорными травы росли,
Озон грозовой смешался
С запахом теплой земли.
Пыльца с цветов облетала,
Ключ трепетал у ног,
Траву я рукой раздвигала,
Чтоб небо он видеть мог...
Я стала давно уже взрослой,
Но верю, что если в ночи
Падают с неба звезды,
Рождаются где-то ключи.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Каждое утро соней неловкой
Иду я к автобусной остановке.
Старым ботинком снег загребая,
Каждое утро иду одна я.
На остановке
рабочих уйма,
Стой
да о времени быстром думай.
В старых ботинках мерзнут ноги.
А на заводе мастер строгий.
Мимо бегут голубые машины,
Жаль, что автобусы не из резины...
Втиснулась еле в узкий просветик:
«Дайте, кондуктор, счастливый билетик».

ОЛЕГ ПЕТРИК

ЗВУК И ЦВЕТ

Если б вы меня спросили,
Быть каким хочу я цветом —
Я б ответил,
буду синим,
Синим небом над планетой.
А уж если день ненастный,
То я буду цветом красным.
Цветом крови,
цветом боя.
Бой за небо
голубое.
Если б вы меня спросили,
Быть каким хочу я звуком —
Я б ответил,
буду стуком
Рельс, натянутых в разлуку.
В ту разлуку,
что беречь
В ту, которая
для встреч.

П. ПИНИЦА

ИГРА

На отчем крылечке —
Крыльце золотом —
Закутала плечики
Теплым платком
Царевна двора,
Фаворитка двора,
А с нею ее приближенных гора:
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной...
«А ты кто такой?»
— А я не царевич
И не королевич.
А я шоферевич — мой батя шофер!
И, сплюнув, закончил пустой разговор.
«А в нашей игре шоферевичей нет.
Ты роза-береза, зеленый букет!»
Я это не вынес, я выдал ответ:
— Ты меня любишь, а я тебя — нет!
Встала царевна, строга и горда,
И налетела затрещин орда...
Да я ведь в отца минометчика рос:
Царевичу — в нос, королевичу — в нос,
Трусливый король еле ноги унес.
И тут же решив социальный вопрос,
Витька-сапожник и Борька-портной
Били царя, кто ногой, кто рукой.
Злая игра.
Непростая игра...
О, детство в заплатах,
Святая пора!
Истерзан игрой,
Иду я домой,
Где мамины руки с усталой иглой.

ДВЕНАДЦАТЬ ГЛАЗ

Часики-ходики,
Стрелки-мечи,—
Самые лучшие
В мире врачи.
Замыслы грешные,
Правду секунд,
Все наболевшее —
Вмиг отсекут.
За все расплата,
За ложь и грязь —
У циферблата
Двенадцать глаз!

Часики-ходики —
Четки шаги —
Самые страшные
В мире враги:
Счастья не спрятать
От них ни на час —
У циферблата
Двенадцать глаз!
Часики-ходики,
Стать им нельзя.
Самые лучшие
В мире друзья!

В ногу
С часами
Смело
Иди —
Лучшее
самое
Все впереди,
Выйдет на брата
Счастья как раз —
У циферблата
Двенадцать глаз!

ПЕТР ПРИХОЖАН

* * *

Все мои товарищи
бородатой касты.
У моих товарищей
бороды под Кастро.
Хоть зовут всех Фиделей
Альками и Родьками,
вы бы только видели,
как горды бородками.
Черными
и рыжими,
бороды — «экстра»,
подавай оружие,
посылай в Маэстра...
Но давно уж с треском
разнесли Батисту,
и сражаться не с кем
паренькам басистым...
В те часы,
когда звезды качаются,
когда снится десятый сон,—
у бетонщиков отдых кончается
— в полвторого
приходит бетон.
И тогда забывают про Фиделя,
разбирают рабочий шов,
и клепают до пота
химию,
называемую большой.
И хотя инструмент-лопату
с автоматом сравнивать
глупо,
каждый наш куб, ребята,
это выстрел в противников Кубы.
Это дух из какого-то гада
сегодняшней ночью вышел.
А раз так,
веселей, ребята.
А раз так,
значит, бороды
выше.

* * *

По распутью весен
растянулись версты,
На лопатки весел
зачерпнулись звезды.
И течет с этих весел синяя
Песнь весенняя —
соловьиная,
Словно девушка юная,
словно денежка
в новолуние,—
Показал луне,
а она на дне,
в ладони,
мерцает,
тонет.

Ты ей:
«Тоня»—
а ее нет,
уплыла за прясла.
Миллионы лет,
как она погасла.
Погасла?
Погасла...
не верится.
Погодите,
Земля не вертится,
стала
и стонет:
— Тоня,
Тоня,
Тоня...

ВЯЧЕСЛАВ ЭПЕЛЬШТЕЙН

ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Стихи, стихи,
Под стук колес
Вы подступали, подступали.
И губы враз пересыхали,
И было солоно от слез.

Тогда сквозь ночь и перестук
Сердец,
колес,
и крови в пульсах
Слова метались, как на пульте,
Уже не превращаясь в звук.

И по дрожанью губ моих,
От слов неведомых, усталых,
Я понимал (чуть запоздало):
Не получился первый стих.

ЛЕОНИД БОГДАНОВ

ПОБЕГ ИЗ „ЭШЕЛОНА СМЕРТИ"

Мне довелось участвовать в сборе некоторых материалов по истории иркутской партийной организации. Было много встреч с интересными людьми, прожившими большую жизнь, богатую суровыми испытаниями, выпавшими на их долю.

И хотя многим из них пришлось пережить ужасы белогвардейских застенков, они до конца остались верны избранному пути.

ПОБЕГ

Около часу ночи загремели засовы тюремных дверей. В коридор ворвался тяжелый топот многих ног, обутых в солдатские сапоги. О каменный пол стукнули приклады.

— Выходи, живо!

Не дав времени собраться, арестованных полуодетыми выгнали во двор. Солдаты выстроили их по четыре и окружили плотной стеной. Резкий голос офицера:

— Если арестованный будет пытаться выйти из рядов — пристрелить!..

Широко распахнулись тюремные ворота.

— Партия, вперед!

Колонна человек в шестьсот медленно вылилась на улицы спящего города. Куда поведут? Некоторое время кажется, что на кладбище, где белогвардейцы расстреляли уже немало товарищей. Но вот колонна сворачивает вправо и люди облегченно вздыхают. Значит, еще не конец. Ведут на вокзал...

На станции арестованных прикладами и нагайками загоняют в товарные вагоны. По сорок — пятьдесят человек в каждый... Тюрьма на колесах начинает свой путь на восток...

В историю борьбы за советскую Сибирь эти поезда вошли под именем «эшелонов смерти». В них действительно хозяйничала смерть. Обычно из эшелона мало кто оставался жив: косили тиф и другие болезни, истощали голод и жажда, а в конце концов добивали пули конвоя...

В один из таких эшелонов и попал в Томске командир Красной Армии Борис Блаттриндер. Многие товарищи по дороге скончались, но их трупы так и оставались в вагонах. Только в Слюдянке стража разрешила вынести их тела в ров у станции и засыпать землей. Нескольких заключенных отпустили под охраной в поселок собирать милостыню. Среди этих заключенных оказался и Борис. Его сопровождал молоденький колчаковский солдат, неотступно следовавший по пятам. Так они и ходили со двора во двор: Борис впереди, а за ним солдат с винтовкой на изготовку.

Видно было, что в поселке голодают. Но люди все же выносили кто что мог: несколько картофелин, кусок хлеба.

Наконец охраннику надоело заходить в каждый двор. Он стал оставаться на улице. И вот тогда Борис решил бежать. Очередной двор, в котором он оказался, был обнесен невысоким плетнем и почти упирался в лес. Совсем рядом начиналась тайга и она неудержимо манила своими весенними запахами, свободой... Перепрыгнув через плетень, Борис, не оглядываясь, устремился к лесу. Слышал, как сзади раздались беспорядочные выстрелы и мимо со знакомым пением пролетали пули. Но это случилось уже тогда, когда до первых сосен оставалось подать рукой.. Еще несколько мгновений и они закрыли его своими толстыми стволами. Он был спасен!

Долго еще Борис бежал и бежал, пока окончательно не выбился из сил. Четверо суток он провел в тайге, жестоко страдая от голода. Потом связался с рабочими слюдянского депо и те переправили его в Иркутск. Вырядили под рабочего: в люстриновые брючки, серый пиджачок, фуражку с лакированным козырьком, в пяти местах лопнувшим. Дали явку: «Иркутск. Тихвинская площадь, биржа труда, Шура Булатова. У Шуры — спросить Ксению».

На рассвете Борис влез на паровоз и без особых приключений добрался до Иркутска. Было еще раннее утро, когда он условным стуком забарабанил в дверь сторожки биржи труда. Но никто не откликнулся. Выждав несколько секунд, он постучал еще раз, уже более настойчиво. И сразу, как будто бы, притаившись за дверью, ждали этого повтор-

ного сигнала, недовольный женский голос произнес:

— Кого несет такую рань?

— Мне Шуру Булатову,— ответил он.

Дверь открылась, на пороге стояла девушка. Борис заметил, как зорко она оглядела его с головы до ног, посмотрела по сторонам, а потом, позевывая, безразличным тоном спросила:

— Ну, чего тебе? Я — Шура Булатова.

— Мне надо увидеть Ксению,— ответил Борис.

Глаза у девушки потеплели. А, может, это только показалось ему, потому что все так же безразлично она сказала:

— Вот откроют биржу — и увидишь.

Город просыпался и приказчики открывали жалюзи магазинов, мимо шли люди. Провожая их долгим взглядом, Шура продолжала:

— Безработных развелось — просто страсть! Однако выбрать работника — трудно. Все какие-то дохлые. Поди и тебя больше месяца досыта не кормили?

Борис улыбнулся. Вопрос был не без тайного смысла. И, подсчитав, сколько прошло с того дня, как его арестовали, он ответил.

— Ишь ты! — откликнулась Шура.— Изголодался... А где работал-то в последний раз?

— В Томске.

Девушка на минуту задумалась. Еще раз, как бы ощупывая, оглядела его. Наконец, на что-то решившись, кивнула.

— Ладно. Жди.

И перед самым носом захлопнула дверь. Ему ничего и не оставалось, как ждать. Он медленно побрел мимо биржи.

Открылась она часов в десять и сразу наполнилась людьми в лохмотьях. Не успел Борис войти в зал и оглядеться, как к нему подошла молодая женщина. «Красивая»,— отметил он про себя.

— Вы искали Ксению?

Борис утвердительно кивнул. Она взяла его за руку и отвела в дальний угол.

— Рассказывайте. Я вас слушаю...

Рассказал он тогда коротко свою партийную биографию.

Коммунистом стал в августе 1917 года. Участвовал в октябрьском перевороте. В мае восемнадцатого партия послала его вместе с Яковом Шумяцким в Томск. Ехали пароходом. На пристани в Томске белогвардейцы проверяли документы. Все обошлось бы благополучно, но выдал какой-то купчик из Тюмени. «Комиссары енто,— закричал.— Тащите в кутузку!..» Обоих задержали, отправили в контрразведку... А потом тюрьма, «эшелон смерти», побег...

Когда Борис наконец замолчал, Ксения, переходя на «ты», спросила:

— Значит, Шумяцкий знает тебя?

— Конечно.

— Это облегчает дело...

Увидев его недоуменный взгляд, пояснила:

— Шумяцкий сейчас в Иркутской тюрьме. Так что проверить твой рассказ будет легко. Ну, не обижайся. Жизнь у нас такая: доверять можно, только проверив товарища...

Потом сочувственно спросила:

— От голода, наверное, еле стоишь?.. Пойдем.

Она отвела его на конспиративную квартиру в Знаменском предместье. Только дня через два пришел опрятно одетый мужчина с типичной бурятской внешностью, небольшими черными усами, очень подвижный и веселый.

— Привет от Ксении! — сказал он и представился:— Михей.

Из кармана достал паспорт и, передавая его, весело заметил:

— Был — Борис, теперь — нет Бориса... Запомни: ты — Иван Николаевич Бурсак...

С «легкой» руки иркутских подпольщиков так и остался он на всю жизнь Иваном Николаевичем Бурсаком.

Мы встретились в нерадостное для него время. Он приехал в Москву на консультацию к врачам: заболело горло, почти пропал голос, местные медики заподозрили рак.

Но не успел он еще ступить на московскую землю, а уже начал звонить старым друзьям. Тем, с которыми в период колчаковщины работал в большевистском подполье.

— Надо бы встретиться,— говорил он.— А то уеду и кто знает, когда опять выберусь в столицу. Закручусь у себя на комбинате... Или, чем черт не шутит, посмотрят завтра эскулапы да скажут: ложись-ка, братец, в больницу...

И вот на следующий день друзья собрались в уютной квартире Раисы Моисеевны Глокман. Не хватало только Бурсака. Он должен был приехать сразу после визита в онкологическую клинику. Все волновались: какой диагноз поставят специалисты.

Наконец он появился. Высокий, не по годам стройный и глазастый. В комнате стало шумно и, как показалось, светлее.

После бурных объятий все сели за стол, пили чай, по-юношески задорно обменивались новостями, подшучивали друг над другом.

— Наш комбинат стал такую мебель выпускать — почище рижской!— восторженно говорил Бурсак.

Он работает главным инженером деревообделочного комбината, что находится в небольшом поселке Крестцы Новгородской области. Его приглашали на работу в Москву, давали квартиру. Он отказался. В Москве и без него хватает специалистов, а в Крестцах — каждый на учете.

И вот теперь он влюбленно рассказывал друзьям о своем комбинате, о новых машинах в его цехах, о красивой мебели, доставляющей радость людям.

Голос у него был хриплый и тихий. Чувствовалось, что он говорит в полную силу, а получается — вроде шепотом.

И я невольно ловил себя все время на мысли: что же сказали ему сегодня врачи? Но было неудобно спрашивать, а никто из друзей такого вопроса почему-то не задавал.

Позже, когда все ушли, я спросил об этом хозяйку дома. Раиса Моисеевна печально сказала:

— А что спрашивать? И так все ясно... Было бы хорошо, он и сам сказал бы...

Через день он лег на операцию. Она была тяжелой, но закончилась благополучно.

Но я несколько забежал вперед...

А пока за столом вспоминали молодость и давние годы.

— Но откуда вы брали паспорта?— поинтересовался я.

— Михей нас снабжал,— ответила Дора Самойловна Жиркова.— Вот я бежала изпод гласного надзора, приехала в Иркутск без всяких документов, а Михей выдал мне паспорт на имя Минодоры Александровны Жаворонковой, бурятской учительницы.

— Вот возьмите,— Георгий Александрович Ржанов протянул тоненькую книжечку.— Могу отдать для Иркутского музея.

Я поблагодарил, еще плохо понимая за что.

— А вы посмотрите.

Раскрыв, я увидел дореволюционный паспорт, гербовые печати и неразборчивые подписи.

— Благодаря этому паспорту,— продолжал Ржанов,— я скрылся от контрразведки и остался жив. По нему жил нелегально в Иркутске. Выдал мне его тоже Михей Ербанов. От него я получал паспорта и для своих товарищей в Слюдянке...

— А где их брал Ербанов? Кто ему в этом помогал?

— Минуточку. Дайте вспомнить...

В комнате наступает напряженная тишина. Я с надеждой смотрю на Ржанова, вижу, как сузились глаза и тяжелая складка залегла между бровями. Наконец он отрицательно качает седой головой.

— Нет. Не помню... Наверное, просто не знал...

— Я тоже,— говорит Дора Самойловна,— получила как-то от Ербанова пятнадцать паспортов. Должна была передать Бурсаку для военной секции комитета. Где Михей взял их? Не знаю... Конечно, он работал не один, были у него помощники, но я их не знаю! Все, что связано с паспортами, было очень законспирировано. Надеюсь, вы понимаете почему? А хороший, как мы говорили, «чистый» паспорт был вопросом жизни. Поэтому тайну Михей хранил крепко.

— А он был замечательный конспиратор,— заключает хозяйка квартиры.— Знаете, Михей был настолько осторожен, что никогда не назначал даже мест встреч.

— Как так?

— А очень просто. Говорил: увидимся через два дня. И точно: через два дня находил нужного ему человека... Вот поэтому колчаковская контрразведка так и не смогла ликвидировать наше паспортное бюро.

Но неужели так и не удастся ничего узнать о паспортном бюро Михея Ербанова?

Продолжительные поиски привели меня к Прасковье Иннокентьевне Гедымин.

ПАСПОРТНОЕ БЮРО ПОДПОЛЬЩИКОВ

На всю жизнь запомнила Прасковья Иннокентьевна 10 июля 1918 года. Это был последний день эвакуации. Бои шли у самых стен Иркутска.

С трудом разыскала Гедымин в тот день председателя ЧК Трилиссера. Он руководил эвакуацией банка. Мимо сновали красногвардейцы, тащили тяжелые ящики, грузили их на подводы. Михаил Трилиссер, обычно очень улыбчивый, был хмур и донельзя устал. У Гедымин больно сжалось сердце.

Трилиссер отвел ее в сторону, несколько секунд молча смотрел в глаза, потом тихо сказал:

— Ну, вот что. Остаешься здесь...

Она хотела спросить — зачем, но он, как бы угадывая ее мысли, объяснил:

— В тылу врага нам будут очень нужны верные люди. Партия верит тебе, Паша. Понимаешь?

Она молча кивнула. Потом они договорились о паролях. Гедымин узнала, что кроме

нее остаются еще несколько товарищей, с которыми придется держать связь.

На следующий день к вечеру в Иркутск вступили белогвардейцы и чехословаки. А квартира Гедымин в Глазковском предместье превратилась в место постоянных встреч подпольщиков. Именно здесь прятались железнодорожники Бакулин, Ковальчук и Кротек после того как взорвали пролет моста через Иркут. Много раз здесь находили убежище и те, кто бежал из колчаковских застенков.

Во время облав колчаковцы приходили к Прасковье Иннокентьевне, устраивали обыски, но все кончалось благополучно. Спасало и удивительное самообладание хозяйки, и то обстоятельство, что квартира имела два выхода на разные улицы.

Однако не содержание конспиративной квартиры было главным в нелегальной деятельности Гедымин. Она работала статистиком-регистратором на переселенческом пункте. Находился он за циклодромом. При пункте была и своя больница. Каждый день туда поступали десятки больных тифом, дизентерией, туберкулезом. Но медикаментов не хватало и многие умирали. Их вещи и документы поступали в канцелярию пункта, а потом сдавались городским властям. Среди документов были паспорта и воинские билеты.

Гедымин удалось привлечь к подпольной работе врача Михаила Петровича Герасимова, бухгалтера Владимира Павловича Рукавишникова и самого начальника пункта Леонида Михайловича Соловьева.

Теперь далеко не все документы умерших сдавались городским властям. Значительная их часть поступала в распоряжение Ербанова, в паспортное бюро подпольщиков.

Шура Ширман, хрупкая девушка с большими темными глазами, долгое время была «паспортисткой» организации, правой рукой Михея Ербанова.

Еще совсем девчонкой Шура Ширман связала свою судьбу с партией большевиков. Сразу после Февральской революции, когда в Иркутске стала создаваться Красная гвардия, она вступила в один из ее отрядов. В декабрьские бои 1917 года, так же как и ее подруги Зина Бланкова, Рая Глокман, Тоня и Шура Бабич, она стала медсестрой большевистского Красного Креста.

В те дни Шура совсем мало спала, недоедала, мерзла на сорокаградусном морозе, не раз попадала под обстрел юнкеров. Но она спасала раненых красногвардейцев, сообщала в штаб сведения о противнике.

Когда столица Восточной Сибири оказалась в огненном кольце, Шура Ширман с санитарным поездом уехала под Нижнеудинск на фронт. Вместе с армией Центросибири совершила потом тяжелый путь отступления. Ей пришлось проститься с родным Иркутском, пережить жестокие бои у Байкала, насмотреться на многие ужасы.

Недалеко от станции Посольская трагически погибла ее близкая подруга — Зина Бланкова. В том месте белогвардейцы переправили через Байкал свой десант, разобрали железнодорожные пути и отрезали дорогу нескольким отступавшим эшелонам красных. Поезд, в котором ехала Шура, проскочил под носом у белых, а санитарный состав Зины Бланковой попал в ловушку. Белогвардейцы зверски расправились с ранеными и медицинским персоналом.

Но это не устрашило Шуру. Именно в это время вступила она в партию большевиков. Раньше ее не приняли, посчитали слишком юной. Действительно, даже в свои восемнадцать лет, в выцветшей солдатской гимнастерке и с пистолетом на боку она выглядела еще подростком. Была Шура небольшого роста и тоненькой, как молодой тополек. И, может, потому, что своим внешним видом она могла вызвать меньше всего подозрений, а может быть, потому, что знали ее отважное сердце, но только решили послать Шуру обратно в Иркутск с новыми инструкциями для подполья.

Раньше не думали, что придется отступать так далеко. Теперь все изменилось и надо было, чтобы главным в работе подпольщиков стала политическая агитация в массах, создание партизанских отрядов.

Шуру переодели в форму гимназистки, заставили выучить на память пароли и явки.

Она отправилась в путь. По дороге поезд несколько раз проверяли белогвардейцы, но все сошло благополучно. Шура выдавала себя за дочь крупного иркутского ювелира, которую, спасая от красных, отправили к родным в Читу. А вот теперь она, наконец, возвращается назад...

В Иркутске Михей Ербанов как-то спросил Шуру: не знает ли она надежного гравера.

Такого человека она не знала.

— Но зачем?— спросила она в свою очередь.

Ербанов объяснил — надо подделать паспорт для одного товарища. Вспомнив, что когда-то неплохо рисовала и любила делать всевозможные печатки из ученической резинки, Шура сказала:

— Давайте, попробую.

И хотя провозилась очень долго, но у нее получилось. Подделанный паспорт ничем не отличался от настоящего.

Так стала она паспортисткой организации. Ее квартира превратилась в небольшую мастерскую. В нее имели доступ только два человека — сестра Тоня и хозяйка квартиры, тоже подпольщица — Вера Орлова. Через них и осуществлялась связь. Сама Шура не должна была ни с кем встречаться и даже выходить без крайней надобности на улицу. Этого требовали суровые правила конспирации.

Добровольное заточение продолжалось несколько месяцев. Но за все это время Тоня и Вера ни разу не услышали от нее каких бы то ни было жалоб.

Шура дни и ночи просиживала за работой. Особое напряжение потребовалось, когда подпольщикам удалось освободить большую группу заключенных из Александровского централа. Тогда в течение нескольких дней свыше ста человек были снабжены паспортами.

Но как бы подпольщик ни соблюдал строго конспирацию, как бы ни берегли его товарищи — он все время ходит по острию ножа, никогда не гарантирован от провала. Пришло это несчастье и к Шуре.

Колчаковская контрразведка арестовала одного из членов организации — Михаила Пасютина. Неизвестно — пытали его или нет, но только он рассказал все, что знал. К счастью, он знал не так уж много, но и этого оказалось достаточно, чтобы нанести чувствительный удар. Он выдал условленное место на Большой улице, где происходили свидания подпольщиков. Контрразведка вывела его туда и поставила для приманки. И первой на нее попалась Вера Орлова.

Как раз в тот день Пасютин должен был получить от нее несколько паспортов для товарищей. Подойдя к нему, она тихо сказала:

— Я принесла, Миша, заказ...

— Теперь он ни к чему,— обронил предатель.— Обстановка изменилась.

— Что-нибудь случилось?

— Много знать будешь — скоро состаришься... Уходи.

Но, должно быть, он чувствовал себя все же неловко: не смотрел в глаза и разговаривал очень неохотно. Человека опытного это бы насторожило. Но откуда было Вере взять опыт?! Это было ее первое подполье и она привыкла верить товарищам. Вера отошла от Пасютина так ничего и не заподозрив. По дороге встретила Андрея Сируля, остановилась, чтобы сказать о странном поведении Пасютина. Откуда ей было знать, что Большая запружена шпиками, что они идут за ней по пятам?! Их арестовали обоих. У Веры обнаружили опасный груз и взяли ее личный паспорт. На нем была прописка. Пошли на квартиру и арестовали Шуру и Тоню. Правда, Шура, проявив большую выдержку, успела уничтожить чистые паспортные книжки и печати. Но, как всегда бывает в спешке, забыла о том, что было на самом видном месте — подушечку с мастикой. Вместе с несколькими паспортами, отобранными у Веры, это была уже серьезная улика.

Делом Шуры занялся поручик Филин — правая рука начальника контрразведки капитана Черепанова. Он с самого начала задался целью сломить сопротивление этой маленькой и внешне хрупкой девушки. Ее сильнее всех избивали на допросах, а однажды принесли в камеру всю в крови, без сознания. Несколько дней Шура была на краю смерти.

Только забота другой заключенной — Насти — поставила Шуру на ноги. Настя была сильная, с открытым, умным лицом и смелыми глазами. Здесь в тюрьме у нее родилась дочь, а военно-полевой суд приговорил Настю к вечной каторге. Вот ей-то Шура и рассказала о той страшной ночи.

...Филин долго смотрел на нее молча, потом резко бросил:

— Раздевайся!

Она почувствовала, как сердце замерло в груди, но постаралась не выдать своего волнения. Однако что-то мелькнуло, должно быть, в ее глазах, потому что Филин ухватился за это.

— Рассказывай!— потребовал он.— Или отдам на потеху солдатам...

Но Шура так ничего и не сказала. И тогда он позвал солдат...

— Нет,— мрачно говорила Шура,— после этого лучше не жить...

Мы сидели несколько минут молча. Потом я спросил:

— Она жива?

— Нет,— ответила Раиса Моисеевна.— Недели через две после освобождения Шура ушла с армией на Восток. Где-то в Забайкалье она и погибла...

— Но мерзавец Филин не ушел от возмездия,— заметил Бурсак.— Когда наши войска взяли в плен барона Унгерна, нашелся и Филин. Я сам признал его среди штабных офицеров.

— А вы его тоже знали?

— Еще бы! Все передние зубы выбил, подлюга, на допросе. Настоящий садист был.

— Ну, и что вы с ним сделали?

— Судили. А потом расстреляли, конечно...

— А Настя? Кто такая Настя, что сидела в тюрьме вместе с Шурой?

— Настя — это уже другая история,— заметила Раиса Моисеевна.— Впрочем, вы можете с ней сами встретиться. Она живет в Москве.

ПОЕЗДКА В ИРКУТСК

Настю заботливо собирали в путь. Снабдили продуктами, одеждой, и впервые за восемь месяцев она сменила кавалерийские галифе на обычную юбку.

Провожал ее сам «дедушка». Так звали в партизанском отряде командира — Нестора Александровича Каландарашвили, человека отчаянной храбрости и отходчивого сердца. Еще молодой (ему было немногим более тридцати) Нестор Александрович действительно был похож на «дедушку»: борода лопатой, посеребренная сединой длинная грива волос, усталое лицо, изрезанное ранними морщинами. Рядом с ним Настя, даже несмотря на свою полноту — через несколько месяцев она собиралась стать матерью,— выглядела совсем юной.

— Не забывай,— сказал Нестор Александрович на прощанье,— едешь не к сватье в дом, а к зверью в пасть. Мужайся! Может все сложиться и потруднее нашего похода...

С самого начала «дедушка» был против ее поездки в Иркутск.

— Подойдет срок,— говорил он,— мы лучшего доктора к тебе в тайгу доставим.

Но Настя настаивала на своем, и он сдался. А настаивала она не потому, что боялась рожать в партизанской землянке: ее томило и мучило временное безделье. Казалось, что в подполье она будет нужней. И еще. Правда, об этом Настя старалась не признаваться даже самой себе: в глубине души она надеялась, что из Иркутска легче будет связаться с мужем, который находился в Красноярске и о котором несколько месяцев не было ничего известно.

Опасений командира, что все может сложиться потруднее похода — она не разделяла. Да и в самом деле, что могло быть труднее?

...Падение Советской власти в Сибири застало ее в Троицкосавске. Вместе с мужем, командиром одного из красногвардейских отрядов, Третьяковым, она попала в плен к белогвардейцам. Их собирались повесить. Они бежали и в окрестностях Троицкосавска встретились с Нестором Каландарашвили. Здесь и был создан отряд, который через Монголию начал поход на Иркутск. Они надеялись, что туда скоро придет Красная Армия и, соединившись с ее частями, они добьют белых.

Они не понимали еще постигшей их трагедии...

Путь через Монголию был поистине героическим. Им приходилось идти через саянские гольцы, тундру и болота. Особенно тяжело было в верховьях рек Белой, Оки и Китоя. Кони шли по брюхо в воде, выбиваясь из последних сел. Кормить их было нечем. Кругом не было ни травинки. Люди тоже голодали. Ночью им негде было прилечь и обсушиться. Внизу стояла болотная вода. Сверху шел снег... Белоказаки устраивали засады, нападали по ночам.

Боец Анастасия Третьякова наравне с мужчинами ходила в сторожевые охранения, в разведки, принимала участие в боях.

Однажды отряду пришлось переходить вброд быструю горную реку. Стремительное течение подхватило Настю и понесло. Ледяная вода сковала движения, тяжелое снаряжение потянуло ко дну. Только подоспевшие вовремя товарищи спасли ее...

Теперь все это вспоминалось как страшный сон. И Настя не верила, что может быть хуже.

Но случилось так, что когда она приехала в Иркутск, все явки оказались проваленными. Весь день Настя ходила по адресам, но ее встречали заплаканные женщины да настороженные взгляды соседей.

И вот тогда, бродя по знакомым улицам и боясь быть узнанной, она почувствовала себя одинокой в этом многолюдном городе. Это чувство одиночества и заставило ее сделать неверный шаг, оказавшийся роковым. Она обратилась за помощью к человеку, которого совсем немного знала раньше. Он оказался предателем. Настю арестовали.

В контрразведке она отказалась отвечать на вопросы. Ее оскорбляли, запугивали, били. Она молчала.

Когда следователям надоело с ней возиться, ее перевели в тюрьму. В ней она провела полтора года. Здесь же через несколько дней после рождения дочери Настя узнала, что в Красноярске казнен ее муж...

В ноябре 1919 года состоялся военно-полевой суд над Настей и группой партизан

отряда Каландарашвили. Тюремная администрация запретила ей брать на суд ребенка. В коридоре разыгралась дикая сцена. Плачущую и тянущую к матери ручонки, девочку грубо отрывали от нее. Надзиратели ругались, обещая карцер. Наконец ребенка отняли, но Настя заявила, что без дочери она не пойдет. Тогда заключенные, зная, что присутствие ребенка на суде может иметь влияние на исход дела, подняли невероятный шум. Они стучали в двери камеры всем, что попадало под руки. Начальник тюрьмы принужден был дать разрешение Насте взять ребенка.

С трепетом ждали ее возвращения. Надежд на хороший исход было мало. Она обвинялась как лицо командного состава и член штаба партизанского отряда...

В камеру Настя вернулась уже вечером. Ее и еще двадцать семь товарищей приговорили к вечной каторге, остальных на разные сроки. Расстрелов по суду не было. Настя уверяла, что ее спас ребенок. Все ликовали. Такой приговор был равносилен жизни,— ведь Красная Армия была уже близко!.. Но каково же было состояние Насти, когда на следующее утро она узнала о расстреле двадцати семи ее товарищей, приговоренных вместе с ней к вечной каторге... С часу на час ждала она такой же участи...

...Сейчас Анастасия Павловна Третьякова живет в Москве, получает персональную пенсию. Но почти каждый день, все равно как на работу, уходит из дома в архивы и музеи — собирает материалы о времени своей юности.

— Спасло меня тогда,— вспоминает она,— восстание рабочих Иркутска, вспыхнувшее в декабре 1919 года. Ведь первым делом восставшие овладели тюрьмой, и все узники колчаковского режима оказались на свободе... Ну, как вы знаете, восстание было успешным и закончилось восстановлением Советской власти не только в Иркутске, но и во всей губернии. Так что те, кто оставался на свободе, не сидели сложа руки...

ПОДГОТОВКА ВОССТАНИЯ

Ксения Чудинова, с которой встретился Бурсак на бирже труда, была в большевистском подполье самой опытной женщиной по части конспирации. Другие только еще начинали свою нелегальную жизнь, а за плечами у Ксении, несмотря на молодость, был опыт подпольной работы еще при самодержавии. Причем ее учителем был такой известный революционер, как Эразм Кадомцев, организатор боевых дружин на Урале в годы первой русской революции.

Ксения встретилась с ним совсем девчонкой. Кадомцев отбывал ссылку в ее родном Ишиме, а ей шел шестнадцатый год, она заканчивала учебу в прогимназии, мечтала о фельдшерской школе.

Желание осмыслить существующую действительность и привело ее в нелегальный кружок молодежи, которым руководил Эразм Кадомцев. Здесь Ксения стала убежденной большевичкой и усвоила первые уроки конспирации.

Как-то за Ксенией увязался шпик, а у нее — прокламации губернского комитета партии. Если задержат, значит, не миновать тюрьмы, и жалко прокламаций, они «свеженькие», только что из типографии.

Уходя от преследователя, Ксения оказалась на крутом берегу. Шпик — к ней. Она сбежала с кручи к самой воде. А шпик наверху остановился, закурил. Ждет... Оглянулась Ксения по сторонам — деваться некуда: пустынный берег, река. Что делать?.. Но раздумывать было некогда. В чем стояла, в том и полезла в воду. Происходило это глубокой осенью, когда вот-вот по реке льдины поплывут... Как окунулась первый раз, так подумала — сердце разорвется от холода.

Заметался шпик. Кричит: «Стрелять буду! Вертай назад!» Но стрелять почему-то не стал. А пока нашел лодку да отвязал ее, Ксения уже вышла из воды на противоположном берегу. Так и остался шпик с носом! А прокламации подсушили, утюгом разгладили и пустили в дело...

После Октябрьской революции стала Ксения в Новониколаевске помощником губернского продкомиссара. В то время на хлебный фронт партия направляла наиболее стойких. Потом она опять ушла в подполье. С грудным ребенком на руках разъезжала по селам, налаживала связи.

Как-то на одном из вокзалов ее узнал белогвардейский офицер. Ксению арестовали.

В тюрьме ей было несколько лучше, чем другим. Надзирательницы жалели ее и Ксении удалось установить связь с волей. Она сказала, что заболел ребенок. Прислали врача. Чистенький, молодой и неловкий. В глаза прямо не смотрел. Не привык еще. Жалел и стыдился. Ксения сказала, что у ребенка на руках и ногах появилась экзема. Он даже не стал смотреть.

— Необходимы ванны,— сказал.— Поговорю с администрацией.

Повезло и тут. Каждую субботу два часовых отвозили ее с ребенком в баню. Один

ждал у входа, другой наверху, где были номера.

Баня и выручила. В одну из поездок ей устроили побег. Банщица одурачила часового. Ксения с ребенком скрылась по черному ходу. Два дня ее прятали в городе, а потом по решению партийного комитета направили на работу в Иркутск. Здесь ей поручили самое опасное дело: снабжение оружием и организацию типографии.

...Скоро на окраине Глазковского предместья ожил большой деревянный дом, долго стоявший заколоченным. В нем поселилась молодая дама с ребенком и прислугой. Говорили, что дама бежала от «комиссаров». В доме часто собирались офицеры, пили водку, орали песни. Иногда в этой разгульной компании принимали участие и «купцы». Они покупали обмундирование, трофейное оружие, патроны. Приятель дамы — Глеб — не скупился, платил хорошо и офицеры часто приносили оружие прямо с собой. Лысый, немного сутулый, Глеб редко смеялся, и среди офицеров ходила версия, что это неудачный любовник хозяйки дома. Поэтому никто из белогвардейцев даже не подозревал, что щедрый «купец» — один из руководителей большевистского подполья Глеб Сурнов.

По его заданию Бурсак приходил иногда в этот дом, чтобы забрать накопившееся оружие. Он относил его в падь Топку, где был организован тайный склад.

Однажды Глеб купил даже пулемет, и Бурсак, разобрав его и уложив в мешок, на себе пронес через весь город. Потом в Топку приехали на лошадях две девушки. Пулемет уложили на дно телеги, сверху взгромоздили сено и уехали.

— Партизанить поехал наш пулемет,— впервые за много дней улыбнулся Глеб.

А вечером серьезный «купец» опять пошел на встречу с белогвардейскими офицерами. В доме на окраине Глазковского предместья вновь пили водку, орали песни и заключали выгодные сделки.

Глубокой ночью дом пустел. Глухими ставнями закрывались окна и начиналась совсем другая, таинственная жизнь. Если бы кто-нибудь мог заглянуть внутрь, он увидел бы, как в гостиной хозяйка вместе с прислугой открывает большой люк в погреб.

Тот, кто это подсмотрел бы, обязательно услышал шум печатного станка и приглушенный разговор присутствующих. И, наверное, был бы немало удивлен, услышав, как прислуга зовет свою хозяйку просто Ксенией.

А на следующий день на улицах Иркутска, на вокзале, на проходящих теплушках появлялись воззвания большевистского комитета к колчаковским солдатам...

Ксения Павловна Чудинова улыбается.

— Конечно,— говорит она,— это только отдельные эпизоды нашей подпольной работы в период колчаковщины. Многое сейчас уже трудно вспомнить. Ведь лет-то порядком прошло... Могу только сказать, что к концу девятнадцатого года наше подполье очень окрепло. Хотя контрразведка и арестовала многих товарищей, мы имели свои «пятерки» почти на всех предприятиях и во всех общественных организациях города. В тайниках было накоплено немало оружия. Правда, за многие винтовки и пистолеты мы заплатили жизнями товарищей... Но это дало возможность подготовиться к вооруженной борьбе. Результаты общеизвестны. Рабочие Иркутска поднялись против кровавого режима и сам «верховный правитель» оказался в одной из тех камер, в которых сидели, ожидая смерти, наши товарищи... Кстати, по стечению обстоятельств Бурсаку пришлось, если так можно выразиться, дописать последнюю страницу колчаковщины.

— Как это?— спрашиваю у Ивана Николаевича.

Бурсак задумывается.

— Как это было?.. А вот как...

И он начинает рассказывать.

РАССТРЕЛ КОЛЧАКА

После того как эсеровский Политцентр передал всю полноту власти большевикам, стал Иван Бурсак комендантом города.

Как-то председатель ЧК Самуил Чудновский сказал ему:

— Подготовь надежных ребят. Предстоит одна операция...

Бурсак не стал расспрашивать. Догадался и так. Обстановка в Иркутске складывалась тревожная. Все ближе подходили части каппелевцев. С их приближением поднимали голову засевшие в городе офицеры. Зрели заговоры. Попы в церквях открыто агитировали против большевиков. Для белогвардейцев адмирал Колчак все еще был знаменем. Они готовы были сделать все, чтобы освободить «верховного правителя».

Из рабочей дружины Бурсак отобрал наиболее надежный взвод. В него вошли и бывшие подпольщики: М. Ербанов, И. Касаткин, А. Виннокамень и другие.

Весь день прошел в тревожном ожидании. Где-то за Иннокентьевской шел бой, слышались раскаты орудийных выстрелов. Только

поздно ночью появился Чудновский, торопливо пожал руку и сразу же спросил:

— Люди в сборе?

— Так точно,— по-военному ответил Бурсак.

— Как настроение? Вполне надежны?

— Готовы выполнить любой приказ Военно-революционного комитета!..

— Тогда не будем тратить время. Поехали...

В тюрьме, как видно, были предупреждены. Их встретил комендант Василий Ишаев, провел через усиленные караулы по длинному тюремному коридору, открыл камеру. Колчак стоял недалеко от двери. Он тоже слышал раскаты орудийных взрывов, знал, что каппелевцы приближаются к городу.

— Вот и хорошо, что вы уже оделись,— сказал Чудновский и зачитал постановление Военно-революционного комитета.

— Как? — возмутился Колчак. — Без суда?

— Да, адмирал,— спокойно ответил Чудновский.— Так ваши офицеры расстреляли тысячи наших... Без суда... и даже без следствия.

Колчак больше ничего не сказал. Бурсак вместе с двумя дружинниками вывели его в коридор. Потом открыли камеру бывшего главы колчаковского правительства Пепеляева, и Чудновский еще раз зачитал постановление ревкома. В отличие от Колчака тот закатил истерику, кричал о своих «революционных» заслугах, о том, что он якобы «сам хотел восстать против Колчака...»

Обоих вывели на берег Ушаковки. Неподалеку от впадения ее в Ангару. Колчак отказался завязывать глаза. Когда по команде Бурсака взвод вскинул винтовки к плечу, Пепеляев упал на колени и стал молить о пощаде. Он весь дрожал от страха.

Сплюнув от омерзения, Бурсак сказал:

— Не можете умереть, как же вы жить могли?!

Оба трупа положили на сани, вывезли на лед Ангары и спустили в прорубь...

АЛЕКСЕЙ ШЕМЕТОВ

СНЕГ НА ГОЛОВУ

РАССКАЗ

Отъезжающие нетерпеливы. Стоило одному взяться за чемодан, как все, кто ждал качугского автобуса, поднялись и хлынули к выходу. Двинулись дохи и шубы, узлы и набитые покупками мешки. Неуклюжая толпа, окутанная белыми клубами, медленно протискивалась в распахнутую дверь.

Булатов вышел последним. И пожалел, что не посидел еще несколько минут в тепле. Сначала обожгло ухо. Пришлось поднять воротник. Потом, точно холодными железными обручами, сжало щиколотки, а их-то уж нечем было защитить. Пижон, постыдился надеть валенки. Жмись теперь в туфлях.

На площадке автостанции было мглисто. Поодаль на высоком столбе тускло белели в морозном тумане круглые светильники и бледный их свет усиливал ощущение стужи. Пассажиры ходили взад и вперед, топтались, хлопали рукавицами, покряхтывали. Два толстяка, один в белой козьей дохе, другой в тулупе, по-медвежьи возились посреди площадки. Молоденький франт, в кепке, в коротком пальтеце, в узеньких туфлях, отбивал чечетку на обледеневшем асфальте.

Подошел автобус. Булатов случайно очутился против дверей и, как только они раздвинулись, вошел первым. Отыскал свое место, и сел к стенке, сунув под сиденье чемоданчик. Хотел протереть перчаткой стекло, но под лохматым инеем оказался слой льда. Значит, дорогой ничего не увидишь. Свет в автобусе слабоват. Читать невозможно. Булатов опустил воротник пальто, поуютней подобрался и стал ждать, кто сядет с ним рядом. Если читать и смотреть в окно нельзя, можно говорить. Попалась бы интересная собеседница. Неужели угодит этот молоденький франт? Нет, он садится напротив, тоже к стенке и тоже пытается протереть стекло.

По проходу с трудом пробирается толстяк в широкой белой дохе, пожилой, красный, а глаза бегучие, бойкие. Такой будет болтать непрерывно. Неужели он тут усядется? Нет, и этот мостится напротив, притискивая к стене паренька в щегольской кепке.

Одни лезут дальше, протаскивая узлы, набитые мешки и перетянутые шпагатом свертки. Другие не доходят, рассаживаясь впереди. А место около Булатова остается пустым. И всегда так бывает: ищешь уединения — тебе его не дают, хочешь поговорить — рядом никого не оказывается. Но нет, у Булатова бывает иначе. Ему везет. Везет в большом и малом. За тридцать лет жизни он убедился, что у него все складывается удачно. Даже трамваи, автобусы и троллейбусы подходят к остановкам именно в то время, когда подходит и он. Это давно он заметил. Заметил и многое другое. Как, например, он женился? Увидел девушку и подумал: «Вот такую бы жену!» И эта девушка со временем действительно стала его женой. И у них, как они и задумали, родился первым сын, а потом — дочь. И дальше все шло по задуманному. Иногда что-нибудь происходило как будто и не так, но потом все-таки оборачивалось лучшей стороной. Булатов убежден, что все в мире распределено и что каждому предназначено то, чего он хочет, только надо уметь ждать, не суетясь, не теряя терпения. Сейчас можно еще раз это проверить. Вот двери давно закрыты, мотор все молотит, но автобус не трогается.

Снаружи кто-то постучал, и двери раздвинулись. Вошла девушка в белой меховой шапочке и голубом пальто. Один конец ее белого горностаевого воротника, сужаясь, падал в виде опушки вниз до конца полы.

Девушка осмотрелась и, увидев единственное свободное место, подошла к Булатову. Села, сняла перчатки, сунула их в сетчатую сумку, наполненную бумажными кульками. Булатов замер, вдыхая тонкий запах духов и предвкушая приятный разговор.

Автобус двинулся. Не видно было, куда он идет. Скрипя промерзшим корпусом, он круто поворачивал то в одну сторону, то в другую, и только по этому можно было догадаться, что выбирается по переулкам из города. Потом понесся по прямой — значит, вышел на тракт.

Булатов смотрел сбоку на девушку. Удивлялся. Неужели природа может создавать и таких? Чистейшая красота. Неприступная, чужая. Даже грустно. И говорить страшновато. Такого с ним еще не бывало. Нарастала натянутость. Ее надо было немедленно рвать, чтоб не завязался узел, который потом не развяжешь.

— Далеко едете? — спросил Булатов.

— До конца, — ответила девушка.

— В Качуг, значит?

— Да, в Качуг.

— Мне тоже туда. Скажите, большое это село?

— Большое.

— И хорошее?

— Для меня — хорошее.

— Вы там живете?

— Нет, живу я в Иркутске.

— Работаете?

— Нет, учусь.

— На каникулы, наверно? — вмешался толстяк в дохе. У него оказался певучий тонкий голосок. — К мамке?

— Да, к маме.

— Так село, значит, хорошее? — сказал Булатов.

— Очень! Оно, знаете, какое-то уютное, теплое. — Девушка улыбнулась и простодушно посмотрела на Булатова, и ему сразу стало хорошо и свободно.

— Теплое село, — сказал он. — Это интересно. И теперь оно теплое? В такую стужу?

— Я не о том. Оно какое-то душевное. Домики с белыми окнами. Сугробы в палисадниках. Чисто, снежно. Дымки над крышами. Целый лес дымков. И все они разные, когда всходит солнце. Бордовые, красные, розовые, оранжевые, кофейные, сизые. И все струятся вверх. Все разного цвета. Есть такие, как будто чай с молоком.

— Да, чайку горяченького сейчас не мешало бы, — пропел толстяк. — Может, в Качуге зайти к твоей мамке?

— Пожалуйста. — Девушка повернулась к толстяку. — Пожалуйста, заходите. Вы куда едете?

— Я дальше. В Качуге у меня пересадка. Из Верхоленска я. Не бывала?

— Бывала. Только один раз.

— Ну вот и хорошо. Другой раз приедешь — заходи ко мне. Меня все там знают. Спросишь Терентия Игнатьевича. Тебя-то как звать?

— Тамара.

— Дак вот, Тома, заходи, если случится еще раз побывать. А сегодня вечером погреемся чайком у тебя.

— Пожалуйста, ночуйте у нас. Папа будет рад.

— А мамка? — Терентий Игнатьевич подмигивающе улыбнулся.

— И мама тоже будет рада, — сказала Тамара, не поняв его лукавой шутки. — Они у меня любят гостей. Как они ждут меня! И бабушка ждет. Завтра я буду пить у нее чай с молоком. Вот у кого чай-то! Наливает в чашку — по всему дому запах. Никто не умеет так заваривать чай, как бабушка.

— Дак, может, к ней заедем? — спросил Терентий Игнатьевич.

— Нет, к ней я пойду завтра.

Булатов злился на толстяка и думал, как бы отвлечь от него Тамару. Но она, не замечая его ревности, говорила уже не с одним Терентием Игнатьевичем. В разговор вмешались еще трое мужчин. И пожилая женщина в цигейковой шубе. Она сидела впереди, спиной к Тамаре, и долго прислушивалась к ее радостной болтовне. Потом обернулась, перекинула руку через спинку сиденья и сказала, что знает ее мать. И на правах знакомой на какое-то время отбила девушку от других.

— Я почти месяц в Иркутске жила, — рассказывала она Тамаре. — Со внучкой водилась. Что слез-то было, когда меня провожали! Привыкла к бабушке. Такая смышленая, рассудительная девчушка! Соседи ее старушкой прозвали. Говорит так отчетливо, будто орехи щелкает. Вот посмотри-ка. — Женщина расстегнула шубу и достала из кармана жакета фотокарточку. — Посмотри, какая сдобушка.

Тамара взяла фотокарточку.

— Ой, какая хорошенькая! — вскрикнула она. — Кукленочек ты мой! Черноглазенькая моя!

Булатов заметил, что Тамара в чем-то еще совсем девочка и в то же время уже настоящая женщина, которую легко можно представить и женой, и матерью. Ему хотелось, чтобы она говорила только с ним, а ее все

время отвлекали другие. Она отвечала всем с одинаковой готовностью. Больше всех болтал с ней находчивый Терентий Игнатьевич. Он то и дело ввертывал хитрые и не очень чистые шуточки, но их тайного смысла девушка, кажется, не улавливала.

Автобус шел быстро, заметно нагреваясь. Пассажиры снимали дохи и шубы. Свет погас, и заиндевевшие окна с восточной стороны оранжево пожелтели: всходило солнце. В проталину на стекле пробивался пучок лучей. Тамара потянулась к этой проталине, облокотившись одной рукой на колено Булатова.

— Садитесь к окну,— предложил он не без умысла.

Она охотно пересела и прильнула к стеклу. Булатов ничего не выиграл: теперь она с другими не говорила, но не говорила и с ним.

В автобусе стало еще теплее, и проталина быстро увеличивалась, расползаясь по стеклу. Ее уже не закрывала голова в меховой шапочке. Булатов подвинулся к Тамаре, глянул через ее плечо и увидел кружащуюся белую равнину с редко раскиданными заснеженными стогами.

— Это луга?— спросил он.

— Нет, что вы! Это же солома, в стогах-то. Пашни. Видите — стерня вон на бугре желтеет, где выдуло. А вон там соломенные копны остались. Завалило их, едва заметны, будто снежные кучки. Не успели застоговать. Весной сожгут. Сколько корма пропало!

— Вижу будущего агронома.

— Ошибаетесь. Я математик. В университете учусь.

— Но откуда вы знаете сельское хозяйство?

— Каждый год на уборку в колхоз езжу,

— И что вы там делаете?

— Все, что предложат. На сушилке работала, на току. Даже штурвальным была. И картошку копала.

— Не представляю вас на такой работе.

— Работа, как работа. Ничего страшного. Только вот картошка неприятно вспоминается. Запоздали с ней в прошлом году. Холодно, ветер, мокрый снег, а мы копаем. Я встряхиваю и завязываю мешки. Дую в руки. Пальцы не гнутся. И болят, потому что изрезаны мокрыми шпагатными вязками. Ух, и стужа была! Зато как дорвешься до костра — какое наслаждение!— Тамара отвернулась от окна, посмотрела на Булатова.— Вы печеную картошку когда-нибудь ели?

— Приходилось.

— Ох, какая вкуснота! Выгребешь ее палочкой из золы, разломишь — она рассыпается. Ешь, обжигаешься, и теплее становится. А от костра просто сердце замирает. И сладкий осиновый дымок. Хорошо!

— Трудно представить, как вы возитесь с мешками и едите у костра картошку. Я хорошо вижу вас в кафе за столиком, с ложечкой над пломбиром. Вы вся городская.

— Нет, мне ближе, пожалуй, деревня.

— Видать, девка наша,— сказал Терентий Игнатьевич.—А то к другим таким не подступишься.

— Мой папа из крестьян,— говорила Тамара. — Он бухгалтер, но жить не может без косы, без вил и топора. И меня многому научил. Вот видите?— Она показала Булатову указательный палец правой руки, длинный, тонкий, розоватый, с белой полоской поперек.— Это я точила оселком косу и порезала. Еще маленькая была. Папа учил косить. Он везде таскал меня за собой.

Замелькали избы какой-то деревни, и Тамара опять прижалась к окну. У крыльца магазина, на остановке, стояли трое мужчин с чемоданами, но автобус пролетел мимо: никто здесь не сходил и мест свободных не было.

За деревней Тамара увидела одинокую лохмато заиндевевшую березку и дернула Булатова за руку.

— Смотрите! Какая диковинная березка! Похожа на какое-то тропическое дерево. Только белое. Схватиться бы за ствол и стряхнуть весь этот куржак на себя. Я люблю стряхивать на себя снег с деревьев. А вот и лесок небольшой. Хотите в Качуге сходить в лес?

— На лыжах?

— Можно и на лыжах. Какие там леса! А сколько ягод, грибов!

— Да, грибов-то много нынче было,— сказала женщина в цигейковой шубе.— Прямо коробами вывозили.

— Ой, какие грибочки прислала мне мама!—Тамара повернулась к женщине.— Вот такие волнушечки.— Она показала большим и указательным пальцами маленький кружок.— Малюсенькие, крепкие, хрусткие. Ух, вкуснота!— И сморщила носик.

— К водочке бы такие грибки,— сказал Терентий Игнатьевич.— Шибко вкусно ты, девонька, рассказываешь. Аж аппетит разыгрался. Но надо терпеть. До Усть-Орды.

В Усть-Орде автобус повернул к чайной. Все пассажиры пошли обедать. Булатов усадил Тамару в угол за голубой, на алюминиевых ножках, столик, взял в буфете бутылку мадеры, шоколадных конфет и ленточку талонов. Пока он стоял у кухонного окна, за

столик сели еще двое — Терентий Игнатьевич и молоденький франт. Пришлось обедать вчетвером. Толстяк ни в буфете, ни на кухне ничего не взял. Он вынул из кармана пиджака завернутый в газету кусок сала, разрезал его на ломтики. Из другого кармана достал четвертушку водки. Водку в чайной распивать запрещалось. Терентий Игнатьевич опасливо оглянулся и наполнил до краев граненый стакан.

— Ну, ребятки, счастливо доехать,— сказал он и разом выпил весь стакан.

Булатов разлил мадеру в три стакана, но молоденький парень от вина отказался.

— Ты че это, паря?— удивился Терентий Игнатьевич.

— Не пью,— ответил паренек.

— Ишь ты! Чудной ты какой-то. Всю дорогу молчишь, о чем-то думаешь. Думать тебе рано. Я в твои годы соловьем пел да девок завлекал. Посмотри, какая сидит с нами. Чего хмуришься? Тебя как звать-то?

— А зачем вам это?— спросил парень.

— Дак ить вместе едем. Рядом сидим. Знать надо, с кем едешь. Сдается, Виктором тебя зовут. На Виктора похож.

— Не угадали. Борис.

— Ну вот и назвался. Давно бы так. Выпей, Боря. Веселее ехать будет.

— Не могу.

Тамара не отказывалась. Она только спросила, крепкое ли это вино.

— Слабенькое,— сказал Булатов.— Пейте.

Она выпила полстакана, сморщилась и замахала руками.

— Ой, какое крепкое! И неприятное.

Булатов подвинул к ней тарелку с конфетами. Она развернула одну, съела и больше ни к чему не притронулась.

— Я опьянела,— вскоре сказала она, приложив ладонь ко лбу.

— Бывает, бывает,— сказал Терентий Игнатьевич.— Это с непривычки. Ты поешь чего-нибудь. Может, сальца попробуешь?

— Нет, спасибо. Ничего не хочу. Я не знала, что оно такое крепкое. В новый год мы с девчонками пили шампанское. То хорошее... Я выйду на улицу.

Булатов прошел с ней до вешалки, надел на нее пальто и вернулся к столику.

— Че, паря, спеклась девка-то?— спросил толстяк.

Булатов ничего не ответил. Он выпил еще стакан вина, тот, от которого отказался Борис, поспешно закусил и тоже вышел на улицу. Тамара ходила около автобуса.

— Вам плохо?— спросил он.

— Нет, теперь хорошо.— Она улыбнулась.— Какой воздух! Мороз действует, как шампанское.

— Но вы давно на холоде,— сказал Булатов.— Простудитесь. Вон водитель идет. Откроет. Войдемте.

Она послушно поднялась за Булатовым на подножку, прошла в автобус. Они сели на свое место. Булатов подвинулся к ней поближе. Пассажиры были еще в чайной. Тамара сняла перчатки, взялась левой рукой за спинку соседнего сиденья. Булатов представил, как он берет эту узкую руку в свою, и его бросило в жар.

— А погода изменится, — сказала Тамара, глядя вкось в окно.— Посмотрите на крыши. Ветра нет, а дымки клонятся в стороны. Будет тепло.

— Но мне пока холодно, Тамара.

— Холодно, потому что автобус выстудили. Стекла опять затягиваются ледком.

Булатов несмело взял ее руку.

— Неужели эти пальцы были изрезаны мешочными вязками?

— Ничего удивительного.

Он погладил ее пальцы.

— Мы еще не бережем женские руки. Варварски не бережем. Кто-то создал для них струны арфы, легкий ткацкий челнок и тонкую иглу. Современность создала для них тончайшие аппараты, разные пульты управления. А мы все еще не можем освободить женщину от лопаты.

— Ну, лопата в женских руках — это уже редкость.

— А чем обрабатывает хозяйка свой огород?

— Ее огород не вечен.

— И вам вот приходится копать картошку.

— Копаю, потому что не копали вы.

— Да, я тоже несу ответственность за ваши руки. Мое место, может быть, в кабине трактора, а я вот ревизую учреждения. Это могла бы делать женщина.

В автобус с шумом, сутолокой и холодом ворвались пассажиры. Булатов торопливо выпустил теплую руку Тамары.

— Ну, как тут наша Тома?— говорил Терентий Игнатьевич, усаживаясь и притискивая к стене Бориса.

Автобус двинулся.

— Нехорошо, Тома, нехорошо,— напевал толстяк.— Сама ушла и молодого человека сманила. Хитро тут укрылись. Дело, значит, будет. Выходит, девонька, ночевать-то у вас не мне? Ишь, снюхались...

— Перестаньте болтать!— оборвал его Борис.

— Ух ты-ы! Не из тучи гром. Молчал, молчал и вдруг выпалил. Ты че это вскипел? Обидно? Девку из-под носа увели?

— Пошляк,— сказал Борис и отвернулся к окну.

Тамара тоже отвернулась от Булатова и прижалась к стеклу.

Терентий Игнатьевич притих. Пассажиры неловко молчали. Женщина в цигейковой шубе, не оборачиваясь, покачала головой. Поскрипывали стенки автобуса. Булатову было стыдно. Стыдно и сладко. Он чувствовал себя так, как будто они с Тамарой действительно связны какой-то тайной близостью.

Тамара смотрела в окно и молчала. Молчала почти до конца дороги. Только к вечеру, когда автобус повернулся на изгибе пути боком, она дернула Булатова за рукав.

— Смотрите — Качуг!

Он прислонился к окну и увидел впереди, в жидких сумерках желтые цепочки огней.

— Вы где останавливаетесь?— спросила Тамара.

— В гостинице.

— Приходите к нам завтра. Я познакомлю вас с папой. Он любит поговорить. Мама угостит вас засахаренной брусникой. Придете?

— Как вас найти?

Она назвала улицу и номер дома.

— Обязательно зайду,— сказал он.

Тамара попросила кондукторшу остановить автобус где-то у магазина.

— Что за магазин?— спросил Булатов.

— Сельпо.

— Ага, это как раз мое подведомственное хозяйство. Я еду в райпотребсоюз. Посмотрю попутно и этот магазин.

— Но он сейчас уже закрыт.

— Поинтересуюсь, как выглядят витрины, какие товары выставлены.

— Тут нет никаких витрин. Торговля вся в центре. Здесь только магазин сельпо. Обыкновенная изба. Окна закрываются ставнями.

— Наверно и сторожа нет. Или дремлет на крыльце какая-нибудь тетка. В тулупе, с допотопной заржавевшей берданкой. Нет, я сойду тут с вами.

Тамара пожала плечами.

— Как хотите. Сойдемте. Сейчас наша остановка.— Тамара поднялась, застегнула на все пуговицы пальто, взяла сумку с бумажными кульками.

Булатов тоже встал и вытащил из-под сиденья свой изящный чемоданчик.

— Так-та-а-а-ак, Томочка,— запел толстяк тоненьким голосом.— Значит, обманула меня? Приглашала, а сговорилась с другим.

— Вам, правда, негде ночевать?— спросила Тамара.— Пойдемте, папа примет с радостью.

— А мамка?

— Мама вообще готова приютить любого.

— Нет уж, не стану вам мешать. У вас седни сладкая ночка.

Женщина, сидевшая впереди в цигейковой шубе, обернулась, глянула на Терентия Игнатьевича, покачала головой.

— Вон какого соколика выбрала,— не унимался толстяк.— С таким жарко будет. А на старика кто обзарится?

— Вы просто наглец!— покраснев, сказала Тамара.

— Вот те на! Заработал. Не сердись, девонька. Стыд-то он сладок. Седни небось узнаешь.

— Слушай, дядька,— вмешался Борис.— Хочешь, чтоб тебя вышвырнули?— Паренек сдвинул набок свою щегольскую кепку.— Я могу услужить. На ходу вылетишь.

— Ну ладно, ладно,— сказал Терентий Игнатьевич.— Подумаешь, поднялся.

Автобус остановился. Булатов и Тамара вышли только вдвоем. Он взял ее под руку, пошел рядом.

— Вам в ту сторону,— сказала она.— Гостиница там, в центре. А мне обратно. Тут недалеко. Вот ваш магазин. Сторожа, как видите, пока нет. До свидания.

Он придержал ее за локоть.

— Покидаете меня?

— А вы что хотели? Чтоб пригласила? Я уже пригласила. Приходите завтра.

— Хорошо, приду.— Он обнял ее осторожно за талию и легонько, чтоб не сразу почувствовала, стал притягивать к себе. Она сбросила его руку.

— Знаете, если так, то лучше не приходите.

Он резко остановился. Тамара повернулась к нему.

— Я ведь спроста вас пригласила.

— Простите. Я тоже спроста. Обрадовался. Когда человек одинок, ему и чужая семья за счастье. Вы так душевно рассказывали об отце, о матери. Я представил, как хорошо у вас в доме. Тепло, просто, уютно. Простите, если я по своей дурацкой наивности сделал какое-то неверное движение. До свидания.

— Вы обиделись?

Булатов выразительно помолчал.

— Ну не сердитесь. Мне показалось... Приходите завтра. Все будет хорошо. Спокойной ночи.— Она подала ему руку в перчатке. Булатов пожал ее сдержанно, даже холодно.

Он повернулся и пошел к центру села. Молодец, Булатов. Ловко локализовал конфликт. У нас есть опыт, девочка. Не с такими улаживали. Он остановился и посмотрел назад. Тамара, не оглядываясь, быстро шагала по тускло освещенной улице, и плотный снег пронзительно взвизгивал под ее туфлями. Она шла все быстрее. Подходя к электрическому столбу, попала в полосу яркого света, с минуту бежала вся на виду, отчетливо вырисованная, стройная, в голубом пальто и белой шапочке. Потом углубилась в мутно-желтую мглу и, ни разу не обернувшись, скоро скрылась совсем. Булатову вдруг стало так грустно, как никогда еще не бывало. И он понял, как пошлы перед ней все его ловкие, вкрадчивые приемы.

Булатов тихо шагал по белой безлюдной улице. Сухо и жестко скрипел под ногами снег, твердый, укатанный резиновыми шинами и облощенный полозьями. Еще держался мороз, но уже чувствовалась близкая оттепель. За слоем облаков белела расплывчатая луна в лиловом кругу. Что-то мелкое и легкое сыпалось сверху. Показалась встречная машина, и в сильном свете ее фар стало видно, как летят и поблескивают невесомые тончайшие пластинки. Такого снега Булатов еще не видывал. Он остановился, осмотрелся кругом. Над крышами маленьких одноэтажных домов клубились дымки. Дымки поднимались вверх, и морозный воздух внизу оставался удивительно чистым. И всюду все белело. Белые крыши, белые окна, белая дорога. Это было Тамарино село. Оно действительно казалось уютным и даже теплым в своем снежном одеянии. Булатов долго стоял посреди улицы. Как он мог жить и ничего не знать об этом селе? До сих пор Качуг для него не существовал. Существовал только качугский райпотребсоюз, и только в документах. Булатов бывал во всех районах области, а сюда вот попал впервые. Качуга для него совсем не было. Разве не странно? Теперь без этого села никак не представить и мир. А через неделю отсюда придется уехать. Может быть, через год или два удастся побывать здесь еще раз. Но этого Качуга не увидеть. Не будет такого белого снега, таких кудлатых дымков, таких легких сыплющихся кристаллов. Не будет здесь Тамары.

Поодаль послышался визг подрезных полозьев. Булатов обернулся, пошел дальше. Навстречу кто-то ехал шагом в кошевке. Луна выглянула в разрыв облаков и, пересилив цепочку редких тусклых лампочек, ярче осветила улицу. Булатов видел заиндевевшую морду приближавшейся лошади и крашеную полосатую дугу. «Едет кто-нибудь в ближайшую деревню. Задержался в райцентре по каким-то делам. Дома ждет жена, самовар шумит на столе. Ребятишки ждут гостинцы». Булатов вспомнил свою деревню, и опять ему стало почему-то грустно. Может быть, потому, что деревня — это его детство, и оно теперь так далеко!

— Товарищ, скажите, где здесь гостиница?

Мужчина, сидевший в кошевке, натянул вожжи, останавливая лошадь. Откинул немного воротник тулупа.

— Гостиница? Тут был раньше дом крестьянина. Там я бывал. А где гостиница — не знаю. Теперь все меняется. Не успеваешь запомнить, где что.

— Ладно, спрошу у кого-нибудь другого.

Мужчина в тулупе шевельнул вожжами, поехал дальше, но вскоре опять остановил лошадь.

— Эй, друг! Я вспомнил, где гостиница. Летось бабка Агафья там ночевала. Она у реки влево свернула. Хорошо помню. На председательском Гнедке тогда подвез ее. Помню, помню. У реки она слезла. Как дойдешь до берега — валяй влево.

— Спасибо. — Булатов улыбался. Этот словоохотливый колхозник растрогал его своим простодушием. Видно, добрые люди живут в Тамарином районе.

Булатов без труда нашел маленькую гостиницу. Радушная пожилая женщина провела его в маленькую комнату, теплую, с горячей, обитой листовым железом голландкой, с двумя узкими железными кроватями, на спинках которых висели чистые вафельные полотенца.

Булатов придирчив. В гостиницах, столовых и ресторанах он всегда замечает какие-нибудь непорядки, подзывает кого-нибудь из обслуги и, брезгливо морщась, вежливо, долго и нудно высказывает свое недовольство. Но в этой комнатушке он нашел какой-то наивный милый уют. Ему понравилась даже эта теснота. Он разделся, повесил на спинку стула пиджак, снял галстук, расстегнул ворот сорочки и, сложив руки на груди, стал ходить меж кроватями. И все улыбался. Может быть, сюда забежит как-нибудь Тамара, и они хорошо тут посидят. Эта добрая пожилая женщина приготовит им чай. Нет, она принесет им только кипятку, а чай заварит сама Тамара, как заваривает ее бабушка. Он сбегает в магазин, купит хлеба, сахару. А больше ничего не надо. Достать на базаре картошки. Тамара испечет в этой голландке. В золе. Как она пекла там, на поле, в костре.

Они будут есть эти печеные картошки, обжигаться и весело болтать. Им будет здесь лучше, чем в любом ресторане. С Тамарой везде хорошо. Она, кажется, из тех женщин, которые умеют озарить самый убогий уголок. С такими и в нужде легко. Не надо трястись за их благополучие. Вот бы какую найти вовремя!

Булатов сел на кровать и откинулся на стену, не снимая рук с груди. Да, подождать бы ему лет пять, не жениться. Терпелив он, расчетлив, а вот дал все-таки промах. Промах? А что, разве неудачно у него все сложилось? Плохо живется? Жена равнодушна? Да, она, пожалуй, равнодушна. Но он такую именно искал. Чтоб ни во что не вмешивалась, а знала свои домашние дела. И нашел, какую вымечтал. Красивую, видную, спокойную, выдержанную. И совсем не плохо ему со своей женой. Она хорошая, уравновешенная, редко выходит из себя. Взрывается только тогда, когда в семье чего-нибудь не хватает, какой-нибудь мелочи, черного перцу к обеду, флакона французских духов к празднику, детского автомобиля мальчишке. Тут она нервничает, кричит, швыряет вещишки. А в остальном — добрая. Прощает мужу даже грехи, лишь бы они не всплывали на поверхность. Она многое может простить. Но не простит ни малейшей трещины в их прочном благополучии. Это и хорошо. Создавая будущее семьи, Булатов и сам растет, поднимается. Успешно движется к своей цели, обходя углы, не вмешиваясь ни в какие драки, умело улаживая служебные конфликты. На работе его называют амортизатором. Пусть называют как угодно, он знает, как жить.

Булатов встал, подошел к окну. На улице шел снег. Не кристаллы теперь сыпались сверху, а крупные редкие хлопья мелькали в свете тусклой лампы, висевшей на одиноком столбе. Было пустынно, тихо. Глухо и тоскливо лаяла где-то собака. Булатов почувствовал себя затерянным в бездонной ночи. Ему вспомнился автобус, выбирающийся из города, со скрипом поворачивающий из переулка в переулок, вспомнились замерзшие окна, сквозь стекла которых ничего нельзя было увидеть, вспомнилось, как трудно было заговорить с Тамарой. Он представил Тамару сейчас за столом с отцом и матерью, и у него сжалось сердце. А что, если кинуться к ним? Просто прибежать и всем троим рассказать, что сейчас с ним творится. Хоть раз броситься в жизнь нараспашку! Без всякого расчета. Прийти и признаться — не мог выдержать одиночества этой ночи. Нет, он покажется всем им смешным. Не выгонят, конечно, посадят за стол, но будут переглядываться, украдкой пожимать плечами. Надо скоротать эту ночь, как бы ни было тяжело. И откуда это взялось? Там, в автобусе, он еще был спокоен, только предвкушал приятный легкий романчик. Какой к черту романчик! Надвигается что-то страшное. И вместо приятности — боль. Как быстро все меняется. Совсем недавно, вот тут, на кровати, ему было легко и радостно. И вон что нахлынуло! Лечь, закрыться с головой одеялом, забыться, проспать хотя бы до рассвета. Потом можно будет пойти бродить.

Чтоб не раздумать, не сбежать из гостиницы и не натворить глупостей, Булатов стал снимать сорочку, торопливо расстегивая запонки, пуговицы. Одна пуговица оборвалась, упала на крашеный пол. «Начинается. Жил спокойно — ничего не рвалось, ничего не терялось».

Он лег в скрипящую сеткой кровать, натянул на голову простыню, байковое одеяло. Уткнулся в подушку. И тут началась битва за сон. Она продолжалась до рассвета, которого он так нетерпеливо ждал. А когда побелело окно, он внезапно уснул. И так же внезапно проснулся.

На Качуг обрушился снегопад. Булатов вышел на крыльцо, поднял воротник. Посмотрел на свои туфли, покачал головой и побрел по глубокому следу, проложенному ранними пешеходами по одной стороне улочки. След привел его к береговому спуску, на который выходила магистральная, трактовая улица. Снег тут был уже прикатан автомашинами и санями, и Булатов прошел по реке твердой дорогой, только сверху чуть припушенной. Он поднялся на берег, очутился на главной, Заречной, улице и сразу увидел на углу столовую. Зашел, выпил стакан какао. Потом, расспросив буфетчицу, направился в контору райпотребсоюза.

В других конторах он с удовольствием работал, всегда оказывалась и какая-нибудь приятная сотрудница. Он знал, что его, ревизора, побаиваются и уважают. Роясь в бухгалтерских делах, он чувствовал на себе взгляды и старался держаться солидно. А в этой конторе, хотя тут было несколько приятных сотрудниц, он сидел понуро и только для виду рассеянно перебирал какие-то документы, ничего вокруг себя не замечал. Кое-как высидел до обеда и пошел в ту же столовую.

Снег валил еще сильнее. Люди, шагавшие недалеко впереди, виднелись смутно, расплывчато. Булатов придерживал воротник, пригибал голову и даже выставлял немного вперед плечо, будто продирался сквозь белые

диковинные заросли. Это его несколько забавляло, и ему становилось не так уж тоскливо. «Ничего, пройдет,— думал он.— Встречусь с Тамарой, поболтаю, и легче станет. Или, пожалуй, совсем не встречаться. Никаких перспектив. Так, как было с другими, с этой невозможно. Странно, что и самому ничего от нее не надо. Ничего или — все. Всю ее жизнь. Что, если броситься, поломать все стены? Нет, надо отступиться. Страшно».

Он приподнял голову и увидел перед собой Тамару. Его обожгло. Она шла с той же сеточной сумкой, с которой садилась в автобус.

— Ой, как кстати!— обрадовалась она.— Приходите вечером. Я вчера говорила о вас с папой и с мамой. Они настыдили меня, что не пригласила сразу. Во сколько вы будете свободны?

Он молчал.

— Неужели вы такой злопамятный? Так смертельно обиделись? Простите. Я не поняла вас вчера. Придете?

— В какое время?

— Папа и мама будут дома вечером. Папа сейчас на работе, а мама уехала в деревню. Я хотела сегодня к бабушке, а пришлось домовничать. Если вы свободны, приходите и днем. На этот раз обойдемся без мадеры.— Она подняла сумку, из которой высовывались две серебристые бутылочные головки.— Шампанское мне нравится. В Новый год выпила целых три бокала. Ну не сердитесь. Придете?

— Хорошо, приду,— сказал он сдержанно.

— Смотрите, я жду. И папа ждет, и мама. А в воскресенье, когда вы будете свободны, пойдем с лыжами на гору. Вот у нас гора.— Она глянула влево вверх.— О, ее и не видно. Какой снежище! Гора тут у нас высокая, крутая. Ринешься вниз — дух захватывает. Хотите на лыжах?

Булатов пожал плечами.

— Ну что вы сегодня такой? Приходите, у нас вам будет хорошо. Ждем. — Она повернулась, пошла к реке и скоро утонула в снежной гуще.

«Нет, это, видно, неизбежно,— подумал Булатов.— Не устоять. Почему это приходит, когда ты уже связан по рукам и ногам? К черту! Все надо рвать».

Он не пошел в столовую. Что с ним творится? Вчера не ужинал, сегодня выпил только стакан какао, и есть не хочется. Надо привести себя в порядок.

Булатов зашел в парикмахерскую, побрился, принял массаж и освежился «шипром». Потом пошел в магазин. Магазин, сырой, с мокрым заснеженным деревянным полом, показался ему неуютным, оскорбляющим его праздничные чувства. Для хорошего подарка он ничего не мог подобрать. Взял только бутылку коньяку.

Он спустился с берега, прошел по реке той же дорогой и оказался в другой половине села. Название Тамариной улицы он помнил и скоро ее разыскал. Сколько цифр удерживается в голове, а вот эта вылетела. Может быть, к лучшему? Нет, надо найти. Цифра, кажется, двузначная, нечетная. Значит, надо идти по этой стороне.

Снегопад внезапно оборвался, но дорога и все уличные тропы здесь были завалены, и пришлось брести целиной. Булатов прошел десятка два разноликих домов, веселых и грустных, гордых и скромных, но ни у одного из них не остановился: ни в один из них невозможно было поместить Тамару, ее отца и мать. Он прошел еще дворов пять и с радостью увидел и узнал их домик. Да, только в таком доме могли они жить, именно в таком, теплом, добродушном, с тремя светлыми окнами на улицу, с белыми ставнями, с простенькой резьбой на карнизе и наличниках, с чистыми шторами и скромными цветами на подоконниках.

Веселый дымок курчавится над трубой, слегка склоняясь, как бы приглашая войти в теплое жилье. Недавний, но уже припорошенный снегом след Тамары шел мимо зеленого палисадника и тоже приглашающе вел к воротам.

Булатов подошел к калитке и толкнул ее. И остановился, не решаясь войти в белый дворик. След Тамары, рыхло присыпанный, вел к приветливому, с зелеными колоннами и перилами, крыльцу. Ступеньки были только что обметены. Обмела их, конечно, Тамара. Она ждет. «Вот, ступи в этот дворик, в этот чистый снег — и все, тобою созданное, рухнет». Булатова охватил страх. Нет, не войти ему. Не войти! Он захлопнул калитку и быстро пошел обратно, трусливо оглядываясь.

БОРИС РОТЕНФЕЛЬД

ПОЛЬСКАЯ КУКЛА

РАССКАЗ

Был апрель. Снег совсем сошел, и только в Цыгановском лесу и по берегам Воронки лежали его ватные ноздреватые глыбы, серые, словно осыпанные порохом. К полудню солнце подымалось высоко, и становилось так тепло, что от навоза, который каждый день выбрасывали из конюшен, не подымался пар. Однако не было совсем сухо, земля все еще жирно блестела, а за школой, в овраге, стояла черная вода. Утром все одевались позимнему — в телогрейки, пальто, шубы, заматывали шарфы, а днем, в обед, приходилось разматывать эти шарфы, расстегивать телогрейки, пальто, шубы. Днем же стали ходить медленно, спокойно, многие сидели, развалясь, на скамейках у домов или у конторы, или прямо на бревнах у фермы и кузницы и так медово щурились от солнца,— вот-вот замурлычут.

Сегодня снова было тепло, но Ольга Николаевна не замечала этого и ее шуба из коричневого искусственного меха была застегнута на все пуговицы. Ольга Николаевна медленно шла от школы, глядела себе под ноги и думала. Сегодня опять была стычка с Николаем Ивановичем, опять из-за пустяка. Она рассказывала в девятом «Б» о русской архитектуре восемнадцатого века и сказала, что в селе была церковь этого времени, но ее разобрали на кирпичи — так решило правление. Она сказала, что это варварство, что это глупо, теперь бы этого не допустили, коровники можно делать из бревен, коровы все равно не заметят. Ребята и девочки засмеялись. Николай Иванович сидел на задней парте и все аккуратно записывал в тетрадку, а потом в учительской стал выговаривать Ольге Николаевне за «подрыв авторитета правления у детей, которые еще не укрепились в своем сознании и не все правильно понимают». Ну и пошло-поехало. Она и так была растревожена — вчера от Леньки пришло письмо, едет домой — и не сдержалась, наговорила Николаю Ивановичу много неприятных резких слов, да и он в долгу не остался, хотя вначале от неожиданности растерялся и покраснел.

И — снова — сквозь Николая Ивановича мысли возвращались к Леньке. Ленька был старшим сыном Ольги Николаевны. После войны, когда в селе ели отруби и лебеду, девятилетний Ленька стал воровать, его несколько раз ловили и били в кровь, и избитого приводили домой. Ольга Николаевна обмывала кровь и ничего не говорила, потому что хлеб она отдавала годовалому Сергею — размачивала в чае с сахарином,— и часто ночами, в полусне, Ленька махал руками и вдруг кричал: «Жадина, дай хлеба». А отец тоже молчал — он был контужен под Курском и не говорил, а только подрагивал большой седой головой, и сам был, как годовалый Сергей — ничего не замечал и улыбался. Воровать Ленька все-таки бросил — хоть голодные, а били жестоко, больно,—но озлобился и стал пакостить, где только мог: то курицу камнем подшибет, то стекло последнее из рогатки высадит, а раз зимой весь птичник распугал — забросил туда какую-то голодную собаку...

В сорок седьмом году отец умер, и ему стало еще раздольней. Никто не говорил: «Отца-то хоть пожалей». В школе тоже дела шли плохо, еле кончил пять классов и закинул портфель в стайку. Ольга Николаевна не уговаривала, не заставляла — думала, работа выправит, да и мужики, что посерьезней, приструнят. Временами так и казалось — да, работа выправит, мужики приструнят, но появились деньги, с деньгами — водка, а к вод-

ке мужики относились ласково и почтительно и не препятствовали. Выпив, Ленька совсем мрачнел и задирался к каждому, и снова приводили его домой, избитого в кровь. Многое прощалось ему, потому что в селе уважали Ольгу Николаевну, но сколько веревочке не виться... Как-то ночью, пьяный, пришел Ленька на ферму и изнасиловал клейменовскую дочь — она одна дежурила. Его посадили. И постепенно Ольга Николаевна свыклась с тем, что он сидит, и даже успокоилась — она знала, что он не пьет, сыт, одет, работает и ничего не может натворить. И поэтому — как ни странно могло показаться со стороны,— когда пришло неожиданное письмо о досрочном Ленькином освобождении, она растерялась, потому что не могла радоваться по-настоящему: вспоминались и все яснее и страшнее подымались забытые тревоги. Она больше воспитывала чужих детей — вот со своим и выходило так нескладно. И теперь ей снова предстояло переживать за сыновей (Ленька тянул за собой и младшего, Сергея) и отвечать за них перед обиженными людьми. Ну что же — не прогонять же родного сына,— Ольга Николаевна вздохнула и подняла голову.

Она была уже на краю оврага, около магазина. Она вспомнила, что надо купить сахару — дома ни одного кусочка,— и зашла в магазин. С ней не заговаривали, видели, что грустная. Ольга Николаевна в шумной деловой очереди переключилась на домашние заботы и стала думать о том, что надо сделать сегодня — такая у нее была привычка — все «планировать наперед». Сначала, конечно, покормить Сергея. И тетради. Потом сварить свиньям. Да, Ленька... Надо бы костюм вынуть из шкафа, проветрить... Эх, сын-сыночек...

— Что вам, Ольга Николаевна?

Она подняла глаза на Татьяну и сказала медленно: «Два килограмма... пиленого».

Она опустила в сумку белый мешочек с сахаром и вышла на улицу. На улице никого не было, и Ольга Николаевна невольно обратила внимание на Верку Брылеву из третьего «Б». Как всегда замурзанная, в рваном сером ватнике, из-под которого чуть торчало цветное платьице, Верка стояла неподвижно и смотрела на витрину. «Опять здесь стоит, а у самой двойки кругом»,— привычно подумала Ольга Николаевна. Она подошла к Верке и тронула ее за плечо. Верка вздрогнула, недоуменно посмотрела на Ольгу Николаевну.

— Что ты здесь стоишь? Уроки лучше бы учила,— строго сказала Ольга Николаевна.

Верка ничего не ответила, медленно повернулась и, опустив голову, пошла к избам.

Поворачивая к своему дому, Ольга Николаевна посмотрела вдоль улицы. Верка снова стояла у магазина. «Не послушалась,— подумала Ольга Николаевна.— Ну что она там нашла, в этой витрине,— магнит, что ли?»

Она, как обычно, встала рано — в пять. Накинула старый байковый халат, повязала серый пуховый платок и тихо, чтобы не разбудить Сергея, прошла к печке. Дрова, оставленные с вечера, подсохли; Ольга Николаевна наколола щепок, и дрова почти сразу загорелись. Она подождала, пока огонь охватит все поленья, и, закрыв дверцу печки, вышла в сени. Из сеней принесла тяжелый черный чугун с мелкой картошкой и поставила на плиту.

Потом она пошла в маленькую комнату и открыла шкаф. В шкафу, на деревянных плечиках висел коричневый с белой искрой Ленькин костюм и несколько рубашек. Ольга Николаевна сняла костюм вместе с плечиком, вынесла в сени, отряхнула и повесила, зацепив крючком плечика за гвоздь. Еще раз посмотрела на костюм, сняла ломаную соломинку, вздохнула и пошла в дом.

На столе лежали тетради, двадцать две тетради — контрольная восьмого «А». Ольга Николаевна стала проверять контрольную, механически точно отчеркивала толстым красным карандашом ошибки и продолжала думать о Леньке, о том, что, может быть, он изменился, дай бог, изменился бы, понял подоброму, но это были робкие, неясные надежды, и мысли возвращались к прошлому, а потом — что же будет?

Вода в чугуне бурлила уже долго. Ольга Николаевна подняла голову, встала, подошла к печи, взяла спичку, спичка вошла в картошку, как в масло. Ольга Николаевна обернула чугун черной тряпкой, сняла его с плиты и, взяв колотушку—палку с утолщенным, как у булавы, концом, стала разминать картофель. От него пошел сладковатый пар. Размяв картошку, она подлила туда воды, накрошила немного хлеба и снова все перемешала. Потом отнесла остывший чугун в стайку, вывалила все в слизкое деревянное корытце. Машка захрюкала, поднялась и побежала к корытцу, следом кинулись два поросенка, все еще похожие на зайцев — тощие, уши торчком. Ольга Николаевна посмотрела, как они толкаются, послушала, как аппетитно чавкают, подняла чугун и поставила его в угол. Теперь надо было бросить зерна курам и что-нибудь сготовить Сергею.

Она взяла в сенях кувшин с пшеницей и, ссыпав немного зерна в ладонь, метнула его на пол. Рыжий петух и несколько кур закудахтали и слетели с насеста. Ольга Николаевна сыпанула на пол еще несколько горстей, поставила кувшин на место и выпрямилась. Куры суетились, вскудахтывали, толкали друг друга, из-под когтей и клювов летели твердые зерна. Петух изредка вскидывал голову, что-то запевал, обрывал песню и, шагнув раза два, наклонялся и снова принимался клевать.

Было уже семь часов. Кормить Сергея и — в школу. Ольга Николаевна приставила лестницу к стрехе, влезла и нашла несколько грязных небольших яиц.

— Сергей, вставай.— Она тронула его за плечо.— Вставай, Сергей.— Он что-то забормотал, потер кулачком нос, перевернулся набок, снова засопел ровно-ровно. Ольга Николаевна была уже в шубе, с портфелем, и она затормошила сына сильней: «Сергей, вставай, вставай, Сергей, мне уходить надо...» Сергей поворочался, поморгал глазами, наконец, проснулся, открыл их, сказал: «Что, ма?» «Я ухожу, вставай»,— сказала она. «Ладно, ма»,— ответил Сергей и хотел снова повернуться набок, но Ольга Николаевна придержала его за плечо, подняла. «Хватит,— сказала она,— повалялся. Вставай». Сергей помотал головой, скинул одеяло, потянулся, убрал чуб с глаз и спрыгнул с печки. «Наконец-то,— сказала Ольга Николаевна.— Накормишь Машку перед школой, все хорошо запри, понял?» «Понял, ма, понял»,— Сергей тер глаза, он все еще просыпался. «Соня,— сказала она, посмотрела на круглое Сергеево лицо, дунула на чуб, завихрила рукой волосы, засмеялась,— соня, ну, управляй хозяйством, я пошла».

Солнце только поднималось и стелило по земле еще белые лучи. Земля была серая, твердая — за ночь промерзла. На лужах лежал тонкий ледок, солнце серебрило его и еще слабый иней на огородах, крышах, деревьях. Печи уже протопили, сажа не летала, и воздух был холодновато свеж. Приятно идти по такой твердой земле, чуть поеживаться от свежести чистого воздуха и думать, что скоро, через два-три часа холод уйдет, можно будет распахнуть шубу и тепло будет до самого вечера...

Дойдя до магазина, она вдруг вспомнила Верку. «Посмотрим, что это за магнит»,— подумала Ольга Николаевна и подошла к витрине. В витрине, сбоку, рядом с полиэтиленовым кульком риса и банками варенья стояла прямо в коробке большая кукла с желтыми косами. «А, вот оно что»,— она стала внимательно разглядывать куклу. У куклы было круглое свежее лицо с румяными щеками, словно она была смущена, синие прозрачные глаза с длинными легкими ресницами и милый, с ямочкой, подбородок. Золотистые волосы были аккуратно расчесаны и собраны в две косички с красными шелковыми бантиками. Желтое блестящее платье с белым передником было чуть выше розовых колен. По рукавам, по груди платья, по низу передника шли снежные воздушные кружева. Завершали наряд красные туфельки и розовые прозрачные носочки. «Дорогая, наверное,— подумала Ольга Николаевна,— скоро запылится». И ей стало грустно от того, что кукла дорогая и ее никто не купит, и она запылится, станет серой и скучной, и никого уже не обрадует, даже Верку. И останется Верка снова с одними своими двойками в рваном черном портфеле...

Ольга Николаевна медленно отошла от витрины.

У нее не было первого урока, но Ольга Николаевна всегда приходила в школу раньше — посмотреть еще раз планы, пособия, подумать об уроках. Она преподавала двадцать лет, знала все наперед и можно было, конечно, обойтись без этих самопроверок, тем более, что они немногое меняли в том, что Ольга Николаевна уже задумала. Но всякий раз, размышляя снова над уроками, она находила и добавляла что-то новое — пример, упражнение, игру — и это небольшое новое как-то высвечивало, обновляло весь урок, и он был не просто повторением прошлых опытов, а движением, пусть маленьким, но вперед, и это всегда приносило радость ей — ведь золото тоже находят по крупицам.

Но сегодня Ольга Николаевна так и не успела придумать. В учительскую вошел Николай Иванович и попросил Ольгу Николаевну зайти к нему. Николай Иванович обычно не сидел в своем кабинете, был в учительской, но для некоторых разговоров предпочитал кабинет, и все учителя, услышав, как он приглашает Ольгу Николаевну, невольно притихли и, подняв головы, понимающе посмотрели друг на друга. Ольга Николаевна, закрыв тетради с планами, вышла вслед за Николаем Ивановичем, она была спокойна — знала, что предстоит продолжение вчерашнего.

Кабинет у Николая Ивановича был маленький, скромный, с одним окном. Два небольших стола стояли буквой «Т» — один под зеленым сукном, за которым сидел сам Николай Иванович, был шапкой буквы «Т», второй, однотумбовый, непокрытый, был ее столбиком. У стен, справа и слева, стояли канцелярские стулья, сиденья и спинки — из коричневого дерматина, дерево жидко раскрашено под мореный дуб. Угол за зеленым столом занимал приземистый железный ящик — несгораемый шкаф, темно-бордово окрашенный, с блестящей никелевой ручкой. Над ним висела этажерка всего с тремя полками, на полках были коричневые томики Ленина и толстый, синий, выцветший «Капитал» Маркса. Тетя Нюра, техничка, убиравшая раз в неделю кабинет, всегда ворчала, что в этих книгах «понабирается столько пыли, что со всей школы не сгребешь».

Николай Иванович указал Ольге Николаевне на стул и сказал: «Пожалуйста». Сам он сел не сразу, немного помедлил, опустив голову и словно задумываясь, с чего начинать, потом отодвинул свой стул и сел, положив локти на сукно. Ольга Николаевна смотрела на него, ждала, и он тоже поднял голову — глаза у него были чистые, добрые, даже чуть смущенные и готовые к примирению. Встретив прямой и строгий взгляд Ольги Николаевны, он опустил глаза, снова помедлил и лишь тогда посмотрел на Ольгу Николаевну, когда заговорил.

— Мы вчера погорячились, наговорили друг другу бог знает что. Да еще при всех. Неудобно как-то.

— Всякое бывает,— неопределенно сказала Ольга Николаевна.

— Да, к сожалению, бывает. А не надо бы. Вот я про это всю ночь думал, что-то не спалось — неужели зря вам замечание сделал? Да, пожалуй, неправильно поступило правление с церковью. Согласен. Но зачем об этом говорить сейчас? Ведь дела идут вроде хорошо, а сносить больше нечего.— Николай Иванович даже улыбнулся. — Было — ну и сплыло. Чего не бывает. А теперь вот ребята пошли дошлые, присматриваться начнут после ваших слов — чего еще там правление придумало, может, снова ошибка?

— Пусть присматриваются. Что же тут плохого?

— Плохого-то, конечно, ничего нет. Но — опять: поймут ли они сами, разберутся—где борьба с религией, а где — ошибка? Не поймут, говорю наверняка, запутаются. Вот им и надо про одну прямую борьбу и говорить. Так я думаю.

Николай Иванович наставительно и скромно посмотрел на Ольгу Николаевну. В его ясных глазах была сама простота, был добрый настоятельный призыв: «Ну, согласитесь, не упорствуйте, ведь я прав».

— А я ребятам как раз про церковь и рассказала, чтоб разбирали — где борьба, а где — ошибка. Ведь по селу все так поминают — церковь сломали, когда с попом боролись...

— Э-э, да кто поминает,— досадливо произнес Николай Иванович,— одни старые бабки. Вам ли, учительнице, на них внимание обращать...

— Думаю, мне и обращать. Ребята знают о церкви как раз со слов этих самых старых бабок. Вот я и хотела им рассказать правду. Это, кажется, не запрещено.

— Опять вы про правду,— поморщился Николай Иванович,— чуть что — сразу про правду. Какое, скажите, имеет отношение правда к древней дохлой церквушке? Ребята об этом сейчас и не думают, им учиться надо, они про отметки должны думать, экзамены на носу. А с правдой, знаете, без них как-нибудь разберемся...

— Я думаю, надо разбираться вместе...

— Вот сказали! Как же это — вместе? Ему — пятнадцать, вам — сорок шесть, он ничего не знает, не понимает про жизнь, а вы — все почти изучили. Он так смотрит, вы — этак. Как же это — вместе?

Николай Иванович начинал волноваться. Он встал, отодвинул стул и стал топтаться вдоль стола.

— Я к нему и приставлена — эту жизнь открыть.

— Хорошенько открыть! Как это вы понимаете — открыть?

— Просто. Помнится, Гайдар говорил: для детей надо писать, как для взрослых, только еще лучше. Так и учить, по-моему, надо — как взрослых, только еще лучше...

— Ну при чем тут Гайдар, при чем? Выходит, по-вашему, если как для взрослых — теперь, значит, мальчикам все про девочек рассказать, а девочкам — про мальчиков? Так прикажете понимать? Только это не Гайдар, а разврат!

— В огороде — бузина, а в Киеве — дядька,— тихо сказала Ольга Николаевна.

— Что, что?— спросил Николай Иванович.

— Пословица есть такая,— сказала Ольга Николаевна,— в огороде—бузина, а в Киеве—дядька...

— Бузина, бузина... Не пословица это, а

ваше упрямство. Вы же прекрасно все понимаете, а не сознаетесь. Никак не пойму, откуда только это у вас берется?

Николай Иванович исподлобья, с прищуром посмотрел на Ольгу Николаевну. Приветливая доброта пропала, и он становился самим собой.

— Вон откуда,— Ольга Николаевна показала на маленькую этажерку.

Николай Иванович оглянулся на этажерку, потом медленно повернул лицо к Ольге Николаевне.

— Вы на Ленина не спирайте,— лицо его побледнело, стало сухим, жестким, нос словно заострился, глаза смотрели колюче, настороженно.—Вы на Ленина не спирайте, вы его не трогайте, не подтасовывайте под свои россказни... Я не позволю...— Он даже подался вперед и лицо его побледнело еще больше.

Ольга Николаевна знала Николая Ивановича, как говорится, насквозь, до самых пяток и такому превращению не удивлялась, а даже как-то внутренне собралась покрепче — теперь начиналось самое главное, для чего она была вызвана в кабинет, и, чтобы не тянуть, она прямо спросила:

— Чего же вы хотите?

— Я хотел бы вам напомнить, что вы, Ольга Николаевна, работник идеологического фронта в нашей школе. За школу отвечаю я. Поэтому советую: больше не вести таких разговоров с учащимися. Настоятельно советую.

Ольга Николаевна поднялась, сделала шаг в сторону и оперлась рукой о непокрытый стол.

— Это что — совет или распоряжение?— спросила она.

— Если хотите — распоряжение.

— Хорошо,— сказала она,— только, пожалуйста, дайте мне его в письменном виде.

Она повернулась, медленно вышла из кабинета и аккуратно прикрыла за собой дверь.

Она долго сидела в учительской, закрыв глаза, обняв лицо руками. Потом отняла руки и открыла глаза. Все занимались своими делами и только физкультурница — молодая девчонка, круглолицая, румяная — только что бегала с ребятами — во все свои синие глаза смотрела на Ольгу Николаевну и переживала. «Ну купит он куклу,— вдруг подумала Ольга Николаевна,— ночь будет думать, а потом решит, что это разврат — такие дорогие куклы детям покупать...» Ей стало почему-то легко от этой мысли, и она улыбнулась. «И хорошо, что не купит. Для Верки лучше». Она взяла учебники, тетрадки и пошла в восьмой «А».

Девчонка-физкультурница от неожиданности раскрыла рот, улыбалась ей вслед.

После четвертого урока, выйдя из класса, Ольга Николаевна увидела Верку. Она остановилась и позвала ее. Верка медленно, покорно подошла, опустила голову, как-то сжалась, и плечи ее, на которых держалось застиранное добела синее ситцевое платье, стали еще острее. Она всегда так подходила, когда ее звали учителя — наверное, потому, что была неуспевающей, и ее всегда за это отчитывали.

— Ты куклу у магазина смотрела, да?— спросила Ольга Николаевна.

— Да,— тихо ответила Верка.

— Она тебе нравится?

— Да.

— А чем она тебе нравится?

— Она красивая.— Верка исподлобья с любопытством глянула на Ольгу Николаевну.

— Да,— задумчиво сказала Ольга Николаевна.— Она красивая... Ну, ладно, иди...

Она машинально погладила Верку по голове и пошла в учительскую, строгая, седая, в черном костюме, с тетрадями, которые она держала на поднятой вверх руке.

Солнце уже стояло высоко, земля прогрелась, лужи расплылись, некрасиво блестели, как большие плоские бесцветные пятна. Ольга Николаевна остановилась, подняла лицо к солнцу, прищурилась, на мгновение совсем прикрыла глаза, вбирая нежное спокойное тепло. Потом очнулась, открыла глаза, расстегнула две верхние пуговицы шубы, сошла с крыльца, миновала ограду и повернула к магазину.

Солнце, солнце... Весна... Уже весна... Вон луж сколько... Скоро и трава появится... А там — отдых, отдых, лето...

Хотелось думать только об этом, но были тысячи других дел, были Николай Иванович и Ленька. Впрочем, другие дела были всегда, Николай Иванович — почти всегда (она усмехнулась), а Ленька... Что ж Ленька... примем. Хотя прошел всего день, как принесли это неожиданное письмо, она уже свыклась с Ленькиным приездом и деловито думала, как встретить сына: у председателя лошадей попросить — до станции и обратно; рубаху белую выгладить — любил Ленька белые рубахи; Витьку Острового и Федора позвать, пусть посидят, дружки все-таки... Посидят — посидят. Надо чего-нибудь купить, а то хуже будет, сами притащат, и не запретишь...

Она подняла голову — близко ли магазин? Оказалось, она была у самой витрины, как нарочно — против куклы... «Магнит,— весело подумала Ольга Николаевна.— И для меня —

магнит». Она оглянулась — а Верка?— но Верки не было. Ольга Николаевна зашла в магазин.

Выйдя из магазина, она приостановилась, снова поискала глазами Верку, но Верки попрежнему не было. «Неужели испугалась?— подумала Ольга Николаевна.— Вот глупая». Она еще раз посмотрела вокруг и, решив, что завтра встретит Верку в школе и спросит, пошла к своей улице, неторопливо, чуть кренясь на левую сторону — черная сумка ее была не по-обычному разбухшей и тяжелой.

Настроение у Ольги Николаевны было превосходное. Председатель без упрашиваний, сразу дал лошадь, а Витька вызвался поехать на станцию, очень обрадовался, услышав, что Леньку выпустили, и это, в свою очередь, обрадовало Ольгу Николаевну, она увидела в этом доброе предзнаменование, потому что Витька сам был прежде, как Ленька, а теперь ходил в людях, был хорошим механиком. «Может, и другие не будут коситься, ведь столько лет прошло!»— с надеждой подумала Ольга Николаевна и посмотрела вокруг — с кем бы еще поделиться новостью.

Навстречу шел Тимофеев, тракторный бригадир, большой мужик в ватнике и серой солдатской шапке со следом звезды на козырьке. Бригадир был обстоятельный, серьезный мужик, ходил вперевалку, медленно, говорил негромко, низким голосом, значительно и весомо. У него Ленька работал комбайнером.

Ольга Николаевна поравнялась с Тимофеевым, сказала «Здравствуй, Матвей Степанович» и приостановилась. «Здравствуй, Ольга Николаевна,— ответил бригадир, тоже приостановился и спросил:— Как живешь?» Она сразу, торопясь увидеть, как отнесется к этому Тимофеев, рассказала про Ленькин приезд. Тимофеев слушал спокойно, потом неторопливо вынул клетчатый замызганный платок, высморкался в сторону, вытер нос и, засунув платок в карман черных суконных брюк, сказал обычным своим голосом: «Ну что ж, дай бог. Зайду, будет время, посмотрю. Захочет — пусть снова ко мне идет, люди нужны». Ольга Николаевна, не ожидавшая сразу такого оборота дела, заволновалась, даже покраснела и сказала: «Спасибо, спасибо, Матвей Степанович, я передам, спасибо». Тимофеев увидел ее волнение, что-то в нем дрогнуло, у него потеплели синие глаза, он махнул рукой, сказал: «А, надо ведь ему работать»,— и пошел дальше, помахивая большими овечьими варежками. Ольга Николаевна внимательно смотрела ему вслед, и две маленькие, круглые слезы появились в уголках ее глаз. Она машинально вынула платочек из рукава, вытерла слезы и, повернувшись, пошагала по дороге, разбивая глянцевые лужи, радостная, счастливая, совсем как ребенок. Она шла все быстрее и быстрее, глаза у нее стали блестящими, яркими и на щеках выступил горячий неровный румянец. Теперь ей было легко, потому что не только она, мать, но и село принимало Леньку и совсем, выходит, не опасалось, что возвращается бандит и нужно будет с ним возиться.

Теперь она уже совсем верила, что Ленька исправился, что пойдет работать, что все будет хорошо... Сесть всей семьей за стол... Выйти в май на улицу — Ленька в белой рубашке, большой, добрый, веселый и Сергей в золотой тюбетейке и узких брюках... Она сбоку, немного позади, глядит, как идут сыновья, как хорошо смотрят на них люди... А вечером,— теплый вечер, в доме светло, чисто, играет приемник, на столе белая скатерть, она сидит за тетрадями,— зайдет Ленька, она подымет голову и скажет: «Ну что, ужинать будем?» А Ленька скажет: «Вот мама, Аня...»

Ох, радость...

Аня будет ясная, яркая, золотоволосая — как Веркина кукла. Снова кукла. «Магнит, магнит. Вот и ты, старая, примагнитилась. Опять к ней завернула». «Добрый день,— про себя сказала она кукле.— А где же твоя обожательница?»

Она обернулась. Верка стояла на своем месте. Она быстро подошла к Верке и обняла ее за плечи, тихо наклонилась. «Смотришь?»—«Да».—«А ты маму попроси, пусть купит».—«Мама говорит, у нас нет денег. Вот продадим кабана, тогда, может, останется».— «Да». Молчание. «Тоже спрашиваю,— подумала про себя Ольга Николаевна,— где ей одной на пятерых наработать». И вдруг Верке: «А ты очень хочешь?»—«Очень».—«Сейчас купим, подожди...»

Она была радостна и хотела радости всем...

Она быстро пошла в магазин и, не обращая внимания на очередь, сразу к Татьяне:

— Сколько твоя кукла стоит?

— Кукла?— Татьяна удивилась. Кукол у нее давно не спрашивали.

— Та, что в витрине.

— А, польская. А вам кому — неужели Сергею?— Татьяна улыбнулась. Она тоже улыбнулась.

— Нужно.

— Сейчас посмотрим.

Татьяна открыла витрину, нагнулась, достала коробку. Сдула с нее пыль. Прищурилась. Вернулась на место.

— Девять восемьдесят. Дорого, Ольга Николаевна. Да и ничего в ней красивого.

— Да-а,— сказала она, вдруг опомнившись, пожевала губами: «дорого», и отошла от прилавка, задумалась. Все-таки дорого. И на Леньку нужны деньги. Она было пошла к двери, но остановилась. За дверями стояла Верка, ждала. Верка видела, как куклу вынули из витрины, и ждала. Ольге Николаевне стало неудобно, как-то не по себе. «А, бог с ними, с деньгами»,— она махнула рукой, и ей снова стало легко и радостно. Быстро вернулась к прилавку.

— Давай, Татьяна, куклу эту польскую.

Верка неподвижно смотрела на Ольгу Николаевну. «Держи,— сказала Ольга Николаевна,— вот тебе и кукла». Верка приняла куклу в неподвижные руки: «Спасибо».—«Иди домой, маме покажи, скажи, Ольга Николаевна подарила».—«Пойдемте со мной. А то мама не поверит».—«Да? Ну, ладно, пойдем». Она взяла Верку за руку и они пошли.

В избе было серо, сумрачно. Вдоль стен стояло несколько скамеек, засиженных до блеска, у окна, в углу — синяя железная кровать, покрытая лоскутным одеялом. Над кроватью несколько семейных серых фотографий, цветные картинки из «Огонька», прикрепленные к стене кнопками. На черном крюке, вбитом в потолок, висела люлька на двоих — большая четырехугольная соломенная корзина, похожая на ящик. Пол был земляной, неровный, выбоистый, — и дощатый выскобленный стол, и одинокая табуретка около него стояли косо и неуверенно.

Анна, Веркина мать, женщина лет тридцати пяти, но уже постаревшая, темнолицая, с блеклыми серыми волосами, выбившимися из-под серого же матерчатого платка, стояла у печки и стирала в корыте, поставленном на две табуретки. На третьей табуретке был таз, в который Анна складывала чистое. От горячей воды, от чистого шел пар, косматыми струйками подымался вверх и мелкими каплями блестел на потолочных черных бревнах.

Услышав, что кто-то вошел, Анна повернула голову. Потом стряхнула с рук пену, медленно, устало разогнулась, вытерла руки о подол грязного старого платья.

— Что, опять двоек нахватала?— спросила она, строго глядя на Верку. Верка опустила голову.

— Нет, она сегодня без двоек, да?— Ольга Николаевна положила Верке руку на плечо, нагнулась и заглянула ей в глаза.

— Да,— тихо сказала Верка.

— Вот,— сказала Ольга Николаевна,— поэтому я ей купила куклу.

Верка исподлобья наблюдала за матерью.

— Сама, небось, выпросила,— сказала Анна,— знала, у кого выпрашивать.

Верка опустила глаза и ничего не ответила.

— Ну, Анна, ты ее не обижай,— миролюбиво сказала Ольга Николаевна, — она у тебя хорошая, а куклу совсем не просила. Ты ее ведь не будешь ругать, да?

— Ладно уж, не буду,— поддаваясь тону Ольги Николаевны, ответила Анна.

— Вот и хорошо. До свиданья,— она погладила Верку по голове и вышла.

Верка стояла у двери и не двигалась, прижав к себе белую картонную коробку, перевязанную розовой шелковой лентой. Анна опустилась на табуретку и, сделав жест рукой, сказала:

— А ну, покажи твой подарок.

Верка подошла и положила матери на колени белую коробку. Анна еще раз вытерла руки о бока, развязала ленту, открыла коробку. «Да,— сказала она,— красивая». Приподняла руками поближе. «Да, красивая. Не стоишь ты ее, двоешница». Верка молча растирала кулаками слезы. «Ладно, не реви,— сказала Анна.— Спрячь ее, а то замажешь». Она встала. Верка все плакала. «Не реви, говорю тебе, — повторила Анна, — отнеси в комод, и напой малых молоком. А я достираю». Верка взяла коробку и пошла за печку. Анна встала, наклонилась над корытом, вытащила из пены рубашку, стала тереть по доске — тр-ры-ык, тр-ры-ык, тр-ры-ык...

Вечером, когда мать легла, Верка осторожно слезла с печки и подкралась к комоду. С трудом открыла тяжелую крышку и достала белую коробку, перевязанную лентой. С коробкой вернулась на печку и уснула, прижав ее к себе обеими руками. Спать в обнимку с коробкой было неловко, Верка ворочалась, просыпалась, натягивала на коробкины углы одеяло — не дай бог, мать увидит — и снова засыпала.

Рано утром, еще не светало, Анна накормила двойню и ушла на ферму, наказав Верке смотреть за домом. Как только мать вышла за порог, Верка вместе с коробкой слезла

с печки и, положив коробку на стол, зажгла свет. Она растопила плиту, нагрела ведро воды и, чуть не обварившись, стащила его с огня и вылила в корыто. Потом подлила холодной воды из бочки и, поеживаясь, разделась и влезла в корыто. Стало непривычно тепло и зябко. Верка взяла кусок мыла, которым мать стирала белье, и, закрыв глаза, намылила голову, а потом стала водить мылом по всему телу. Наконец, ей показалось, что уже водить достаточно, она села в воду и обмылась, а потом еще полила голову из чайника. Теперь, наверное, совсем чистая.

Она выскочила из корыта, протопала мокрая к печке и стала, дрожа, вытираться чистыми тряпками, висевшими на веревке. Надела ситцевую короткую рубашонку и валенки и пошла к комоду. Из комода достала свое зеленое штапельное платье, которое она в последний раз надевала восьмого марта, большое зеркало, белую оловянную расческу отца и красные носки. Она поставила зеркало на скамейку и рядом с ним в открытой коробке — куклу. Надела платье, потом красные носки, нашла коричневые старые сандалии. Застегнула платье и стала перед зеркалом причесываться, все время поглядывая на куклу: делала такую же прическу. Подумав, взяла шелковую ленточку от коробки, разрезала пополам и вплела в косички. Постояла перед зеркалом. Ближе. Еще ближе. Отошла. Посмотрела на куклу, на зеркало. На куклу, на зеркало. На куклу, на зеркало. Села на скамейку, вздохнула, сложила на коленях руки. Про что-то задумалась. Просидела так долго. На печи заворочался Мишка, захныкал, что-то сшиб. Верка вздрогнула, подняла голову: на ходиках было уже полвосьмого. Она встала, увидела себя в зеркале. Мишка захныкал сильней. Она быстро сняла платье, положила его в комод, за ним — зеркало, расческу и куклу — на самый верх. Сняла было носки. Потом надела коричневые грубые чулки, а на них — носки. «Скажу, что холодно было»,— подумала она, опустила крышку сундука и пошла за печку — снимать Мишку.

Ленька легко спрыгнул со ступеньки, поставил на землю деревянный чемодан, неуверенно стал оглядываться. Наконец увидел у подводы мать и Витьку, заулыбался, поднял чемодан и пошел к ним. За немногие секунды Ольга Николаевна успела заметить все — и то, как ладно и крепко выглядит он в ватнике, кроличьей пушистой шапке и черных суконных брюках, вправленных в сапоги, и то, что лицо у него было свежее, обветренное, как у людей, много бывающих на воздухе, и то, что он явно смущен, хоть и улыбается.

— Здравствуй,— сказала она и поцеловала его в губы, и обняв его, положила голову на плечо и замерла. Ленька отвернулся и на крепкие его скулы выбежали маленькие холодные слезы.

— Ладно, мать,— сказал он,— пошли.

Витька с любопытством и радостью смотрел на них и потом протянул Леньке руки. «Привет,— сказал Ленька,— привет, хмырь болотный, не забыл».

Они сели в телегу, бросили в ноги чемодан, Витька взял вожжи, хлестнул лошадь, свистнул — поехали. Она тихо спрашивала, как и что, Ленька тихо отвечал. Витька посвистывая, гикал и не мешал. Потом стал спрашивать Ленька, она тихо отвечала и видела, что он отвык от всего и ей снова стало тревожно: что же будет?

Но вечером было хорошо, пришли ребята, выпили, свободно шутили, тихо пели старые свои песни, будто бы и не было суда, и лагеря, и этого вот возвращения, а просто так собрались, как всегда. Правда, не как всегда — пили немного — поначалу стеснялись и говорили: завтра на работу, и она совсем уже успокоилась, и решила, что все будет в порядке.

Часов в одиннадцать, когда пить уже было нечего, неожиданно зашел Генка Саломасов, пьяненький, радостный, с красной мордой, сказал: «Ж-желаю видеть стар-рого др-друга», и выложил на стол две поллитровки. Ленька стал рассказывать лагерные истории, с непривычки совсем охмелел, и, наливаясь злостью, двигая желваками, начал грозиться Клейменовым и порывался к ним идти. Она с ребятами еле отговорила его, не пустила и тогда он плюнул, сказал: «Ладно, хрен с вами, все равно доберусь», и, махнув рукой, пьяный, красный, прямо в костюме повалился на чистую постель и скоро захрапел. Спал он плохо, стонал, скрежетал зубами, что-то бормотал, ворочался, и ей несколько раз приходилось вставать и подымать ноги с пола на кровать.

Встала Ольга Николаевна только к восьми, еле успела сварить свиньям и ушла в школу. Леньку и Сергея будить не стала — у нее был только первый урок, и она решила разбудить их попозже, пусть спят, Леньке — куда вставать, да и Сергею сейчас ни к чему.

В школьной ограде она неожиданно столкнулась с Веркой и от удивления остановилась. Она стояла и смотрела на Верку, на ее чистое лицо и желтые косички с розовыми блестящими лентами, на выгоревшее ситце-

вое, выше колен платьице, на вымытые, исшорканные сандалии, красные носки и выражение лица у нее было изумленное, затаенно-радостное — как у Верки, когда та смотрела на куклу. Верка весело поздоровалась и скрылась за дверью. Прозвенел звонок. Перед Ольгой Николаевной все еще стояла девочка, и поэтому она вздрогнула и, только немного придя в себя, поняла, что был звонок, и пошла в школу. Она думала о Веркином превращении, о том, что у Верки нет еще Николая Ивановича, Ленькиного приезда и многих других забот, а есть только польская кукла. «Только бы не отняли»,— вдруг с тревогой подумала Ольга Николаевна, заходя в учительскую, разделась и взяла журнал восьмого «А».

Восьмой «А» встал, захлопали парты. Дежурный сказал, что нет троих — Рябикова, Панфиловой и Саломасова. Потом Ольга Николаевна начала опрос.

Все шло своим чередом.

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

В. БЕРЕЗИН

* * *

Я любовь эту
в сердце вынянчил,
от друзей не таю, не прячу.
Ты как маленькая росиночка
на ладони моей горячей.
Я несу тебя
по России,
не устанет моя рука.
А в глазах твоих
синих-синих
чуть покачиваются облака.
Скоро утро мое рассветится?
Раньше времени
не узнать.
В звездном небе
— Большая Медведица,
как большой вопросительный знак.
Может статься и так,
что песней
я не выйду, не прозвеню,
но любви своей,
но мечте своей
знаю точно
— не изменю.
Ах, росинка моя,
росинка,
пронесу тебя, не пролью,
В тебе, махонькой,
— вся Россия,
я Россию в тебе люблю.

ЕЛЕНА ЖИЛКИНА

ПАМЯТИ ДРУГА

Ивану Молчанову-Сибирскому

Снова шумный апрель
над твоим пролетает предместьем,
скоро к солнцу живому
живая пробьется трава.
Оглянусь. Нет тебя,
нет тебя с нами вместе.
Нет тебя,
и помочь здесь бессильны слова.

Над предместьем твоим
так чиста,
так распахнута просинь...
Память, за руку взяв,
далеко, далеко поведет
по любимой земле,
где, еще не считая весен,
как всегда боевая,
рядом молодость наша идет.

Нас мечта увлекает
на самый край света,
а широким дорогам
и конца не видать.
Нам так трудно представить еще,
что где-то,
где-то тихая станция
может нас ждать.

Мы идем по земле,
от сибирских морозов суровой.
Мы идем,
про усталость забыв и покой,
чтоб на все откликаться
душевным словом,
чтоб на все отзываться
честной строкой.

Мы идем по земле.
Не по гладким ступеням.
Ничего,
что бывает нам туго подчас...
Мой земляк и товарищ,
человек моего поколенья,
нет тебя,
нет тебя среди нас...

И от этого
сердцу становится горько.
Очень нам не хватает тебя в пути...
Посмотри,
дел еще несвершенных сколько...
Мы до цели дойдем.
Нам нельзя не дойти.

ВЛАДИМИР КАЗАНЦЕВ

* * *

Я вдохновенно верю
в маяту.
В рождение нелегкого начала.
Стреляю дробью
в птицу на лету,
и, промахнувшись, радуюсь устало.

Как камыши, сухи мои ресницы,
в ночь
жаждущие ветра и дождя...
Ударит дождь —
и сущность прояснится,
и лилии воспрянут,
погодя.

В. КИСЕЛЕВ

МОРЩИНЫ

Откуда появляются морщины?
Морщины не приходят без причины,—
Глубокие и резкие,
Как шрамы,
Тяжелые и горькие,
Как раны.
И нас совсем напрасно утешают:
Они, мол, человека украшают,
Как седина,
Как трудная усталость...
Но есть морщины,
Что позорят старость,

На лбу тирана,
На щеках у скряги,
И на лице
Бездомного бродяги,
Добытые постами
И молитвой...
Я за морщины,
Что приходят в битвах,
В житейском море
И на поле бранном,
Похожие на шрамы
И на раны.

ВРАЖДА И ДРУЖБА

Являя жизненный процесс,
Вражда и дружба —
Обратимы.
Сейчас с тобой мы —
Побратимы,
А через час —
Попутал бес.
Нам правда жизни

Дорога,
Финал суровый
В том порука:
Прославим
Мужество врага
И проклянем
Измену друга.

ИНН. ЛУГОВСКОЙ

КРАЙ ОХОТНИЧИЙ

1. Поединок

Такой меж гривами покой,
Такие лиственниц поклоны,
Что святотатство —
Под рукой
Носить винтовку и патроны.

И все же —
Руку на курок,
Чтоб самому не пасть в поклоне:
Он бродит, зол и одинок,
Шатун, не выспавшийся ноне.

Куница в чаще замерла.
А чаща хвоей и листами
Следы в отпадах замела
И отвела глаза пеньками.

Ущелье, как медвежья пасть.
Разбито лапой муравьище.
Вниманье!
Бурая напасть
Идет на штурм, разинув ртище.
Громада лап, громада рта
О дуло хрупкое споткнется
И эхо горного хребта
На выстрел грозно отзовется!

2. У меня про тебя...

Канул в хребты ойрот,
Скрылся с ружьем в буреломах...
Не оробеет — придет,
А не придет — дал промах.
Там, где мутился поток

На приисковом шлаке,
Детство мое, как цветок,
Вымерзло в чахлом бараке.

Но не грущу, не тужу
На перевалах горбатых:
Счастье с собою ношу
На росомахах, сохатых.

Снова зовет заря
Мехом лисы — огневки.
Был бы хорош заряд
Старой отцовской винтовки.

Здравствуй, неведомый путь,
Гнущий в дугу колени,
Здравствуй, морозная жуть
Филиновых владений!

Край мой,
Кедровый мой!
Усталь, жара иль истома —
Всюду иду я домой,
В дебрях везде я дома.

На недоступной тропе
Рыскают злые рыси...
А у меня о тебе
Самые добрые мысли.

Каждому кедру грубя,
Бродит кабан красноглазый...
А у меня про тебя
Самые нежные сказы!

ГЛЕБ ПАКУЛОВ

ОБИДА

Ты со мной ни добрее,
ни строже.
Стал я вроде не к месту
заплаткой.
Ранней-ранью по новой
пороше
Пробираюсь к твоей палатке.
С кем смеешься ты в ней,
нехорошая?
Будто сыплешь
на блюдечко грошики!
Над следами большими
и маленькими
Я стою, заметаю
их валенком.
Только под ноги бросится,
рада мне,
Твоя лайка по кличке
«Маршрут».
И обида — десантником
падает,
Не успевшим раскрыть
парашют.

* * *

Работе не видно ни дна, ни покрышки.
То весь я дома, то нет меня...
Под вечер пришлепал соседский парнишка,
сказал:
— Дядя Гена, раскрась коня.—
Я кисть обмакнул в белопенную краску
И выстелил гриву метелью белой.
Пузырь потянулся ручонкой за красной,
потребовал:
— Этой!.. Не надо мелом.—
И кто-то еще, тугощекий и шалый,
Ворвался в квартиру и хлопнул дверью...
Прости, мое детство. Конечно же — алым!
Я видел когда-то под всадником зверя.
В руке у наездника — шашка-радуга,
Мается ветер в косматой бурке.
Красный скакун с темно-синих на́дуг
Звезды ссекает копытом гулким!..
Мы вместе коня перекрасили заново!
Уто́пал пузырь мой, мое соседство.
Почаще, вот так бы, без стука, внепланово
Нас навещало глазастое детство.

П, РЕУТСКИЙ

НЕСБЫВШЕЕСЯ

И нет конца, и нет начала
Моим несбывшимся мечтам.
Вновь прохожу по тем местам,
Где ты, счастливая, скучала.

Как пароход, ищу причала.
Гореть, гореть моим мостам.

Пух с тополей летит порошей.
Его движенья так легки.
Не подаю друзьям руки.
Сегодня просто я прохожий.

Упал, во всем с тобою схожий,
Луч света поперек реки.

Я никогда не перестану
Ждать, восторгаясь и скорбя.
Мне недостанет лишь тебя,
Когда я, бедный, жить устану.

Чуть слышно лось проходит к стану
Тревогу тайную трубя.

Хотел бы жить начать сначала,
Чтоб все не так и все не там.
Но гордость ходит по пятам.
Ты не ждала и не скучала.

А я опять ищу причала
Моим несбывшимся мечтам.

ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ

Я ушел от огня,
Полонящего степи.
Ветер вынес меня
Из пучины морской.
Жажду странствий храня,
Пустыня, как пепел,
Жгла меня,
маня
Бесконечной тоской.
Я такой, я такой.
На последней минуте
Помашу вам рукой —
Забегу как-нибудь.

Может, будет другой
В синеглазом уюте.
Где-то новой строкой
Я отмечу свой путь.
Чуть со мною побудь
Перед дальней дорогой.
Не забудь, не забудь
Того первого дня.
Я вернусь, как-нибудь,
Поседевший и строгий,
И еще в один путь
Ты проводишь меня.

МАРК СЕРГЕЕВ

СТИХИ ИЗ КНИГИ „ВСТУПЛЕНИЕ В ОСЕНЬ"

* * *

День рожденья,
день рожденья —
тихий свет.
Это как предупрежденье —
сорок лет.
С кем ты в дружбе,
с кем ты в ссоре,
кто ты сам?
...Точно мед скатилось сорок
по усам.
На пиру
и на похмелье
был я, был.
Пил обиды. И веселье
тоже пил.
Воевал за убежденья,
видел свет.
Это как предупрежденье —
сорок лет.
А печаль моя —
как морок —
по лесам.
...Как роса скатилось сорок
по усам.
Сколько я своих успехов
обронил!
Сколько я чужих огрехов
боронил!
Неудачи, пораженья,
боль побед.
Это как предупрежденье —
сорок лет.
Только вышедшему в море кораблю
я завидовать пока повремению:
сорок лет, а я застенчиво люблю,
сорок лет,
а что имею —
не храню.
...От причала до причала —
новый след.
Начинаю все сначала
в сорок лет.

* * *

Ты помнишь: как ты шла в слезах.
Тропа кончалась.
Качался лес. В твоих глазах
тоска качалась.
Смешалось небо с молоком —
бело и сине...
Как прикасалась ты тайком
щекой к осине!
Как сосны за руки брала —
совсем малышки,
как в родниковы зеркала
швыряла шишки.
Шла по рассвету босиком —
по стылой стыни.
Смешалось небо с молоком —
бело и сине...
Бело и сине. И беда,
и мир расколот:
беда — она не лебеда,
не сваришь в голод,
и не раздвинешь, как тальник,
как цвет не скосишь,
сосновой шишкою в родник
ее не бросишь...
Ты шла по лесу. Наугад.
Сминала хвою...

Как я навечно виноват
перед тобою.

* * *

Сжигают прошлогоднюю траву,
весенние расплескивая палы.
Ах, палы! Что упало — то пропало,
ушло зеленым дымом в синеву.

Сжигают прошлогоднюю траву,
чтоб новой было легче народиться,
чтобы земле — блаженно нарядиться.
Огонь весенний, я тобой живу.

Сжигают прошлогоднюю траву,
бросаю в пламя все, что чуждым стало.
Ах, палы! Что упало — то пропало,
Не стоит пеплом посыпать главу...

Сжигаю прошлогоднюю траву.

РОСТИСЛАВ СМИРНОВ

ГАРМОНИЯ

...Стою на солнечном перроне я...
Поселок — в зелени садов.
...Есть небывалая гармония
В движенье мерном поездов.

...Гул моря ночью — монотоннее,
И всплески волн — едва слышны.
...Люблю я постигать гармонию
В дыхании морской волны.

...Когда на темном небосклоне я
Черты созвездий находил,—
Я познавал,
что есть гармония
В путях космических
светил.
Она — явление извечное,—
И отвергать ты не спеши
Гармонию всечеловечную —
Единство тела и души.

* * *

Нет, не в счет для меня — километры.
Хуже — даль разобщенных сердец.
Пусть же снова
дорожные ветры
Этой дали
положат конец.
Даже тех,
кто душой загрубел,—
Изменяют недели разлуки.
Снова к строчкам потянутся руки
Так же сильно,
как сердце — к тебе.

ГЕОРГИЙ ЭДЕЛЬМАН

ВОРОБЬИ

Дурные птицы воробьи:
Зимой не улетают к югу
И в утлых гнездышках своих
Встречают снег, мороз и вьюгу.

Ни сильных крыльев для борьбы,
Ни красок ярких и богатых.
Неприхотливей нет судьбы
Из всех известных мне пернатых.

Но сколько мужества подчас
Таит в себе такая птаха,
В тайге не покидает нас,
Не зная устали и страха.

Ей ни к чему чужой уют,
Ей Родина всего дороже...
А воробьи вокруг снуют
И чем-то душу мне тревожат.

Нет птицы, кажется, смелей.
Ужель морозиться охота?
А с ней, признаться, веселей
И лучше спорится работа.

Пусть кто-то воробья зовет
Порой дурным, судить не будем.
Мне ж по душе такой народ
С его извечной тягой к людям.

ГАЛЕРЕЯ „АНГАРЫ“

А. ФАТЬЯНОВ

А. Р. МАДИССОН

Простота, выразительность, живописность — вот основные качества работ А. Р. Мадиссон, демонстрировавшихся нынче на ее персональной выставке в Иркутске.

После знакомства с выставкой понимаешь, что это художник, тонко чувствующий все нюансы света, а когда обозреваешь ее графические работы, особенно в технике офорта, акватинты, сухой иглы или линолеума, то перед вами предстает большой мастер гравюры, блестяще владеющий формой и композицией, линией и объемом, четкостью пятна. Ее гравюры просты и лаконичны, выразительны и понятны зрителю. Они воздействуют на него своей непосредственностью и своеобразием восприятия виденного. Особенно интересны линогравюры последних лет. Они своеобразны, поэтичны и, я бы сказал, как-то сказочны. Казалось бы, иркутяне хорошо знают свой город, и все же линогравюры Мадиссон открывают нам новое, как красивы отдельные уголки города Иркутска, опоэтизированные творчеством художницы.

Для того чтобы лучше понять творческое лицо художницы, кратко проследим ее жизненный путь.

Александра Рихардовна Мадиссон родилась в Самаре 27 марта 1900 года. Отец ее эстонец, мать русская. В 1917 году она заканчивает сызранскую гимназию и до 1920 года работает сельской учительницей.

Любовь к рисованию у Александры проявилась уже в раннем детстве в Самаре. В гимназии ее называли «наш художник». Девушка мечтала после завершения курса поступить учиться в Академию художеств. Бурные годы Великой Октябрьской революции, затем гражданская война, голодные годы в Поволжье — оттянули осуществление этой мечты. Только по прибытии в Эстонию в январе 1921 года она успешно выдержала вступительные экзамены в Высшую художественную школу «Паллас», которая находилась тогда в Тарту. В этом городе, родине ее отца, она поселилась на постоянное жительство.

Александра Рихардовна учится в живописном ателье под руководством опытного художника и педагога Адо Ваббе — воспитанника Парижской художественной школы.

К концу шестилетнего курса в высшей художественной школе «Паллас» выпускникам давался годичный срок для исполнения самостоятельных творческих работ. Каждый из дипломантов уже без помощи преподавателя применял на практике все те знания, которые получил за годы обучения.

В мае 1927 года на выставке лучших выпускников школы Мадиссон представлена двадцатью шестью работами. Для приема выставки и присуждения звания художника из Таллина приехала специальная авторитетная комиссия. За лучшую работу выделялась одна путевка для поездки за границу.

Долго неизвестно было имя счастливца, которому присудили заграничную командировку, и только спустя несколько месяцев, Александра Рихардовна случайно узнает, что эта поездка была присуждена ей. Присуждена, но не дана. Власти буржуазной Эстонии предложили не сообщать ей об этом, так как Мадиссон в тех условиях была политически неблагонадежна. Как она сама, так и ее родители считались людьми просоветской ориентации.

После шести лет учебы в художественной школе А. Р. Мадиссон посещала мастерскую Адо Ваббе для совершенствования в графике. Ваббе был не только хороший преподаватель живописи, но он в совершенстве владел техникой гравюры. Он научил ее высокой технике офорта, владению сухой иглой, акватинтой, меццотинто, ксилографией. Линогравюру Ваббе не терпел, и поэтому своим ученикам даже запрещал работать в этом материале.

После установления Советской власти в Эстонии, казалось бы, началась счастливая мирная жизнь. Но в июне 1941 года началась война. С первых же дней пришлось вести упорную борьбу с фашизмом. Вначале рыли окопы по защите города Тарту, а потом вынуждены были покинуть родные места. Вместе с престарелыми родителями пришлось под бомбежкой пройти длинный путь в глубь страны, на Восток. Больной отец, нездоровая мать — при таком положении двинулись пешком до Гатчины, а оттуда уже поездом прибыли в Кунгур. Здесь работали на уборке урожая. И только в сентябре 1941 года семья прибыла в Иркутск. В годы Великой Отечественной войны А. Р. Мадиссон активно работала по созданию антифашистских плакатов Агитокон ТАСС.

На последней выставке мы видели ранние, довоенного периода, работы Александры Рихардовны. Они чудом были спасены и доставлены художницей из страшного пекла фашистского нашествия. Когда А. Р. Мадиссон покидала Тарту, она прихватила с собой этюдник — неизменный спутник художника. Через все невзгоды и сложные препятствия рисунки были донесены до Иркутска и сохранены до наших дней. Вот поэтому-то мы сейчас увидели здесь тонкие офорты, нежные меццотинто и акватинто, выразительные листы, выполненные сухой иглой, созданные А. Р. Мадиссон до Великой Отечественной войны. Следует обратить внимание на одну из них —«Любимое занятие», выполненную в 1936 году. Интимный вечерний мотив, где за столом сидит пожилая женщина, занимающаяся своим любимым делом — вязанием. Перед нею на столе стоит старинная керосиновая лампа, освещая лицо, фигуру и плоскость стола. Контрастные световые блики и глубокие тени создают впечатление тишины, уюта. Хотя работа выполнена в одном черном цвете, благодаря разнообразию техники она получилась живописной. Несмотря на то, что изображена одна женщина, мы чувствуем, что она находится в окружении своей семьи.

К сожалению, много живописных работ погибло при бомбежке и пожаре Тарту. И мы сейчас можем судить о них только по отзывам в печати того времени. Молодая художница числилась в ряду интереснейших живописцев Эстонии. Одна из газет тогда писала: «Работы Мадиссон на выставке по своему колориту в соединении с формой являются одними из симпатичнейших экспонатов. Она в своих работах последовательна, гармонична, приятна и зрела. Ее портреты выполнены с большим настроением, а натюрморты насыщены цветом». О живописных вещах также лестно отзывалась и другая газета: «Мадиссон страстно любит свет и цвет, ароматы и свежесть. В своих работах она выступает очень непосредственно и уверенно. Обладает широким мазком, который отлично передает переливающиеся блики и зеркальность отражения».

Выставку, прошедшую нынче в Иркутске, можно по праву назвать юбилейной. Двадцать пять лет Александра Рихардовна прожила в Иркутске. Четверть века, то есть более одной трети ее жизни прошло здесь. Этот период ее творчества самый плодотворный и интересный. Она обрела новую родину, всем сердцем полюбив этот замечательный сибирский край. Иркутск с его исключительно красивыми окрестностями, Байкалом, Ангарой — вот что очаровало здесь Мадиссон. Да и само окружение людей Сибири — простых и отзывчивых, мужественных и честных, прямолинейных и добродушных — привлекло к себе художницу.

Выразительна работа «Портрет девушки» (1962 год), выполненная в технике меццотинто. На зрителя внимательно смотрят задумчивые и умные большие глаза. Лицо девушки строгое, но задушевное. Портрет влечет к себе зрителя глубокой психологичностью.

Труден и сложен творческий процесс художника. Казалось бы, перед нами простые листы линогравюр, изображающие уголки сибирской природы и городские пейзажи Иркутска. Но прежде чем достигнуть этой простоты и лаконичности, автору пришлось испортить много листов, много переделывать, перекомпановывать, убирать лишнее, ненужное и загромождающее работу.

Следует обратить внимание на линогравюру «Когда яблони цветут» (1965 год). Солнечный день. Аллея. На первом плане изображены цветущие яблони, на фоне которых на массивной скамейке сидят две девушки-студентки. Тонкие белые переливы цветущих яблонь, вдали темнеющая глубина парка создают живую картину прелести паркового пейзажа. И казалось бы невероятным, что черно-белые контрастные линии линогравюры могут так



А. Р. Мадиссон. Портрет девушки. Меццотинто



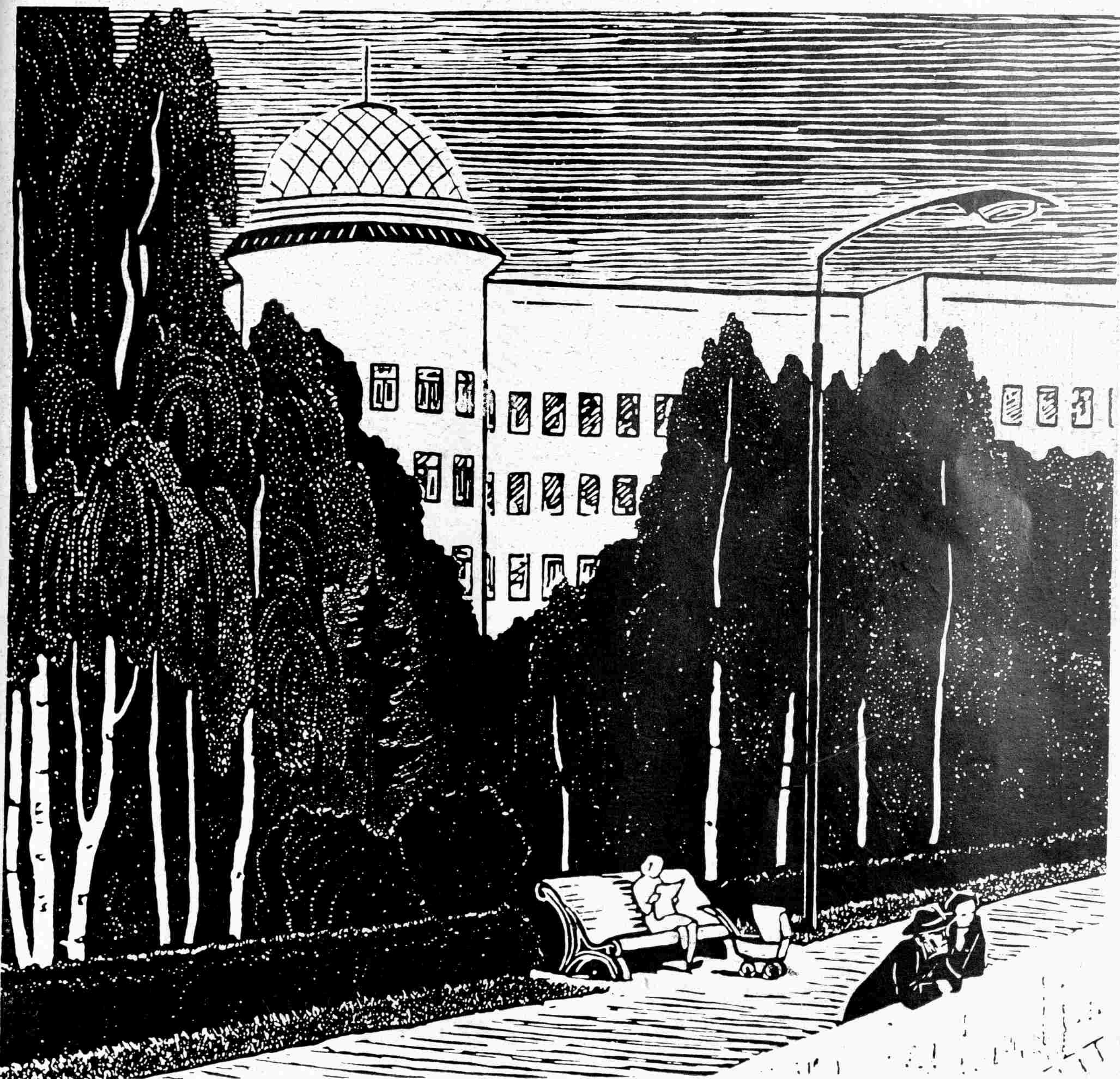
А. Р. Мадиссон. Жатва. Масло



А. Р. Мадиссон. Когда яблони цветут. Линогравюра



А. Р. Мадиссон. Зимняя сказка. Линогравюра



А. Р. Мадиссон. Набережная. Линогравюра



А. Р. Мадиссон. *Лыжники. Линогравюра*



А. Р. Мадиссон. Любимое занятие. Офорт



А. Р. Мадиссон. Портрет. Сухая игла

верно и впечатляюще передать состояние солнечного сибирского дня.

Сибирская сказочная суровая таежная природа в линогравюре «Зимняя сказка» (1965) запела особой прелестью нашей зимы. Художница заставила заговорить черные сочные пятна, которыми создала полнейшую иллюзию таежной зимней сказки декабрьского вечереющего дня. Мы смотрим как бы в упор на заходящее солнце. На горизонте резким контуром выделяются таинственные суровые сопки, а на переднем плане стоят величественные сибирские лиственницы, сосны и кедры, оставляя длинные тени от заходящего солнца.

Линогравюры последних лет (в этой технике она сейчас работает) проникнуты глубокой поэзией, остро выразительны. Они привлекают к себе своей ясностью, четкостью и доступностью понимания.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Я сидел на литературном вечере в Политехническом.

В первом отделении выступали поэты и они напомнили мне, что именно здесь, в этом зале, раздавался когда-то голос Маяковского. Но во втором отделении стало скучновато. Маленький одутловатый человек в тяжелых очках читал главу из нового романа. После фейерверка поэтических образов проза выглядела тускловато. А ведь это был интереснейший писатель. Что ж поделаешь, «в одну телегу впрячь не можно...» К тому же зрителям мешала плешивая голова автора, как нарочно нацеленная в зал своей поблескивающей макушкой.

Я не оговорился, назвав слушателей зрителями. Люди, сидящие в зале, должны же на что-то смотреть. Но смотреть было не на что, и зрители, не захваченные чтением, вежливо зевали.

Невольно зевнул и я. Тут мой сосед встал и тихонько направился к выходу. Я последовал за ним, благо сидели мы с краю. В фойе я раскрыл портсигар, и он потянулся за папиросой. Мы закурили.

— Не понимаю,— сказал мой собеседник, худощавый, совершенно ничем не примечательный человек, — зачем прозаики залезают на эту трибуну. Поэты — да, но прозаики...

— Очень важно проверить написанное на читателях. Проверить впечатление,— высказал я довольно банальную мысль.

— При таком чтении впечатление всегда будет одно — скука. Да, мы ведь незнакомы! Арканов, физик, — озорно улыбнувшись, представился он.

— Вербин, лирик,— ответил я ему в тон.

Мы шли под мелким моросящим дождем. Арканов говорил:

— Читатель — непременно сопереживатель, а потому — сотворец. Так что здесь очень важен общий для обоих душевный настрой. Поэты такой настрой создают. Но прозаики, когда читают сами... далеко не всегда. Прозу должен исполнять большой мастер...

— Как, впрочем, и поэзию.

— Да, пожалуй. И все же...— Арканов на минуту умолк и вдруг спросил:— А в будущем? Как, вы думаете, будут проходить такие вечера в будущем?

Я пожал плечами.

— Очевидно, так же. Как и при вещем Бояне.

— Так же? Один творец будет... даже не творить на глазах публики, нет, а пересказывать результат творческого акта. А остальные? Зевать, как сегодня? Боян хоть на гуслях себе подыгрывал.

— Как же, по-вашему, это будет завтра?

Арканов остановился.

— Вы не очень спешите? Тогда зайдемте ко мне, и я вам покажу... нет, расскажу, как это будет завтра. Я тут недалеко живу.

Я еще раз пожал плечами и согласился.

Арканов провел меня в свой кабинет. Это был обычный кабинет ученого —с книжными стеллажами, заваленными под потолком кипами журналов, с черным кожаным диваном и бюстом Ломоносова. В свободном от книг уголке стоял какой-то особенный, с большим овальным экраном телевизор, а напротив него — покойное глубокое кресло.

Арканов протянул мне ключ.

— Зачем?

— Вы замкнете кабинет. Это необходимо для чистоты эксперимента. Я буду в соседней комнате. Вам нужно сесть в это кресло.

— Только и всего?

— Только и всего.

Я покосился на телевизор с необычной антенной — двумя полусферами, направленными

на кресло. Он перехватил мой взгляд и улыбнулся.

— Не беспокойтесь. Это безопасно, как леденец.

Уходя, он погасил свет. Я закрыл дверь на замок и опустился в кресло.

Через минуту слабо зазвучала какая-то знакомая мелодия. Звук был приятный, чистый. Потом на экране вспыхнула яркая оранжевая полоса — и рассыпалась снопом медленных искр.

Я твердо решил сопротивляться непонятному эксперименту, не поддаваться насилию техники, а для этого неотрывно думать о своем. И я стал думать о своем.

А на экране возникали причудливые сочетания цветовых пятен. Сначала я ничего не мог уловить в них, кроме яркой игры красок, но потом как-то неожиданно игра цвета слилась с мелодией музыки. На экране звучала борьба. Зловещие багровые всполохи теснили золотое сердце экрана, порой вовсе подавляли его, и тогда золотой слиток метал фиолетовые молнии. Экран пел о красоте подвига...

«Скрябин, — вспомнил я. — Прометей. Поэма огня! Вот оно что...»

Пожалуй, это была последняя моя «самостоятельная» мысль. Экран покорил меня.

...А борьба продолжалась. Золотое сердце сжималось, пульсировало, билось, и все слабее становились багровые всполохи, все ярче разливалась вокруг голубая заря восхода. А потом мир зазеленел нежной молодой зеленью, и зашумели листья травы, защебетали птицы, зеленый ветер всколыхнул золотистые волны колосьев...

Это была победа света над мраком, разума над темнотой, жизни над небытием. Это была победа Человека.

Зеленый цвет, цвет жизни, окрасил экран.

...Это был большой зал, освещенный мягким зеленым светом. Откуда исходил свет, невозможно было определить. В зале сидели люди, много людей.

На возвышение под большим, во всю переднюю стену сферическим экраном взошел человек в тяжелых роговых очках. Я узнал его — это был тот самый сегодняшний прозаик, с чтения которого мы удрали. Он поклонился и сел в кресло. Тотчас же в зале зазвучала мягкая музыка и на экране за его спиной вспыхнула яркая оранжевая полоса...

Я сидел в зале, среди многих людей, приглашенных на этот литературный вечер будущего. И когда на экране зазвучала цветомузыка, я уже знал: это настройка. Так настраивает инструменты оркестр. Мысли и чувства писателя и его будущих «читателей» должны звучать на одной душевной волне, сохраняя, однако, так же как инструменты в оркестре, свою неповторимую индивидуальность, определяемую жизненным опытом и характером каждого.

Склонившись над маленьким столиком, писатель нервно перебирал какие-то бумажки — нечто вроде плана выступления или тезисов доклада. Никакой толстой рукописи перед ним не было. Писатель волновался.

Экран погас, и в зале наступила полная тишина. Никто ничего не говорил и не делал, в том числе и автор. Я видел лица нескольких соседей. У многих были закрыты глаза, у других открыты, но люди разом хмурились и разом, как бы сквозь сон, улыбались. Все слушали насыщенную мыслями тишину.

Люди думали. Люди грезили. Люди творили.

А маленький человек за пультом, как дирижер оркестра, только направлял поток их мыслей и грез в нужном направлении, смирял и будоражил фантазию, изредка заглядывая в свои записи, как дирижер — в партитуру симфонии. Но и он не шевелился. Он только сидел и думал.

Люди творили. Это были люди будущего, и они сразу настроились на нужный лад. Я же, новичок на литературном вечере, слишком возбужденный обилием впечатлений, видимо, не сумел настроиться на одну волну со всеми. И теперь очень жалел об этом. Жалел, потому что люди, творившие в зале, были вдохновенны, как вдохновенен погруженный в себя бронзовый опекушинский Пушкин.

Внезапно что-то случилось — и все исчезло, как в кино, когда рвется лента. Грезы оборвались. Я увидел перед собой стену аркановского кабинета и даже успел заметить, что сижу лицом к стене, а не к телевизору. Потом грезы вернулись. Эти досадные помехи возникали еще несколько раз, но я уже не обращал на них внимания.

После первой паузы случилось чудо. Каким-то образом я вдруг настроился и включился в слушание, а вернее, в сотворчество того романа, с которым выступал сегодня писатель...

Это был, безусловно, фильм. Но не фильм звука и действия на плоскости, а фильм мыслей и чувств. Я слышал голоса людей, героев фильма, когда они говорили, но слышал также их мысли, а точнее, был свидетелем и соучастником их переживаний.

То, что я увидел, простой смертный пересказать не в силах — это было на уровне ве-

личайших творений человечества. Только гораздо более впечатляюще, чем в чтении. Вероятно, это было так же увлекательно, как одновременный процесс чтения и создания гениального романа — если только возможно такое совмещение!

И еще меня поразило, что главным героем этого замечательного произведения был я — я сам!— а многие действующие лица напоминали дорогих мне людей. Я видел свою жизнь — и в то же время не свою...

Я видел, как горит моя родная деревня. В резких порывах ветра волчком крутилось тугое жаркое пламя, выбрасывая столбы черного дыма. Искры летели на толпу, и я, сидя на руках у тетки, пытался ловить их ручонками.

(Мне было тогда два года, и я, конечно, не мог ничего запомнить. Но тетка рассказывала после войны, что все это я видел. Неужели же воскресли в памяти уже стершиеся младенческие воспоминания?)

Фашистские солдаты приволокли и швырнули к ногам толпы седого старика в дымящейся одежде — деревенского учителя. Непонятные лающие слова покрыли шум пожара. Офицер в черном что-то спрашивал толпу, указывая на старика. Толпа испуганно молчала. Офицер выхватил пистолет и в упор выстрелил в учителя. Старик упал лицом к земле. Но, уже почти мертвый, повернулся из последних сил и поднял к небу грозный, карающий кулак. Автоматная очередь прошила толпу...

Я видел цветущий перелесок. Над цветами, тяжело гудя, хлопотали пчелы. Девушка, почти девочка, в пестром ситцевом платьишке шла рядом со мной. Она смеялась, и черемуховая кисточка в ее волосах вздрагивала от смеха. Мы шли вдвоем по узкой тропинке, держась за руки, касаясь друг друга плечом, и земля пела под ногами.

А потом она сидела в траве и плакала, спрятав лицо в ладони. И повторяла чужим деревянным голосом слова, которые означали для меня конец света: «Нет, нет, я тебя не люблю! Я тебя не люблю...»

(Она действительно плакала, но я не понимал тогда, отчего она плачет, когда плакать надо мне. А она жалела себя. Жалела, что ее полюбил совсем не тот, кого любит она. И она не хотела быть жестокой, как был жесток с нею другой, но ничем не могла помочь мне, а потому еще больше жалела себя).

Мы возвращались обратно, и праздничное цветение черемухи усугубляло мою катастрофу. Мы шли с боков тропинки, по высокой траве, чтобы случайно не задеть друг друга плечом, а тропинка между нами оставалась свободной, будто шел по ней невидимый третий.

«А теперь поцелуй меня,— сказала она строго.— Один раз. На прощанье. И забудь навсегда».

И она ушла из моей жизни — действительно навсегда...

Я видел... Много я видел. Но, к сожалению, мой пересказ похож на увиденное в такой же мере, как тень человека — на самого человека.

Я увлекся. Мое воображение парило над облаками. Мои мысли неслись вперед, как дикие кони. Уже завязывались новые сюжетные узлы, уже пыталось стремительно раскрутиться действие, но что-то сдерживало меня...

И вдруг я очнулся. Зеленый зал стоя рукоплескал смущенно раскланивающемуся автору. Маленький человек в тяжелых очках торопливо рассовывал по карманам уже ненужные бумажки. Я тоже изо всей силы захлопал в ладоши этому человеку, подарившему мне вечер счастья, вечер сплошного творчества, вечер чистого вдохновения.

Меня вывел из оцепенения стук. В комнате было темно, но там, где светилась узкая полоска, стучали. Я сидел в том же кресле, лицом к стене. Я встал и с удивлением узнал аркановский кабинет. За моей спиной темнел безжизненный телевизор.

Щелкнул замок. За дверью стоял Арканов. Он вошел в кабинет, зажег лампу, протянул мне пачку «Беломора». Я с жадностью закурил и только теперь почувствовал, как сильно устал.

— Это по телевизору?— спросил я. Голос мой прозвучал хрипло, незнакомо.

— Нет,— ответил он с усмешкой.— По «телевизору» шла только цветомузыка. Да вы и не могли бы его видеть, после настройки кресло повернуло вас лицом к стене.

— Верно,— согласился я.— Я заметил.

Он нахмурился:

— Заметили? Во время сеанса?

— Да, несколько раз что-то случалось... будто рвалась лента в кино.

Он задумчиво покачал головой, зачем-то тронул полусферы антенн — и рассмеялся.

— Трамвай? Ну конечно, трамвай скрипел на повороте! Значит, он отвлек мои мысли, только и всего. Нечто вроде короткого замыкания...

— Скажите,— взмолился я,— что это за гениальный роман? Я понимаю, все это из будущего.. Но на самом деле?

— Роман?— изумился Арканов.— Это не роман. Это я вспоминал свою жизнь.

— Свою жизнь?

— Разумеется. А разве похоже на роман?

— Странно, странно! Но почему же я не мог включиться в начало романа, а потом ни с того ни с сего включился в середину?

Арканов опять весело рассмеялся:

— Голубчик мой! Это типичная ошибка восприятия. Ведь вы сидели не в зеленом зале, а здесь, у меня в кабинете...

— Ну и что же?

— А то, что я должен был показать вам сначала сам вечер — и я думал о вечере. А уже потом стал вспоминать свою жизнь. Не мог же я представлять разом и то, и другое!

— Вы специально занимаетесь этим... искусством будущего?

— Ну нет, я занимаюсь тем, что на языке быта можно назвать непосредственной передачей мысли.

— И вы знаете, в чем суть передачи мысли? Физическая суть?

— Пока не знаю. Но это отнюдь не мешает мне экспериментировать. Пользовались же древние моряки компасом, не зная, как вы выражаетесь, физической сути магнетизма. А здесь главное — настройка...

— И еще. Искусство будущего... вы думали о нем раньше?

— Представьте себе, никогда. Только сегодня, на вечере в Политехническом, вспомнились мне слова Ленина о том, что искусство должно принадлежать народу. Вот я и проимпровизировал один из возможных вариантов. Спорно? Согласен! Но я же не лирик. Я всего-навсего физик...

Я шел по вечерней Москве. Редкие прохожие шарахались от меня, как от пьяного. Да я и был пьян. По каким улицам шел, как добрался до гостиницы — не знаю.

И очень жалею теперь, что не запомнил, где живет Арканов. Я долго искал его, этого загадочного «физика». Искал через институты, через Академию наук, через справочное бюро. Все напрасно! Единственное, в чем я смог удостовериться: физика Арканова в Москве попросту не существует.

Очевидно, тогда, при выходе с литературного вечера, он назвал мне вымышленную фамилию. Впрочем, как и я ему. Но он-то, по всей вероятности, имел для этого основания. А я?..

Ю. БОГОРОДСКИЙ

На Таглее

ОЧЕРК

Стоял ноябрь. Начиналась зима. На улице хозяйничал ветер. Он прилежно завывал, стараясь нагнать тоску, дребезжал стеклами, швырял снежную пыль.

Месяц назад закончились полевые работы. Теперь мы живем дома и наслаждаемся домашним уютом, от которого здорово отвыкли за лето. Но странное дело: прошло немного времени, и мы начали подумывать о будущем лете, о новых походах. Воображение услужливо рисовало картины одна соблазнительнее другой. Тогда-то я и услышал впервые о Таглее. Наш препаратор как-то сказал:

— А неплохо было бы, ребятки, выбрать время да съездить на Таглей...

Зерна упали на благодатную почву...

Предложение казалось тем более заманчивым, что ни в научной, ни в какой другой литературе о Таглее ничего не говорится. В известном смысле, Таглей — белое пятно. Конечно, не ахти какое, но все-таки пятнышко. Не часто представляется случай побывать в подобных местах. Вы бы отказались от такой возможности?

Таглей — крупное озеро в бассейне Темника. Расположено оно на высоте около 1400 метров над уровнем моря в северной части Малого Хамар-Дабана. Место таежное и пока довольно глухое. Машинных дорог туда еще нет. Ближе чем на восемнадцать-двадцать километров к озеру не подъедешь. Дальше идет тропа. У местного населения вода озера считается целебной. Каждое лето на Таглей съезжаются люди, страдающие ревматизмом и кожными заболеваниями.

Позже, роясь в архивах Кяхтинского краеведческого музея, я узнал, что на Таглее бывали и экспедиции. Где-то в 1927—1928 годах там был известный краевед П. С. Михно. Осенью 1936 года на берегах озера побывала группа участников Хамар-Дабанской экспедиции краеведческого музея под руководством С. А. Успенского. В следующем, 1937 году, в районе озера работали сотрудники Иркутского противочумного института. Но все эти экспедиции были кратковременны.

Этим, пожалуй, и ограничивались сведения, которые удалось раздобыть, пока шла подготовка к экспедиции. Первый свой выезд в Таглей мы совершили в июне-июле 1963 года, второй — в августе-сентябре 1964.

Деревня Номто — последний населенный пункт на пути к Таглею. Добрались туда к вечеру. Начинался дождик. В здешних местах это самое худшее. Дожди в горах продолжительны, самое малое идут по трое суток кряду. Иногда во время такого ненастья дождик прекращается, облака подбираются, становится светлее. Но потом из-за какой-нибудь горы вновь вываливается мутный туман, тяжело сползает по склону, цепляясь за деревья, обволакивает все вокруг, и с новой силой начинает хлестать холодный небесный душ.

На следующее утро, несмотря на непогоду, решаем двигаться дальше. Нужно спешить, пока дорога не раскисла окончательно. Да и жаль терять драгоценные дни. В тот день удалось продвинуться еще километров восемь-десять. Добрались до пустующего зимовья в узком распадке. Дальше дороги нет. Дальше пешком...

А дождь, то утихая, то припуская вновь, все льет и льет. Почва раскисла. По дороге несутся мутные ручейки, перескакивая через корни и камни.

К утру погода не изменилась. Но надо идти. Сразу же от избушки тропа поднимается в гору все выше, выше. И скоро деревья и дождь заслонили полянку — место нашего временного лагеря.

Вероятно, очерк следовало бы начать с описания соленых троп — этих лесных дорог, обильно политых нашим потом. Проклятая тропка забирает все круче и круче. Свинцом виснет груз за спиной, не хватает воздуху, слабнут ноги. Мелькает трусливая мыслишка: «И дернул же меня черт ввязаться в эту историю!» Но постепенно втягиваешься. И только после коротких привалов все труднее и труднее подымать понягу с грузом, да натруженная спина горит, как сплошная рана.

Наконец перевал! Внизу далеко впереди видно озеро. Темно-синее, неправдоподобно синее в солнечный день, сейчас оно отсвечивает сталью. Поражает его величина. Хотя в действительности в длину оно всего километров семь, а в ширину — полтора-два. Вероятно, на Успенского Таглей произвел такое же впечатление. В своем дневнике он, описывая озеро, наделяет его гораздо большими размерами.

В плане озеро подковообразной формы. С юго-востока в него вдается лесистый полуостров. Отсюда, с перевала, он кажется горбом какого-то гигантского диковинного зверя.

Берега озера и окружающие его пади заняты своеобразными пустошами, густо поросшими круглолистой березкой, болотным багульником, рододендроном, голубикой. Во многих местах пустоши сильно заболочены. Вскоре мы это испытали на себе. Дожди заполнили до краев мочажины, углубления между кочек, толстый моховой покров напитался водой, ручьи разлились. Кругом вода: и сверху, и снизу. От нее не спасли даже болотные сапоги.

Тяжело в тайге. Тайга для человека — это прежде всего труд и еще труд, труд тяжелый, ежечасный.

Первый день на Таглее. Раннее утро туманное, но дождь наконец-то прекратился. Потом из-за гор поднялось солнце, и туман засветился серебристым светом. Постепенно сквозь него стали проступать деревья, кусты, сначала ближние, потом удаленные. Дольше всего туман держался над озером. Оно еще дремало, укрывшись его пушистым одеялом. И только часам к десяти растаяли последние белые клочки.

С чем сравнится чувство радости и бодрости, которое всегда появляется после длительного ненастья, когда уже почти уверуешь в то, что нет больше в мире ни солнца, ни голубого неба, но когда природа вдруг словно по волшебству меняется и щедро дарит свет, тепло, красоту! Для них первый солнечный день на Таглее был как праздник. Или в самом деле так оно и есть, или под обаянием именно этого дня было единодушно решено, что Таглей — одно из красивейших мест.

Потом начались будни. Дни проходили в работе и в заботах о хлебе насущном. Но обаяние первого дня не пропало. Труд стал праздничным и легким. И только частые дожди могли умерять нашу восторженность.

Целью экспедиции было составить по возможности полный видовой список птиц и зверей этих мест. Не было дня, который не принес бы нам чего-нибудь нового.

На озере масса водоплавающих. С раннего утра и до ночи на водной глади «пасутся» нырки, турпаны, гоголи, ближе к берегу — кряквы, чирки. Кажется, что они совсем не двигаются, сидят, будто приклеенные. Но в бинокль видно, как они медленно переплывают с места на место, часто ныряют.

Летом на Таглее, а особенно в конце лета и в начале осени, легко найти себе пропитание. К этому времени созревают ягоды, кедровые орехи, много грибов и живности. Бери ружье или котелок и отправляйся за обедом. Вот и сегодня иду на охоту.

Утро, как обычно, росистое и туманное. Мелкие капельки густо покрыли лесные травы. И оттого они кажутся седыми. Невольно подумалось, что эта седина — признак осеннего старения природы. С восходом солнца роса высохнет, и лес снова окажется зеленым и зрелым. Но все-таки с каждым днем все больше и больше осенних красок. Будто роса, испаряясь, уносит с собой часть зелени. Краснеют кустики иван-чая, желтеют листы майника и лесной фиалки. Цветы остались тоже только осенние. Доцветает кое-где иван-чай, покачиваются блекло-синие горечавки, на полянках красно-бурые метелки конского щавеля, цветы тысячелистника и еще чьи-то желтые зонтики.

Поблекла хвоя на кедрах, на березах желтые пряди. А одну молодую березку встретил всю желтую. Стоит, спрятавшись за ствол лиственницы, и выглядывает из-за него радостно и чуточку смущенно. Совсем как девочка в новом платье...

В лесу тихо-тихо. Серебристая паутина. Ловчие сети кажутся обрывками кружев, развешанных на кустах... И вдруг меж берез на толстом поваленном стволе сидит заяц и шевелит ушами! Попался, косой!

Грохот выстрела на миг грубо смял тишину леса. И словно что-то изменилось. Все вроде осталось таким же: и туман, и паутина, и седые травы, и тишина вновь восстановилась. Но все равно что-то изменилось. Лес будто не затих, а застыл, пораженный. Словно боясь встретить чей-то укоризненный взгляд, я быстро пошел в лагерь, неся за задние лапы тяжелого теплого зайца...

Там, где из озера вытекает единственная речка Таглейка, на крутом берегу на небольшой вырубке расположился «дикий курорт». Несколько примитивных навесов из жердей и веток — вот и все его «павильоны». А говорят, что в иные годы сюда съезжаются десятки и даже сотни человек. Люди живут в шалашах, палатках, едят вдоволь, дышат чистейшим таежным воздухом, несколько раз в день купаются в речке. Не знаю, что больше: или целебные свойства воды, или благотворное влияние природы, а скорее и то и другое, помогает избавляться от недуга. Целебные свойства воды не могут вызывать сомнений. Иначе как объяснишь широкую известность Таглея? Ведь сведения об использовании воды озера в лечебных целях тогдашними местными жителями тунгусами восходят к восемнадцатому веку!

На мысу у истока Таглейки стоит маленькая деревянная кумирня. Здесь буряты приносят дары духам озера, просят исцелить их. В кумирне — изображение Будды, жертвенные чашечки, масса хлебных корок, лепешек, кусков сахару. Здесь же вырезанные из дерева фигурки животных и людей, изображения различных предметов. Ветки лиственниц и ив увешаны пестрыми лоскутками ткани.

Таглей еще ждет своих исследователей. Возможно, со временем на его берегах будет организована настоящая лечебница. А пока что...

Сознавая, какую опасность представляет скопление большого количества людей, страдающих различными заболеваниями, работники районной санэпидстанции забрались в эту глухомань и разрушили примитивные деревянные ванны, в которых купались «курортники». После этого местом купания стала Таглейка.

Есть и еще одна опасность. Почти каждый приезжающий на Таглей привозит ружье и охотится в свое удовольствие. На такую «мелочь», как утки и рябчики, здесь мало обращают внимания. В основном преследуют косуль, изюбрей, сохатых. По берегам озера во многих местах разбросаны выбеленные солнцем и дождями черепа этих животных. Таглей ждет своего хозяина.

Местами по берегам озера встречаются довольно крупные озерки. Особенно много их в юго-восточном углу Таглея. Берега этих озерков круто, как обрезанные, обрываются на большую глубину. Кое-где они провалились в воду и увлекли с собой прибрежные лиственницы. Вода от большой глубины кажется черной-пречерной. Эти озера-провалы своим происхождением, видимо, обязаны древнему леднику, когда-то покрывавшему весь Малый Хамар-Дабан. Водная растительность из-за большой глубины не развивается. Утки редки. Все это придает озерам зловещий и загадочный вид. Что там, в глубине, под толщей прозрачной и вместе с тем непроницаемо темной воды? А ну как сейчас всколыхнется вода, забурлят волны, и покажется го-

лова какого-нибудь допотопного ящера? Шутки шутками, а при таком возбуждении, вызванном необычайностью окружающего, обыкновенное полено можно принять за диплодока. И понесет молва новое сенсационное известие об очередном чудовище...

В конце августа над озером появились большие стаи журавлей. С грустным курлыканьем птицы летели к югу. Лес надел свой последний праздничный наряд. Осень... Здесь в горах она приходит рано. Скоро-скоро, в конце сентября появятся первые льдинки... Собираемся и мы. Просушиваем и упаковываем коллекции, приводим в порядок имущество. Предстоит трудный обратный путь по горным таежным тропам.

Погода и на этот раз не балует нас. Опять идет дождь. Опять мы шлепаем по мокрой скользкой тропе, переходим заболоченные пустоши. Вечером вышли на удаленную лесосеку. Вышли обросшие, оборванные, смертельно усталые и счастливые. Счастливые оттого, что повидали новое, оттого, что состоялась эта экспедиция, и оттого, что она, наконец, окончилась. Здесь нас уже ждала машина. Теперь домой!

Прощай Таглей!

О. ПАТУШИНСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕГО ПРИСЯЖНОГО ПОВЕРЕННОГО О ДВУХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ РЕВОЛЮЦИОНЕРА И ЗНАМЕНИТОГО ПАРТИЗАНА НЕСТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА КАЛАНДАРАШВИЛИ

В своей автобиографии отец так писал о днях, проведенных в Иркутске под арестом царской охранки:

«В этот раз жандармерия в лице самого начальника—полковника Васильева, очевидно, решила покончить со мной не мытьем, так катаньем. Не предъявив никакого обвинения, она арестовала меня и десять месяцев продержала в одиночке, лишив прогулок, свиданий, передач табаку... На две объявленные мною голодовки по девять суток с требованием предъявить мне обвинение, полковник Васильев отвечал: «К чему обвинения, их найдется двадцать...»

Мама всю жизнь помнила об этих черных днях в жизни отца. Она тогда не знала, как ему помочь. Маме было еще трудно потому, что она только приехала в Иркутск, по-русски не могла связать двух слов и не надеялась на чью-либо помощь.

И все же встретился в Иркутске человек, который подал руку помощи. Им оказался Осип Борисович Патушинский, молодой адвокат, поверенный присяжный, который решил бесплатно защищать политического заключенного. Не один раз он навестил отца в тюрьме, сумел настоять, чтобы маме позволили свидания с отцом, ускорил начало судебного процесса.

Защитная речь Осипа Борисовича на суде часто прерывалась сочувствующими аплодисментами. Он опроверг все обвинения, которые предъявлялись отцу. После суда отец вышел из зала без конвоя, вместе с мамой...

Я искренне благодарна Осипу Борисовичу за то, что он рассказал о событиях тех далеких лет.

Н. Каландарашвили.

В Иркутске перед центральным парком культуры стоит монументальный памятник. Он представляет группу людей, в центре ее высокий пожилой мужчина, в левой его руке красное знамя, а правая простерта вперед. Этот человек — известный революционер, организатор сибирских партизанских отрядов Нестор Александрович Каландарашвили.

В память революционных заслуг именем Нестора Александровича названа одна из улиц города Иркутска.

Случаю было угодно, чтобы я задолго до революции как присяжный поверенный дважды защищал «политического преступника» — революционера Нестора Александровича Каландарашвили. С тех пор прошло более пятидесяти лет, и вполне понятно, что многое исчезло из моей памяти так же, как исчезли многие листки из моего досье об этих процессах, и остались только пожелтевшие от времени записки. Они-то и дали возможность написать воспоминание о процессах Нестора Александровича Каландарашвили, дочери которого я посвящаю мою работу.

Год 1910
К ПРОЦЕССУ Н. А. КАЛАНДАРАШВИЛИ

В конце моего приема в кабинет вошла высокая стройная женщина с очень правильными чертами лица и большими красивыми черными глазами. Она была бледна и сильно взволнована. Я предложил ей кресло. Как выяснилось, это была Христина Леонтьевна Каландарашвили.

Сильно волнуясь, она сказала, что ее муж Нестор Александрович Каландарашвили арестован полгода назад и содержится в Иркутской тюрьме, без предъявления обвинений.

В записке, полученной сегодня через вышедшего из тюрьмы человека, Нестор Александрович писал, что его неоднократные жалобы прокурору и председателю окружного суда остаются без ответа.

— Я прошу вас, — сказала она, с глазами, полными слез,— помочь Нестору, а мы вам заплатим.— На слове «заплатим» я прервал Христину Леонтьевну.

— Прошу не говорить об оплате! Ваш муж, очевидно, рассматривается как политический преступник, мы, присяжные поверенные, защищаем политических бесплатно.

Моя посетительница, успокоившись, рассказала, что муж ее, когда жил в Тифлисе, часто писал в газетах и, как неблагонадежный, был выслан в Иркутск.

После моих обещаний помощи она несколько успокоилась.

— Как можно держать полгода человека в тюрьме и не сказать ему, в чем он виноват?!— волновался я. Такого в моей адвокатской практике еще не было.

Жаль мне было пришедшую ко мне женщину, потому что в отношении ее мужа, я полагал, готовилось какое-то грозное обвинение. Это предположение полностью подтвердилось.

Утром следующего дня я уже был у прокурора иркутского окружного суда. На мой вопрос, почему Н. А. Каландарашвили содержится полгода в тюрьме, без предъявления ему обвинения, прокурор, пожимая плечами, сказал: «Ответ может дать только генеральный прокурор, по распоряжению которого он и содержится». На этот раз мне удалось только получить от прокурора пропуск в тюрьму для свидания с Каландарашвили. В эту минуту я вспомнил своего старшего брата — известного адвоката Григория Борисовича Патушинского. В 1901 году, в день моего окончания юридического факультета Московского государственного университета, при поступлении в сословие присяжных поверенных округа иркутской палаты он подарил мне портфель, на котором было выгравировано:

Иди к обиженным,
Иди к униженным
По их стопам.
Где горе слышится,
Где тяжко дышится—
Будь первым там.

И вот, когда мне приходилось ездить в тюрьму, я всегда как заповедь повторял про себя эти строки.

Так было и в тот день, когда я поехал на первое свидание с Н. А. Каландарашвили.

Открыв дверь в тюрьму, я увидел, что приехал в день свиданий с заключенными. Подавая пропуск конвойному офицеру, я с огорчением узнал, что свидание мне было разрешено через решетку. Трудно себе вообразить большее глумление над несчастными людьми, чем свидание арестованных с близкими через решетку. Комната освещена слабо. Чтобы лучше разглядеть пришедшего на свидание, арестант как бы прилипает к решетке, то же самое делает пришедший с другой стороны — с внешней. Для того чтобы лучше услышать друг друга, они начинают кричать. Когда к первому, уже говорящему арестанту подводят с обеих сторон еще арестантов, старающихся изо всех сил перекричать других — что-то понять становится совсем невозможно.

Мне, как адвокату, не один раз приходилось разговаривать с заключенными через решетку и потому я заранее занял крайнее место и стал ждать. Конвойный немного опоздал, и я увидел Нестора Александровича уже тогда, когда свидание почти кончалось и крики и шум значительно стихли.

Нестор Александрович показался мне человеком высокого роста, брюнет, лет тридцати, нешироким в плечах. Особенно бросалась в глаза не по возрасту значительная проседь, пробившая неподстриженную бороду и пышные густые волосы на его голове. Черты лица его были правильны. С небольшой горбинкой нос, высокий белый чистый лоб и под ним большие черные глаза. Их металлический блеск и крепко сжатые, красивого очертания губы говорили о бесстрашии и твердой воле. Голос его был мягкий, приятный, баритонального характера. Говорил Нестор Александрович негромко и не спеша. Легкий акцент выдавал в нем грузина. Особенностью его при разговоре были частые, короткие вдыхания.

Я рассказал ему, что вчера была у меня на приеме Христина Леонтьевна, что я обещал ей защищать мужа, если будет в этом надобность, что сегодня был у прокурора, что он ссылается на Петербургскую прокуратуру, что сам ничего не знает и не может освободить Каландарашвили до особого разрешения из Петербурга. Нестор Александрович поблагодарил меня и просил передать жене, что он здоров и просит ее меньше тратиться ему на передачи.

На этом окончилось мое первое свидание с Нестором Александровичем Каландарашвили.

Когда я подошел к дверям, чтобы ехать домой, конвойный офицер сказал мне:

— Начальник тюрьмы просит вас пройти к нему в кабинет.

— Вы согласились защищать Каландарашвили?— спросил он меня, и когда я ответил утвердительно, то сообщил, что Каландарашвили только неделю выпущен из-под двухмесячного пребывания в особой камере, куда он был посажен по распоряжению прокурора за буйный характер, и затем, понижая голос и наклоняясь ко мне, он сказал:

— Сидеть более полгода без предъявления обвинения, да ведь это хоть до кого доведись, станешь буянить.— И, затем, он уже громко сказал:— Приезжайте в тюрьму через три дня и тогда я дам вам свидание с Каландарашвили в моем кабинете.

Нужно ли говорить, как я был обрадован таким обещанием.

Ровно через три дня я был в кабинете начальника тюрьмы. Любезно встретив меня, он вызвал конвойного офицера, приказал привести к нему в кабинет заключенного Каландарашвили.

Когда Нестор Александрович вошел в кабинет начальника тюрьмы, последний отослал конвоира, предложил мне сесть на широкий диван и движением руки предложил сесть и Нестору Александровичу, а сам стал разбирать какие-то бумаги, считать и что-то писать: казалось, что он не обращает на нас никакого внимания. В таких условиях мне, конечно, лучше удалось разглядеть Нестора Александровича. Красивое лицо его показалось мне особенно спокойным и ясным. Я много узнал от него.

Садясь на извозчика, чтобы ехать домой, взволнованный свиданием с Нестором Александровичем, я подумал о том, что хорошего человека можно встретить и даже в этом «мертвом доме» в лице начальника иркутской тюрьмы.

Приехав домой, я встретил у себя Христину Леонтьевну. Со слезами на глазах она слушала мой рассказ о свидании с Нестором Александровичем в кабинете начальника тюрьмы. Успокоившись, Христина Леонтьевна обратилась ко мне со следующими словами:

— Я действительно жена Нестора Александровича. Наше грузинское общество, боясь, что меня могут арестовать и преследовать, как его жену, выдало мне документ, что я его сестра.

Свидания с Нестором Александровичем, то в кабинете начальника тюрьмы, то на общих основаниях, я получал на протяжении почти двух лет.

Спустя год, я выхлопотал разрешение и Христине Леонтьевне на свидание с мужем на общих основаниях.

Но вот однажды на свидании с Нестором Александровичем он протянул мне бумагу. Это был обвинительный акт. К сожалению, в моем архиве его не оказалось. Помню хорошо, что сущность его заключалась в обвинении Нестора Александровича в действиях, направленных на свержение существующего политического строя. В обвинительном акте были указаны свидетели обвинения.

Нестор Александрович просил судебную палату вызвать в суд свидетелей. Эту просьбу судебная палата удовлетворила. В первых числах декабря 1910 года слушалось дело Нестора Александровича. Хорошо помню, что председательствовал председатель иркутской судебной палаты сенатор Н. П. Ераков при членах судебной палаты Драницине и Мигале. Секретарем был назначен старший кандидат на судебную должность А. Дрошин.

Обвинял прокурор судебной палаты Петухин-Кошелев.

К защите Нестора Александровича Каландарашвили был допущен присяжный поверенный О. Б. Патушинский.

Обвиняемого доставили под сильным конвоем и посадили в зале судебной палаты за деревянную загородку. Он находился под охраной сменяющихся конвойных солдат. В зале было много публики.

После обычного опроса подсудимого секретарем был зачитан обвинительный акт. На вопрос сенатора Еракова, признает ли подсудимый себя виновным, Нестор Александрович дал отрицательный ответ. Началось судебное следствие. После привода свидетелей к присяге они были опрошены. Как хорошо заученный урок, свидетели обвинения дословно повторили свои показания, данные ими на предварительном следствии. Но когда председательствующий, члены палаты и защитник стали задавать им вопросы, те так растерялись и до того, как говорится, невпопад отвечали, что ни у кого не могло оставаться сомнения — они говорили на предварительном следствии и здесь на суде неправду.

Видя, что у обвинения уходит почва из-под ног, прокурор стал задавать своим свидетелям так называемые наводящие вопросы в надежде получить желательные ему ответы. Но из этого ничего не вышло, отчасти вследствие растерянности, а также из-за несообразительности свидетелей обвинения.

Затем стали давать показания свидетели защиты. Совершенно спокойно они говорили о том, чему были действительно свидетелями. Это были факты, исключающие возможность доверять обвинителям.

После того слово было предоставлено прокурору иркутской судебной палаты Петухину-Кошелеву. Он хорошо понимал, что обвинение Каландарашвили провалилось. Но что в таком случае прокурору делать? По закону прокурору, выступающему на суде в аналогичных случаях, предоставлялось право отказаться от обвинения, но ведь это дело было политическое. Отказаться от обвинения Каландарашвили он не решился и предпочел ссылаться на показания свидетелей на предварительном следствии, хотя и знал, что это незаконно. Он обвинял Каландарашвили, не считаясь с тем, что в случае признания подсудимого виновным, тот будет приговорен к непоправимому наказанию.

После речи прокурора слово было предоставлено мне.

— Господа судьи,— начал я свою речь,— вы знаете, что Нестор Александрович Каландарашвили, ввиду его неблагонадежности, был вынужден покинуть родину. А неблагонадежность — это та благоприятная почва, на которой можно, при желании, вырастить любое обвинение, от небольшого до самого страшного включительно.

Затем я перешел к опровержению улик, в том числе смехотворных показаний свидетелей обвинения. Говорил о тщетных попытках прокурора спасти свидетелей обвинения путем наводящих на желательные ответы вопросов, указывал на честные, правдивые показания свидетелей защиты, не оставивших камня на камне от обвинения, затем высказал уверенность в том, что показания свидетелей, как несомненно подсказанные и потому нечестные, должны быть судебной палатой исключены из числа судебных доказательств.

— И еще одно обстоятельство,— сказал я,— требует разъяснения. Судебная палата не занималась неблагонадежностью подсудимого Каландарашвили и в этом заседании даже не ставилось такого вопроса, а потому считаю себя вправе просить вас, господа судьи: когда удалитесь на совещание, вы должны забыть о неблагонадежности подсудимого и решить только один вопрос: виновен или не виновен Нестор Александрович Каландарашвили в преступлениях, инкриминируемых ему?

И затем я должен остановить внимание судебной палаты на том, что за этой перегородкой, окруженной конвойными солдатами, сидит человек, более двух лет просидевший в каменном мешке под тяжким гнетом тюремного режима. Я напомню слова самого генерал-губернатора, в указе которого ясно сказано, что каждому арестованному в течение двух недель должно быть предъявлено обвинение или он должен быть освобожден, и только по большим и серьезным делам и с разрешения генеральной прокуратуры срок может быть продлен. Следовательно, Каландарашвили могли держать в тюрьме полтора месяца. Ясно, что следователь и прокурор, наблюдавший за действием следствия по делу Каландарашвили, совершили уголовно-наказуемое преступление. Но я знаю, что они не будут привлечены к уголовной ответственности и не сядут на скамью подсудимых, а Нестору Александровичу никто не вернет здоровье, потерянное им в тюрьме.

После моей речи судебная палата ушла на совещание, длившееся больше двух часов. Когда судебная палата возвратилась, сенатор Н. П. Ераков зачитал приговор, которым Нестор Александрович был оправдан и немедленно освобожден из-под стражи. Приговор был встречен рукоплесканиями.

Действительно ли Нестор Александрович был виновен в инкриминируемых ему преступлениях, или же он — жертва грубого произвола высших следственных властей?

На этот вопрос все свидетели защиты ответили разом: «Да, Нестор действительно совершил все то, в чем его обвиняли».

И кто знает, быть может, еще находясь на скамье подсудимых, он уже обдумывал план убийства иркутского генерал-губернатора Селиванова.

Замечательно было в Несторе Александровиче еще то, что в разговорах со мной, его защитником, в течение двух лет он решительно ничем не проявил своей виновности и потому я защищал его, веря в его невиновность.

Каким же нужно было обладать характером, силой воли и редким самообладанием, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах не выдать своих чувств.

КО ВТОРОМУ ПРОЦЕССУ НЕСТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА КАЛАНДАРАШВИЛИ

Намерения Каландарашвили убить генерал-губернатора Селиванова стали известны иркутскому жандармскому управлению. Снова Нестор Александрович оказался в одиночной камере тюрьмы.

Спустя немного времени были арестованы по тому же делу еще девять человек. Все они были посажены в одиночку, под самым строгим режимом.

Дело было озаглавлено: «Дело Каландарашвили и др.» Дознание производилось. Время шло. Свиданий с арестованными не разрешалось.

Но вот жандармское управление получило большой материал. Дело должно было быть передано военному прокурору, но начальник иркутского жандармского управления полковник Васильев по известным только ему одному причинам не передавал собранные материалы военному прокурору.

Но как же быть? Ведь Н. А. Каландарашвили и другие сидят в одиночках десять месяцев!

И вот тогда начальнику жандармского управления приходит в голову счастливая идея. Прокурор иркутского окружного суда Повало-Швыйковский был известен ему как человек нерешительный, робкий, раболепствующий перед жандармским управлением. Полковник

Васильев сам едет к Повало-Швыйковскому, захватив с собой все акты дознания по делу Н. А. Каландарашвили Он просит Повало-Швыйковского принять это дело. Тот согласился и скоро был наспех написан обвинительный акт и передан вместе с делом в распорядительное заседание суда.

Здесь я должен остановиться на одном обстоятельстве. Судебной реформой 1863 года была установлена гласность суда. Этой реформой был установлен также принцип несменяемости судей. Несменяемость судей говорила о том, что судья мог быть смещен только в том случае, когда о нем состоялся обвинительный приговор суда. Эта несменяемость судей делала их независимыми от вышестоящего начальства, которому не дано было право снять их с работы. Это были наиболее развитые передовые люди. Им хотелось чего-то большего, лучшего На своей карьере они давно поставили крест. Им было безразлично отношение высшего начальства к выносимым им приговорам и определениям суда. К числу таких судей в то время принадлежали член окружного суда И. Г. Пестриков, организовавший первый народный театр в Посохинской аудитории, и П. П. Смирнов, независимость и свободолюбие которого выходили иногда далеко за границы закона.

К сожалению, ни Смирнова, ни Пестрикова не было в распорядительном заседании окружного суда, рассматривавшего дело о Каландарашвили, и потому обвинительный акт был окружным судом утвержден.

После того как дело перешло в гражданскую прокуратуру, я стал получать свидания с Нестором Александровичем, и два раза по моей просьбе получила свидание Христина Леонтьевна Каландарашвили как его «сестра», а затем, на одиннадцатом месяце, по просьбе Христины Леонтьевны я был допущен к защите Нестора Александровича и еще четверых из девяти заключенных.

И вот, наконец, Нестор Александрович и другие получили обвинительный акт, а вскоре им вручили и повестки о слушании их дела.

Ночь накануне рассмотрения дела все подсудимые провели очень тревожно, и подъем в камерах, в которых сидели Нестор Александрович и другие, начался раньше обыкновенного. В два часа они уже были построены во дворе тюрьмы, а в конце девятого часа их вывели из широких ее ворот. Под сильным конвоем арестованных повели в суд. Мы с Христиной Леонтьевной догнали процессию и ехали за ней. Христина Леонтьевна внешне была спокойна. У меня была уверенность, что ее муж будет оправдан.

Народ с обеих сторон окружил заключенных, и когда процессия дошла до здания судебных установлений (на площади Ивановской, ныне улице Пролетарской), то народу собралось во много раз больше, чем арестованных и конвоиров.

Следует сказать, что я договорился со своим помощником Н. П. Горевым, что я буду защищать Каландарашвили, Горделайдзе и еще трех подсудимых, он же должен защищать остальных.

К десяти часам мы уже были в суде. Я был доволен, когда в зал судебного заседания вошли из дверей совещательной комнаты председательствующий П. П. Смирнов, член суда И. Г. Пестриков и почетный мировой судья архитектор Мигаль.

После того как секретарь суда прочитал обвинительный акт, я попросил суд разрешить мне сделать небольшое заявление.

«Господа судьи! От имени защиты всех подсудимых мы не сомневаемся в том, что вы хорошо ознакомились с делом, особенно с показаниями свидетелей, на которых и было построено все обвинение подсудимых в покушении на жизнь иркутского генерал-губернатора Селиванова.

А между тем, ни в показаниях свидетелей, ни в прочих материалах дела вы не найдете никаких указаний о покушении на жизнь генерал-губернатора Селиванова. Свидетели говорили только о приготовлениях к покушению, но разве это одно и то же? Конечно, нет!

Ведь известно, что приготовление у нас ненаказуемо. И за иллюстрацией этого далеко ходить не приходится.

Допустим, я купил револьвер, чтобы убить своего врага, но потом оставил свой преступный умысел.

Так неужели же за покупку револьвера следовало меня предать суду? Вот в силу изложенных мной соображений — защита всех подсудимых просит вас настоящее дело производством прекратить и всех подсудимых из-под стражи освободить».

После моей краткой речи суд, позабыв спросить заключение прокурора, удалился на совещание. Не прошло двух-трех минут, как совещание закончилось и П. П. Смирнов зачитал определение, вынесенное судом. Сущность его заключалась в том, что в деяниях подсудимых, как установлено судом, нет ничего уголовно-наказуемого, в силу чего настоящее дело надлежит производством прекратить и всех подсудимых из-под стражи освободить.

Так позорно для иркутского жандармского управления закончился второй политический процесс Нестора Александровича Каландарашвили.

З. ТАГАРОВ

В. А. ОБРУЧЕВ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

...Арестантская повозка мчалась быстро. Она увозила в Сибирь нового узника. Позади Академия генерального штаба, знакомство и дружба с Н. Г. Чернышевским, сотрудничество в «Современнике», тайная революционная организация «Великорусс», а затем... А затем арест, допросы, позорный обряд гражданской казни. Монотонно звучат слова приговора суда Сената — три года каторги в Сибири.

За пазухой одного из сопровождавших жандармов лежит статейный список, где записано: «Из отставных поручиков лейб-гвардии Измайловского полка, за распространение неблагонамеренного воззвания, заключающего в себе порицание действий правительства с употреблением дерзких выражений, желания освобождения Польши и Южной России с введением конституции... лишен всех прав состояния и сослан в каторжную работу на заводы на три года»[1]. Это был Владимир Александрович Обручев — один из славной плеяды шестидесятников, публицист, соратник и друг Н. Г. Чернышевского, дядя знаменитого геолога.

...Арестантская повозка мчалась быстро. 16 июня 1862 года днем показался Тобольск — главный распределительный пункт каторжной Сибири. Здесь Обручеву было суждено провести несколько долгих месяцев — до конца октября. Он был помещен в одну из комнат небольшого одноэтажного флигеля во дворе тюремного острога. По вечерам острожная жизнь затихала и сквозь завывание осеннего ветра и шум дождя изредка доносилась далекая перекличка часовых. До поздней ночи горел огонек в камере Обручева — он в те ночные часы на время забывался, тюремные своды исчезали и им овладевали чарующие шекспировские образы. В. А. Обручев не расставался с томиком Шекспира — подарком Н. Г. Чернышевского.

Заточение в Тобольском остроге скрашивалось прогулкой по городу в сопровождении переодетого жандарма. Тобольск жил воспоминаниями о только что уехавшем М. И. Михайлове. Поэт и революционер был принят здесь сочувственно и это отношение перенеслось на Обручева. Как-то в начале июля через Тобольск проехали Н. В. и Л. П. Шелгуновы. Они ехали для встречи с М. И. Михайловым, находившимся на Нерчинской каторге. Здесь произошла очень теплая и дружеская встреча Шелгуновых с Обручевым.

В последних числах октября Обручев покинул Тобольск. Дорога по каторжной Сибири потрясла его. Ему пришлось увидеть десятки арестантских партий и этапов. Люди шли в кандалах, прикованные к прутам, в рубищах, скрюченные морозом. Арестантские партии замыкали повозки с женщинами и детьми. Лязг цепей долго не смолкал в ушах.

Около одиннадцати часов утра 11 ноября В. А. Обручев прибыл в Иркутск. Сразу же его повезли к губернатору Щербатскому. Обручев немного постоял в прихожей, вышел губернатор, взглянул косо на него ради любопытства. Официальный «прием» закончился и Обручева поместили в темной и грязной квартире тюремного острога.

Через несколько дней определили место каторги Обручева — Александровский винокуренный завод (впоследствии был преобразован в Центральную каторжную тюрьму). Здесь он жил на квартире у местного крестьянина, работал в заводской канцелярии, и пользовался относительной свободой. На заводе В. А. Обручев встретился с первым декабристом В. Ф. Раевским. Старый декабрист каждый раз радовался встрече, много читал стихов. Вот как описывает Обручев декабриста: «Небольшого роста, довольно плотный, он носил коротко остриженные волосы и бакенбарды, быть может, несколько подкрашенные, но все еще черные. Русская речь — отличная, своеобразная. Минутами, когда он читал стихи или рассказывал что-нибудь возбуждающее, к нему возвращалась осанка человека властного, бесстрашного»[1].

В далеком Петербурге не забывают Обручева его друзья, близкие. 5 апреля 1863 года за небольшим тюремным столиком у решетчатого окна одиночной камеры Алексеевского равелина появились строчки: «Милый друг! Мы шли по одной дороге. Под Вами оборвалась крутизна, я продолжал идти, гордясь тем, что цел, отчасти стыдясь того, что цел — не очень долго: и подо мною оборвалась крутизна. И вот оба лежим разбитые. Это ничего, мы оба выздоровеем, опять пойдем своей дорогой, одной дорогой...» С этими теплыми словами обратился Н. Г. Чернышевский к главному герою романа «Алферьев». Прототипом же Алферьева был В. А. Обручев.

Не забывает революционера и... III отделение. В. А. Обручев осужден, отбывает каторгу, но не выдал тайны «Великорусса». 17 января 1863 года III отделение потребовало от иркутских властей сообщить о том,

---

[1] Государственный архив Иркутской области (ГАИО), ф. 24, оп 3, к. 39, д. 89, л. 2.

[1] «Вестник Европы», 1907, № 6, стр. 572.

где находится Обручев и каково его поведение[1]. Но В. А. Обручев никогда не терял самообладания, считал позором «клянчить, жаловаться, кипеть бессильной злобой», как он говорил. Поэтому жандармам только и оставалось отвечать: «поведения отличного».

В феврале 1863 года Обручева внезапно перевели в Забайкалье. 27 февраля 1863 года в сопровождении жандарма он прибыл в Петровский завод[2].

Здесь все напоминало о декабристах. На высоком безлесном холме выделялся большой белый крест, вытесанный и поставленный руками Лукина. Еще сохранился потемневший частокол острога декабристов. И, главное, здесь жил декабрист И. И. Горбачевский. В. А. Обручев сразу же поехал к нему. Его дом находился на главной улице. Навстречу ему вышел крупный мужчина выше среднего роста со слегка поседевшей головой. Пушистые усы и бакенбарды придавали внушительный вид этому доживающему свои дни видному члену Общества соединенных славян. Это был добрый и нежный, вежливый и деликатный человек.

И. И. Горбачевский сразу же полюбил обаятельного Обручева, и их дружба прервалась лишь со смертью декабриста в 1896 году. Видный декабрист на склоне лет встретился с представителем второго поколения русских революционеров и увидел, что их дело не пропало даром, искра, зажженная декабристами, не потухла. В минуту откровения Горбачевский 8 февраля 1868 года пишет Обручеву: «Сидя дома, в одиночестве, часто думая про себя, благословляю тот случай, который мне помог в моей жизни и в моем сердце заменить вами потерю моих прежде бывших товарищей, которых смерть унесла и которых я любил и высоко уважал; я в вас встретил их, я узнал, опять их вижу и слышу»[3].

В Петровском заводе В. А. Обручев работал в заводской столярной мастерской, давал уроки французского языка детям заводских чиновников. Вскоре прибыли на завод участники польского восстания 1863 года. Среди них он встречает гарибальдийца Луи Кароли, французского журналиста Э. Андреоли. Польские повстанцы видели в В. А. Обручеве революционера, пострадавшего за общие интересы польского и русского народов, и он дважды получил письма повстанцев с выражением сочувствия ему.

В. А. Обручев часто совершал прогулки в окрестностях Петровского завода, ездил в старообрядческое селение Тарбагатай. Природа солнечного Забайкалья очаровала его и оставила незабываемое впечатление.

Шел 1865 год. Вот уже три года, как Обручев в Сибири. Дни и месяцы идут медленно. Начальник Петровской горной конторы Таскин 3 июля 1865 года напоминает горному правлению о необходимости уточнить срок каторги Обручева. Ответ пришел через месяц и гласил: «Уволить вовсе от работ»[4]. Пришло время выхода на поселение. Во второй половине сентября 1865 года Обручев покинул полюбившееся ему Забайкалье, попрощался со ставшим бесконечно дорогим Горбачевским и поселился в селе Урик, недалеко от Иркутска.

Весной 1866 года В. А. Обручев оставил село и переехал в Иркутск, где его поселили в двух шагах от дома жандармского полковника Дувинга. Этот полковник ретиво осуществлял надзор за политическими каторжанами и ссыльными и вписал немало черных страниц в их без того тяжелую жизнь. Дувинг приходился двоюродным братом Обручеву, но от этого ему не стало легче. Жандарм-родственник не допустил встречи

[1] ГАИО, ф. 24, оп. 3, к. 39, д. 89, л. 12.

[2] Государственный архив Читинской области (ГАЧО), ф. 1, оп. 1, д. 111, л. 105.

[3] И. И. Горбачевский. Записки и письма. М., 1963, стр. 232—240.

[4] ГАЧО, ф. 31, оп. 1, д. 87, лл. 253—260.

В. А. Обручева с приехавшей в Иркутск О. С. Чернышевской. «В продолжение года с небольшим, проведенного мною в ближайшей ежедневной зависимости от этого человека,— писал Обручев,— он мне внушил такую ненависть, что я не только мучился от нее днем, но даже стал дурно спать... Был он взяточник большой руки».

Прошло почти семь лет со времени ареста В. А. Обручева. Шеф жандармов П. А. Шувалов вновь вспомнил своего узника и потребовал у иркутских жандармов добиться раскаяния Обручева и узнать имя человека, передавшего ему прокламации «Великорусса». В августе и декабре 1868 года Обручев дважды отвечает Шувалову. В ответах нет и тени раскаяния и содержится отказ сообщить требуемые сведения. «Мне остается только преклонить голову перед суровой необходимостью», «требования чести безусловны», «не считайте доказательством раскаяния безукоризненность моего поведения во все время ссылки»,— так писал Шувалову Владимир Александрович.

В Иркутске В. А. Обручев служил у иркутских купцов Трапезникова и Хаминова. Впоследствии в своих воспоминаниях он описал их как типичных представителей сибирского купечества. В. А. Обручев рассказывает, что Трапезников в молодые и средние годы кутил и пил много, играл крупно в карты. А вот и некоторые черты этого купца, отмеченные Обручевым: «И волчий рот, и лисий хвост несомненно тут были; и гнев, который, действительно, мог испугать; и улыбка необыкновенно тонкая была у него, и зловещая усмешка». По делам купцов Обручев выезжал в Николаевский железоделательный завод, в совершенстве изучил пушное дело и чайную торговлю. Были минуты, когда казалось, что не будет конца ссылки и хотелось уединиться. 20 апреля 1868 года он подает генерал-губернатору Восточной Сибири прошение с желанием вступить в крестьянское сословие и поселиться в глухом селении Барахоево, расположенном по Чикою. И даже было получено разрешение местных властей[1]. Но Обручеву не пришлось вновь ехать в Забайкалье — в 1872 году он получил разрешение переехать под гласный надзор полиции в город Верхнеуральск, Оренбургской губернии. 26 июня 1872 года Владимир Александрович навсегда покинул город на Ангаре и вновь замелькали этапы.

В. А. Обручев оставил интересное литературное наследство. Его работы занимают видное место в революционно-демократическом направлении дореволюционного сибиреведения.

В 1874 году в Одессе В. А. Обручев написал «Очерки сибирской жизни», затем их переработал и отправил М. Е. Салтыкову-Щедрину, которого знал еще по «Современнику». Очерки были приняты для опубликования в «Отечественных записках», но журнал закрыли, а рукопись затерялась.

В четвертом номере «Отечественных записок» за 1880 год появилась большая статья «Расчет», подписанная П. Ветлугиным. Это был литературный псевдоним В. А. Обручева. «Расчет» — одно из первых воспоминаний шестидесятников. В «Расчете» В. А .Обручев характеризует условия формирования своего мировоззрения. Автор тогда еще не мог писать о многом, о революционном движении 60-х годов. Многие страницы «Расчета» посвящены описанию природы и хозяйства Забайкалья.

Через два года, в шестом и седьмом номерах «Отечественных записок» появляется очерк Обручева «Прикащичья выучка». Это полубеллетристическое автобио-

[1] ГАИО, ф. 24, оп. 3, к. 1760, д. 11; ГАЧО, ч. 1, оп. 1, д. 330.

графическое произведение, где под именем якутского купеческого сынка выведен сам автор. Здесь Обручев описывает жизнь в Иркутске, службу у купцов Хаминова и Трапезникова, подробно разбирает характер кяхтинской и сибирской торговли.

В своих произведениях В. А. Обручев показывает бесправие бурятского народа, тяжелые условия труда на сибирских золотых приисках, на рыбных промыслах на Байкале. Хотя он относится отрицательно к разрушению патриархального крестьянского уклада хозяйства, объективно подвергает критике сибирскую действительность, выступает за просвещение народа.

Эти две работы В. А. Обручева, по существу, забыты и еще не оценены в сибиреведении.

В 1907 году революционный демократ вновь возвращается к воспоминаниям и в пятом-шестом номерах «Вестника Европы» печатает «Из прошлого». Вторая часть воспоминаний относится к сибирскому периоду.

Годы каторги и ссылки в Сибири оставили у Обручева неизгладимый след. Вспоминая об этом периоде жизни, он писал: «Я им обязан многими отрадными впечатлениями и развитием личности в направлении более близком к народу». Но и сам В. А. Обручев оставил заметный след в Сибири своими литературными трудами.

Б. ВЕРЖУЦКИЙ

ЭКСПЕДИЦИЯ 1866-го

Ровно сто лет назад, в начале 1866 года в Иркутске мало кому тогда известный зоолог Иван Семенович Поляков готовился к необычайному путешествию. К этому времени стали разрастаться золотые прииски на Лене. Кормить же армию рабочих в холодном скудном краю было нечем. И вот решено искать путь через Витимское плоскогорье, которое оставалось тогда на картах белым пятном, к степям южного Забайкалья, с их огромными стадами скота. Промышленники обратились в Сибирский отдел Географического общества с просьбой помочь им в смелом предприятии.

Многие члены Отдела имели за плечами большой опыт исследований, почти неразрывно связанных в те годы с дальними и опасными путешествиями. Полякову исполнилось лишь двадцать лет, но он уже был искушен в странствиях с научными целями. В предыдущем, 1865 году он в одиночку проделал сложный маршрут: добравшись из Иркутска до Лиственичного, он в лодке отправился вдоль берега Байкала на северо-восток. В устье Бугульдейки сошел на берег, пересек Приморский хребет, достиг верховьев речки Голоустной и перевалил через Онотский хребет в долину Ушаковки; по ней он вернулся в Иркутск.

На Полякова и пал выбор, когда для Витимской экспедиции стали подыскивать биолога. Хотя основная цель экспедиции была узко практическая, Отдел Географического общества не преминул воспользоваться оказией для получения разносторонних сведений о крае, куда русские люди до того не проникали. На Ивана Семеновича возлагалась обязанность сбора ботанико-зоологических материалов по пути следования отряда.

5 мая 1866 года Поляков выехал из Иркутска в Качуг. Начиная с Качуга, он уже использовал малейшую возможность для сбора гербария и коллекции животных, для наблюдения за своеобразной живой природой Верхоленья. Условия для работы натуралиста были, правда, не очень благоприятны: путешественники плыли на барке по обмелевшей Лене, то и дело садились на мель и с «Дубинушкой» налегали на шесты, чтобы проскочить мелководье. Иногда приходилось разгружать барку, чтобы облегчить ее.

Четвертого июня экспедиция, покинув прииск Тихоно-Задонский у устья Витима, вступила, как писал потом Поляков, в «пространство необитаемое, дикое, горной страны, которого не коснулась рука человека...» Начало пути предвещало мало хорошего. В отряде было двенадцать человек и пятьдесят две лошади. Животные несли тяжелые вьюки, они были связаны цепочками по пять-шесть вместе. С непривычки они бросались в стороны, сбрасывали вьюки. Как позднее выяснилось, уже через три-четыре дня путешествия набранные на приисках рабочие, измотавшись до предела, решили тайком сбежать и вернуться обратно. Они не сделали этого потому, что все участники экспедиции разделили тяжесть их труда. Вместе вьючили и развьючивали лошадей, следили за ними в пути, разбивали и собирали палатки. Научные материалы приходилось собирать лишь урывками, тратя на это редкие минуты отдыха.

Три месяца пробирался отряд, истязаемый гнусом и непогодой, через завалы, топи, сумасшедшие горные реки, через покрытые тайгой хребты. Иногда по нескольку дней приходилось тратить на преодоление одного перевала. И все же люди добились своего. В начале сентября отряд прибыл в Читу. Трасса была проложена, и вскоре по ней из степей в северную тайгу потянулись стада, несущие жизнь Ленским приискам. Поляков привез в Иркутск большой гербарий, сотни шкурок животных, драгоценные путевые дневники. Пять месяцев длились его скитания. По возвращении он начинает оформлять собранный зоологический материал в капитальный труд: «Географическое распространение животных в юго-восточной части Ленского бассейна».

Но в кабинетного ученого Поляков не превратился. Уже в следующем, 1867 году он по поручению Отдела Географического общества ведет исследования в Восточном Саяне и Тункинской долине. Почти вся жизнь этого талантливого и поразительно энергичного сибиряка, сына бурятки и бедного забайкальского казака, прошла в пути. Остановки он делал не для передышки, а лишь для обработки собранных материалов и... для учебы. Да, для учебы. Труды Полякова нашли всеобщее признание, когда он решил получить высшее специальное образование. За плечами у него было только Иркутское военное училище. И вот в 1868 году он отправляется в Петербург, чтобы поступить в университет. Снимая каморки на чердаках, зарабатывая на жизнь частными уроками, он стал сначала вольнослушателем университета, а затем, сдав экзамены на аттестат зрелости (за классическую гимназию), зачисляется в университет как полноправный студент. В 1871 году он уже оканчивает университет и вскоре защищает магистерскую диссертацию о грызунах России.

Витим оказался для Полякова стартом. Ученый прожил всего сорок два года, но судьба его может вызвать зависть у многих романтиков наших дней. Он покрыл маршрутами всю страну, от Онеги, Волги, Кавказа, Западной Сибири и Средней Азии до Сахалина. Не раз побывав за границей, он, между прочим, совершил морское путешествие от Сахалина через Японию, Сингапур и Суэц до Черного моря. Им написано множество статей и книг. Для земляков же, приезжавших в Петербург, он оставался добрым другом. Таким он перешел и в нашу память — достойный преемник сибирских землепроходцев-первооткрывателей, Иван Семенович Поляков.

П. МОИСЕЕВ

СЕРАФИМ СЕРАФИМОВИЧ ШАШКОВ

«...Народа он будил самосознанье,
Мысль от оков цепей освобождал...» [1]

Имя нашего земляка — С. С. Шашкова — было достаточно широко известно в России в последнюю треть XIX века. Это был прогрессивный историк и публицист, постоянный сотрудник демократического журнала «Дело» в лучшую пору его деятельности.

В некрологе, помещенном журналом в 1882 году, указывалось, что Шашков являлся последователем «славной стаи» писателей-разночинцев эпохи Чернышевского, Добролюбова, Писарева. В таком же плане Шашкова оценивали многие издатели и деятели его времени. Так, например, в «Неделе» можно прочесть: «По общему характеру своей деятельности Шашков принадлежал к литературе шестидесятых годов, лучшим традициям которой оставался верен до конца своей жизни» [2].

Являясь учеником А. П. Щапова, Шашков пошел дальше учителя. Формирование его взглядов совпало с расцветом революционно-демократической идеологии и соответствующей ей самой передовой в домарксистский период материалистической философии. По своим теоретическим и общественно-политическим взглядам он непосредственно примыкал к революционно-демократическому лагерю. После ссылки Чернышевского в Сибирь, смерти Добролюбова, арестов Н. А. Серно-Соловьевича, Писарева, закрытия журналов «Современник» и «Русское слово», Шашков вместе со своим другом Н. В. Шелгуновым и другими деятелями русской науки и публицистики в сложных условиях семидесятых-восьмидесятых годов, в обстановке невероятных цензурных преследований отстаивал идеи революционного демократизма.

Серафим Серафимович Шашков родился 5 ноября 1841 года в нашем родном Иркутске в семье священника, регента архиерейского хора городского собора. Отец С. С. Шашкова происходил из бедной крестьянской семьи, родных имел немного, все они жили по деревням Иркутской губернии, мало чем отличаясь от крестьян. «Дед — пономарь села Кутулик,— вспоминал С. С. Шашков,— один дядя был дьячком в Черемховой, другой, помнится, в Кимельтее... у меня были в Кутулике еще две тетки, одна замужем за крестьянином из ссыльных» [3].

[1] К. Дубровский. Рожденные в стране изгнания. Пг., 1916, стр. 149.
[2] «Неделя», 1882, № 36.
[3] «Восточное обозрение», 1882, № 28, стр. 11.

Отец Шашкова «...представлял из себя редкое между тогдашним духовенством явление по своей начитанности, был хорошо знаком с литературой, следил за журналами» [4]. Прирожденные способности позволяли ему быть одновременно и законоучителем в иркутском училище детей канцелярских служащих и учителем пения в девичьем институте. Главным же занятием отца был архиерейский хор, доставлявший возможность некоей творческой работы, хотя и мало приносил средств к содержанию семьи. Отец Шашкова работал в кафедральном хоре около двадцати лет и своим голосом «...прославился по всей Сибири, о нем говорили даже в Москве» [5].

Своим положением, однако, отец Шашкова далеко не был удовлетворен, «...ряса теснила человека, которому следовало быть оперным певцом».

Мать писателя — Серафима Дмитриевна — дочь купца из старинного рода Сибиряковых, игравших раньше видную роль в сибирской жизни, но впоследствии разорившихся. У Шашкова была младшая сестра и два брата, один из которых умер в младенческом возрасте.

Детство писателя прошло в доме родителей, которые постоянно и безуспешно боролись с нуждой. С раннего детства мальчик был предоставлен самому себе. Любимым занятием его была игра «в солдаты», что объяснялось соседством казарм. Но увлечение исчезло, как только он увидел «жестокое наказание солдата розгами». Сцены публичных телесных наказаний, наблюдаемые в раннем детстве, привели к тому, что у ребенка «... осталось навсегда отвращение от всякого мучительства, всякого насилия» [6].

«Жизнь вообще была и бессодержательная и мрачная,— вспоминал Шашков о своем детстве,— и только весна да лето приносили с собой много радостей. Когда таял снег и наш громадный огород превращался в настоящее озеро, я строил плоты и плавал на них в старом корыте, делал ветряные меленки, со страстью занимался птицеловством, целые дни проводил в саду, на дворе, на улице, лазил по крышам... Я рос, можно сказать, с уличными мальчишками» [7]. В результате этого в нем «...развилась нелюбовь ко всякому формальному стеснению, ко всякой церемониальности, которою он отличался всю жизнь [8].

[4] «Восточное обозрение», 1882, № 28, стр. 11.
[5] Там же.
[6] «Дело», 1882, кн. 10, ч. 2, стр. 3.
[7] «Восточное обозрение», 1882, № 30, стр. 11—12.
[8] «Дело», 1882, кн. 10, ч. 2, стр. 3.

Учиться Шашков начал дома с семилетнего возраста, необыкновенно быстро усвоив чтение. «Отцу не хотелось отдавать меня в бурсу,— писал он,— а на обучение... в гимназии у него недоставало средств» [1]. Подготовкой мальчика дома никто не руководил, отец только приносил ему книги «...а учиться предоставлял самому, даже почти вовсе не следил». Вследствие этого знания, полученные в беспорядке, были хаотичны и непрочны: «...русской грамматики, например, я никогда не знал, — вспоминал Шашков, — и усвоил «правила ее чисто навыком» [2].

Юный Шашков много читал, «...читал все, что ни попадалось». В числе книг, прочитанных писателем в детстве, упоминаются такие как «Путешествия Пифагора», «Тысяча и одна ночь», «Робинзон Крузо», которого Шашков прочитал «семь раз и знал наизусть», «цинический роман «Жизнь кавалера Фоблаза», взятый отцом у кого-то из братии Вознесенского монастыря» [3].

Бессистемные занятия, однако, не помешали ему успешно сдавать экстерном экзамены в иркутской бурсе. В 1854 году, сдав экзамены за полный курс, он «первым в списке товарищей» был переведен в иркутскую семинарию, в класс словесности.

В то время в иркутской духовной семинарии, располагавшей одной из самых богатейших библиотек Сибири, работали талантливые учителя, сыгравшие большую роль в идейном воспитании Шашкова. «Математику преподавал один из лучших учителей Иван Петрович Токарев...» Превосходно зная математику, историю, философию, И. П. Токарев прививал семинаристам прогрессивные по тому времени взгляды. В частности, именно от И. П. Токарева молодые люди впервые узнали об Адаме Смите, Рикардо и т. д.

В числе лучших учителей Шашков называл также преподавателей истории М. В. Загоскина и словесности Домского. «Они кое-что почитывали нам в классе и под секретом от начальства давали читать светские книги, исторические, русских авторов и т. д.» [4].

Вероятно, от М. В. Загоскина, Шашков получил первые уроки чтения революционной литературы. Тот познакомил своего питомца с журналом «Севременник» Чернышевского и Добролюбова, с «Колоколом» Герцена и Огарева, произведениями Радищева, стихами Некрасова и т. д. В том же направлении действовал и преподаватель словесности Домский, серьезно следивший за ростом Шашкова и «...дававший ему много книг» [5]. Шашков упоминает в числе своих учителей и Н. И. Попова, «на квартире у которого он жил два года» несколько позже.

Общественная жизнь Иркутска того времени была оживленной при относительно высоком уровне культуры населения. Современник отмечал, что «...город Иркутск по грамотности стоит очень высоко в сравнении с другими городами» [6]. «В 1858 году в Иркутске выписывалось 579 экземпляров журналов и газет 71 наименования, и 39 экземпляров иностранных периодических изданий» [7]. В городе работало несколько общедоступных библиотек и читален.

В Иркутске в XIX веке сосредоточивались громадные состояния купцов и золотопромышленников. Сибирская буржуазия и купечество терпели различные торговые и экономические ограничения от центральных властей и капиталистов России. Азадовский писал, что в Иркутске создавался «...своего рода штаб воинствующей сибирской буржуазии. Здесь находились главные силы, здесь были крупные капиталы, здесь было правление Российско-Американской компании, здесь же была и основная арена боев» [8]. Крупнейшие сибирские тузы, «отцы города» не хотели отстать от центральной России. Они открывали свои библиотеки, картинные галереи и т. д. Большую роль в повышении общей культуры населения и распространении революционных идей в Сибири сыграла так же ссылка, в первую очередь — политическая (декабристы, пленные шведы, поляки, петрашевцы, ссыльные поселенцы вообще и т. д.).

Все это предопределило и ускорило общественно-политическое воспитание Шашкова. Он рано начал «...интересоваться общественными вопросами, особенно бесчисленными ходившими по городу списками разных относящихся к России сочинений и газетными обличениями» [9].

В семинарии Шашков «...был не на лучшем счету, а ему хотелось быть первым, так как в этом заключалось единственное для него средство получить хотя какое-нибудь высшее образование» [10].

В 1857 году отец Шашкова вышел в отставку и переехал с семьей в Кяхту, где поступил «регентом купеческого хора». С целью окончания курса духовной семинарии Шашков остался в Иркутске и перешел на квартиру к Попову. В это время он «...часто бывал в театре, ходил в публичную библиотеку Шестунова, считавшуюся чуть не якобинским клубом, а в начале 1858 года начал печатать в «Иркутских губернских ведомостях» свои статьи о бурятах» [11].

В этих первых статьях, во многом еще незрелых и несовершенных, семнадцатилетний Шашков проявил себя тонким наблюдателем народного быта, историком и этнографом. В это время он пишет так же много стихов и сатир, часть из которых отправляет в журнал «Современник». К сожалению, из этих первых опытов писателя до сих пор ничего не найдено. Известно только, что выступление Шашкова в печати «не понравилось начальству» семинарии, вследствие чего литературные опыты молодого писателя на время прекратились.

В 1860 году Шашков блестяще закончил курс иркутской духовной семинарии и, как один из лучших учеников, со званием студента, «на казенный счет» был послан в Казанскую духовную академию для завершения образования. Средневековая регламентация всей жизни в духовной академии, в этой, по выражению М. В. Загоскина, «рассаднице духовного дурмана» [12], и схоластическая система обучения совершенно не устраивали молодого Шашкова. Уже через год «...академия опротивела ему хуже горькой редьки».

В академии Шашков сблизился с земляком — молодым бакалавром, профессором кафедр русской истории академии и Казанского университета — Афанасием Прокопьевичем Щаповым, оказавшим на него большое идейное влияние. Щапов обратил внимание на выдающиеся способности Шашкова и удерживал последнего в академии, «...убеждая продолжать занятия русской историей, чтобы после него вступить на кафедру...» [13] Однако этому не суждено было сбыться.

В 1861 году духовную академию потрясли события, связанные с вооруженным подавлением восстания крестьян в селе Бездна, Спасского уезда Казанской губернии. В Казани состоялась грандиозная манифестация с участием молодежи и студентов. На панихиде по жертвам бездненских волнений выступил с яркой речью

---

1 «Восточное обозрение», 1882, № 30, стр. 12.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же, стр. 13.
5 «Дело», 1882, кн. 10, ч. 2, стр. 3.
6 М. В. Загоскин. Иркутск и Иркутская губерния. Иркутск, 1870, стр. 97.
7 Иркутская Летопись. Иркутск, 1914, стр. 42.

8 М. Азадовский. Очерки литературы и культуры Сибири. Иркутск, 1947, стр. 58.
9 «Восточное обозрение», 1882, № 32, стр. 11.
10 «Дело», 1882, кн. 10, ч. 2, стр. 4.
11 Буряты Иркутской губернии, их нравы, обычаи, верования, легенды, песни. «Иркутские губернские ведомости», 1858, № 11, 12, 18.
12 Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, ОР, № 192/13, л. 2.
13 «Дело», 1882, кн. 10, ч. 2, стр. 4.

Щапов, заклеймивший позором царских убийц во главе с генералом Апраксиным. За эту речь Щапов был лишен кафедр, профессорского звания, духовного сана и выслан для следствия в Петербург. Были исключены из академии и студенты — участники панихиды, в том числе Шашков, Кочкин, Лебединский, Новицкий [1].

По предложению Г. З. Елисева, слышавшего о Шашкове от Щапова, молодой писатель переехал в Петербург, «...и тотчас по приезде... ...в 1862 году поступил в Петербургский университет» на Восточный факультет. Предполагалось, что Шашков примет участие в создававшемся Елисеевым журнале «Мирской толк», но издание не получило разрешения правительства. Шашков вынужден был сотрудничать в различных других журналах («Век», «Искра», «Очерки», «Современное слово»), где помещал свои статьи, перебиваясь на скудные гонорарные выплаты. Он был тогда еще «...плохо подготовлен, зарабатывал мало и бедствовал, ходил иногда без подошв, не обедывал месяца по два и, в конце концов, сильно расстроил свое здоровье» [2].

В Петербурге Шашков познакомился с известными областниками Н. М. Ядринцевым и Г. Н. Потаниным, которые в 1862—1863 годах начинали организовывать сближение студентов-сибиряков, учившихся в столичных вузах. На областников Шашков произвел впечатление: «Он основательно знал уже немецкий язык и читал много..,— писал Ядринцев.— Кроме того, у него было основательное знание истории и привычка заниматься научной литературой... это был самый образованный из моих земляков того времени. Способности у него были блестящие, память изумительная и трудолюбие замечательное... Я видел несколько раз в жизни,— восхищался Ядринцев,— с какой легкостью он усваивал и как овладевал языками и различными отраслями знания, изучая постепенно историю, юридические науки, экономическую литературу...» [3].

Свидетельством трудов Шашкова этого времени явилась серия статей по истории Сибири, опубликованных в столичных журналах в 1862—1864 годах. В этих статьях Шашков подробно рассматривал жизнь и быт коренного населения Сибири и Дальнего Востока, русских, бурят, чукчей, жителей Камчатки и других. Рассматривая две формы колонизации Сибири — вольнонародную и правительственно-приказную, Шашков высказывался в пользу первой. Он указывал, что народные переселения не отражаются отрицательно на положении коренного населения. Шашков критиковал царское правительство, насаждавшее рабство инородцев в Сибири. Подчеркивая культурную миссию России по отношению к неразвитым народам восточных окраин, он выступил с разоблачениями произвола властей, лихоимства и взяточничества чиновников.

Шашков подвергал всестороннему экономико-географическому анализу обширные территории Сибири, указывал на несметные природные богатства края. Больше ста лет назад он писал о Сибири, как о стране «...с выгодными экономическими условиями» и настойчиво проводил взгляд «...о великой будущности этой страны» [4]. Современный расцвет советской Сибири является наиболее убедительным подтверждением справедливости научных прогнозов Шашкова.

Шашков не разделял взглядов сибирских областников. Попытки последних втянуть его в организации сибирского землячества не поддерживал. Не случайно Ядринцев писал, что Шашков «...говорил мало о своих планах и произведениях, над которыми работал», а «...познакомившись со студентами..., не принимал никакого участия в весельях и кутежах» [5]. В вышеуказанных статьях о Сибири имеются лишь некоторые сходства с областническими установками по отдельным вопросам, не больше.

Осенью 1863 года из-за материальной необеспеченности и ухудшения здоровья Шашков вынужден был выйти из университета и покинуть Петербург. Этим временем и ограничивается систематическое образование Шашкова: один год в духовной академии и столько же в университете. Только постоянный и напряженный труд на протяжении всей жизни позволил Шашкову выдвинуться в число видных деятелей прогрессивной публицистики и русской исторической науки XIX века.

Приехав в Сибирь, он побывал в Иркутске, навестил родных в Кяхте и остановился в Красноярске. Здесь Шашков занимался учительством, принял активное участие в литературно-музыкальных вечерах, организуемых местными интеллигентами с благотворительной целью. Вскоре он сблизился с прогрессивно настроенными людьми из числа красноярской интеллигенции и в компании с настоятелем семинарии И. П. Тетюковым открыл в Красноярске частную школу. В объявлении было сказано, что предполагалось обеспечить «...преподавание всех предметов гимназического курса по началам, выработанным новейшей педагогией» [6]. В числе преподавателей значились И. П. Тетюков, С. С. Шашков, Е. Л. Лазарева, И. Ф. Лазарев, Е. В. Бострем, Иванов [7].

Школа, однако, просуществовала недолго. Вскоре, по решению местных властей она была закрыта из-за «неблагонадежности» самих преподавателей. Жандармерия увидела, что организаторы школы — «люди совершенно одинаковых направлений и стремлений», она опасалась, что эти лица «втерлись в качестве безвозмездных воспитателей», что они, занимаясь «преподаванием разных предметов в Красноярском детском приюте», уже пытались «главною целью привить свои идеи юношеству». Царская охранка имела основания считать Шашкова «человеком злонамеренным...», старающимся «захватить в свои руки со своими единомышленниками воспитание детей» [8].

Осенью 1864 года Шашков исхлопотал разрешение выступить с публичными лекциями в Красноярске. Содержание лекций, как указывал Шашков, было изложено в упоминавшихся выше статьях по истории Сибири.

Уже первые выступления Шашкова в Красноярске вызвали много толков и разговоров. В местной газете появились две разносные рецензии, за подписью «Житель Сибири» [9]. В них лектор обвинялся в излишней склонности к отрицательным фактам, связанным с колонизацией восточных земель, с эксплуатацией населения. На одну из этих рецензий Шашков поместил в газете ответ, в котором раскрыл тенденциозность автора рецензии и слабую осведомленность «литератора-обывателя» в сибирских историко-литературных материалах [10]. На вторую рецензию ответа Шашкова уже не напечатали.

Полемика в печати, возникшая в связи с лекциями Шашкова в Красноярске, была замечена в департаменте полиции, где было заведено «Дело о публичных лекциях и музыкально-литературных вечерах в Енисейской и Томской губерниях» [11]. В одном из документов этого

---

[1] См. «История Казанской духовной академии». Вып. 3. Казань, 1892, стр. 390.

[2] «Дело», 1882, кн. 10, ч. 2, стр. 4.

[3] Н. М. Ядринцев. Сибирские литературные воспоминания. Красноярск, 1919, стр. 19.

[4] «Библиотека для чтения», 1862, кн. 10—12, стр. 5—6.

[5] Н. М. Ядринцев. Сибирские литературные воспоминания. Красноярск, 1919, стр. 19.

[6] «Енисейские губернские ведомости», 1864, № 1, стр. 3.

[7] Там же, № 13, стр. 55.

[8] ЦГАОР, ф. III отд., I эксп., оп. 1865, ед. хр. 196, лл. 60, 76.

[9] Псевдоним М. Безобразова — красноярского корреспондента газеты «Голос». См. «Сибирские вопросы», 1910, № 10—11, стр. 37.

[10] См. «Енисейские губернские ведомости», 1864, №№ 15, 16, 21.

[11] ЦГАОР, ф. III отд., I эксп., оп. 1864, ед. хр. 267.

«Дела» указывалось: «Лекции его отличались безусловным порицанием всего, что делалось в Сибири с начала покорения ее до новейших времен» [1].

Лекции Шашкова вызвали интерес общественности других городов Сибири. Дважды откликалась на это событие томская газета [2].

Весной 1865 года состоялись публичные лекции Шашкова в Томске. Томский губернатор Лерхе разрешил чтение под тем условием, что лектор будет строго придерживаться текстов, опубликованных в журналах с разрешения цензуры. «Зал был битком набит публикой,— описывал Потанин лекции Шашкова,— боковые проходы были заполнены народом. Только показался лектор... его встретил гром аплодисментов». В зале кроме молодежи и семинаристов находились и «чиновники в генеральских чинах», которые «...придвинули свои стулья вплотную к кафедре. Раздался голос лектора, когда из его уст вылетала какая-нибудь стенобитная фраза, чиновники приподнимались со своих кресел и заглядывали, не рукописная ли тетрадка в руках лектора» [3].

Резонанс от лекций Шашкова в Томске был еще более грандиозным, чем в Красноярске. По словам Потанина, лекции явились событием, «...которое... сильно встряхнуло томское общество» [4]. «Особенно взбудоражила томских чиновников та лекция, в которой Шашков описывал нравы старого сибирского чиновничества, его произвол, взяточничество, казнокрадство и издевательство над законом». Они восприняли это как «..призыв к мятежу». Найдя поддержку «...в доме золотопромышленника Асташева», они решили «...довести о своем негодовании лекциями до сведения губернатора и запретить их» [5].

Жандармский штаб-офицер в Томске майор Кретковский доносил, что в бедствиях местного населения восточных окраин лектор обвинял хищническую деятельность Российско-Американской компании, в учредителях которой «...состоят участники Высшей власти». Лектор заявил, писал жандарм, что «...это пятно позора для Государства... никогда не изгладится», и закончил лекцию возгласом: «Пора нам понимать эгоизм и общественную пользу! Пора перестать сильным жить за счет слабых! Пора! (Рукоплескание)». Жандарм был озабочен тем, что «...в числе слушателей много нашлось одушевленных речью Шашкова как это выразилось и аплодисментом лиц большею частью в низшем слое общества» [6].

По словам Ядринцева, лекции Шашкова «... произвели необыкновенный фурор, особенно среди молодежи и семинаристов. Об этих лекциях мы писали горячие письма нашим друзьям в Омске и Иркутске.

Только отъезд Шашкова из Томска в мае 1865 года предотвратил его немедленный арест. Однако в июне 1865 года, в Красноярске, Шашкова арестовывают, отбирают все материалы, писаные лекции, журналы и направляют в Омск, где тогда начала свою работу следственная комиссия по расследованию обстоятельств «Общества независимости Сибири» [7].

Поводом к аресту Шашкова, кроме доносов, вызванных публичными лекциями, послужили показания бывшего кадета Усова, привлеченного по делу о найденной в омском кадетском корпусе революционной прокламации. Действительно, приехав из среды столичного революционно настроенного студенчества, Шашков привез с собой один из вариантов этой прокламации, получив ее в пакете по почте. Однако автором «Патриотам Сибири» являлся не Шашков, а Попов — сын иркутского купца.

Содержание прокламации «Патриотам Сибири» было аналогично прокламации Зайнчневского «Молодая Россия». В ней, в частности, говорилось о злоупотреблениях самодержавного правительства, которое только словесно обещало народу реформы.

«Петербургское деспотическое правительство слишком подло, чтобы уступить даром нашему народу право на его свободу и счастье, и они должны быть куплены кровью». Автор призывал «...стремиться всеми силами к доставлению народу скорейшего освобождения и подготовления восстания на врагов ее ...настало время этого подготовления!» Для этого предлагалось устраивать тайные типографии, собирать «...деньги на революционные цели», соединяться в одну «общую организацию, выступать с проповедью перед народом» [8].

К сожалению, неизвестны все обстоятельства, более чем столетней давности, связанные с революционной деятельностью Шашкова в Сибири. На следствии он заявил, что привез прокламацию «нечайно», среди своих бумаг. Так же случайно якобы он ее и потерял, делая покупки в магазине Пономарева на Большой улице в Иркутске и оставив ее вместе с деньгами на прилавке. По этому поводу полицией был сделан запрос, на который был получен ответ, что «...показание ...его о потере воззвания в магазине Пономарева не подтвердилось» [9]. Ничего существенного не дали и обыски, проведенные полицией. Иркутский жандармский офицер доносил 26 июля 1865 года: «...у отставного чиновника Комарова и у содержателя библиотеки мещанина Шестунова» был произведен обыск, в результате которого было найдено: «у Комарова выписка из сочинения Искандера — тетрадь в 12 листов... У Шестунова, при депутате иркутского мещанина Петра Вагарова оказались стихи Искандера под заглавием «Вечевой Колокол». Тетрадь Комарова и стихи Шестунова... представлены председательствующему в Совете...» [10].

«Серафим Шашков был взят в 1865 году,— сказано в одной из записок департамента полиции,— ...обвинен за чтение в Томске публичных лекций по истории Сибири...» [11]. Причиной осуждения была признанная виновность его: «а) в умысле отделить от России Сибирь с образованием из нее самостоятельной республики; б) в распространении с этой целью идей сепаратизма» [12].

Следствие сформулировало обвинение в «шести пунктах», построенных на одностороннем истолковании отдельных неточных выражений, допущенных Шашковым в лекциях. Некоторые фразы были истолкованы в сепаратистском смысле.

Приговор Правительствующего Сената в Москве, который пришел через три года после начала следствия, обязывал подвергнуть «....лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы в рудниках: Потанина, Шайтанова, Шашкова и Щукина на пятнадцать, а Ядринцева на десять лет» [13]. Приговор, впрочем, был впоследствии смягчен, а каторга заменена ссылкой в отдаленные районы северных губерний.

Двигаясь по этапу в ссылку, Шашков в дороге заболел и был оставлен сначала в селе Мезени, а затем в городе Шенкурске, Архангельской губернии, где и провел около пяти лет.

Период тюрьмы и ссылки совпал с наибольшим расцветом научной и литературно-публицистической деятельности Шашкова. С 1867 года он становится одним

---

[1] ЦГАОР, ф. III отд., I эксп., оп. 1864, ед. хр. 267, л. 1.
[2] См. «Томские губернские ведомости», 1865, № 6—8.
[3] Г. Н. Потанин. Воспоминания. «Сибирская жизнь», 1914, № 9.
[4] Там же.
[5] Там же.
[6] ЦГАОР, ф. III отд., I эксп., оп. 1864, ед. хр. 267, л. 15.
[7] ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 154, лл. 30, 31, 32, 33.
[8] ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 154, лл. 7, 8.
[9] ЦГАОР, ф. III отд., I эксп., 1865, ед. хр. 196, лл. 230, 393.
[10] Там же, л. 214.
[11] ЦГАОР, ф. III отд., I эксп., оп. 1868, ед. хр. 150, л. 10.
[12] Там же, оп. 1865, ед. хр. 196, л. 519.
[13] Там же.

из наиболее активных сотрудников демократического журнала «Дело», сближается с Н. В. Шелгуновым. Он помещал свои статьи также и в других изданиях, например, в «Отечественных записках», одним из редакторов которых в то время был Г. З. Елисеев, «Слово», «Русское слово» и т. д.

Посылая свои статьи и журналы в 1865—1874 годах, Шашков, как политический ссыльный, не мог открыто подписывать их. Поэтому многие статьи его печатались под псевдонимами: «Иркутин», «Н. С.», «С. С.», «С. С. Ш.», «С. Ш.», «Серафими», «Серафимович С.», «Серафини», «Ставрин С.», «Ш-в С.» [1]. Один из псевдонимов Шашкова — Михаил Библиоман. Некоторые статьи вовсе не подписывались, ввиду чего они до сих пор еще собраны не все.

В тюрьме он начал работать по социологии женского вопроса. В 1871—1879 годах были изданы следующие крупные труды Шашкова: «Исторические судьбы женщины. Детоубийство и проституция», «Очерки по истории русской женщины», переизданные вторым изданием и в 1898 году вошедшие в первый том собрания сочинений. По социологии женского вопроса им написано много статей, опубликованных в журналах. В 1875 году вышла его книга «Женское дело в Америке» [2].

Успех книг Шашкова был обусловлен тем, что вопрос о женском освобождении в семидесятых-восьмидесятых годах был поставлен в России в качестве одного из первоочередных, требующих практического разрешения. Работы выполнены Шашковым с революционно-демократических позиций и являются прямым продолжением идей Герцена («Былое и думы») и Чернышевского («Что делать?»). Они вышли в свет более чем на десять лет раньше написания Энгельсом «Происхождения семьи, частной собственности и государства» и в известной мере предвосхитили классический труд в изучении широкого круга источников, в том числе работ Бахофена, Тэйлора, Моргана и других.

В трудах по «истории женщины» Шашков вышел далеко за рамки традиционных представлений того времени. Он рассмотрел «женский вопрос» как один из вопросов социологии семьи и брака вообще. Сформулированные Шашковым выводы долго сохраняли свое значение. Шашков устанавливал, что «...более или менее гуманный взгляд на женщину служит мерой цивилизации народа» [3], что «...проституция есть результат известных социальных порядков...» [4].

В отличие от Энгельса, однако, Шашков являлся просветителем. Он не сумел вполне научно понять пути женского освобождения. Он рассматривал эту проблему изолированно, вне связи с основными вопросами классовой борьбы. Правильно поставив вопрос об эмансипации, как вопрос социальный, он, однако, не указал средства для его разрешения. Это объясняется тем, что Шашков не владел теорией классовой борьбы, выступил как идеолог крестьянства, представитель не научного, а утопического социализма.

Тем не менее, работы Шашкова представляют вклад в историческую разработку социологии семьи и брака в русской литературе XIX века. В. И. Ленин указывал, что «исторические заслуги судятся не по тому, чего не **дали** исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что **они дали нового** сравнительно с своими предшественниками» [5].

Из-за обострения болезни, заключавшейся в воспалении спинного мозга и вследствие этого развивавшегося паралича ног, Шашков добивался перемены места ссылки. С помощью редактора журнала «Дело» Г. Е. Благосветлова, известной общественной деятельницы А. П. Философовой и других Шашкову удается в 1873 году получить разрешение на переезд, что он и осуществил немедленно. Некоторое время он проживал в городе Боброве Воронежской губернии, а затем в городе Воронеже.

В 1874 году Шашков был амнистирован и выбрал своим местом жительства город Новгород, где и проживал «по 2-й Торговой части, Ильинская улица, дом Борцова» [6]. Получив право свободного жительства, Шашков, однако, не мог появляться в столицах. В архивах Москвы сохранился ряд прошений, написанных рукой Шашкова на имя шефа жандармов графа Шувалова и начальника III отделения генерал-адъютанта А. Ф. Мезенцева с просьбами о разрешении посетить Петербург для консультации с врачами. Каждая поездка в столицу больного писателя осуществлялась лишь после предварительного разрешения самого Мезенцева и сопровождалась организацией негласного надзора лучших шпиков полиции [7].

В семидесятые годы Шашков выступал в печати по разнообразным вопросам общественно-политической жизни. Он задумал написать серию биографических статей русских и западноевропейских писателей, чтобы затем издать библиографический словарь писателей XVII—XVIII века. Выступал с обзорами заграничной литературы, писал исторические работы. Из всех вопросов, которым уделял внимание Шашков в эти годы, особенно выделялся вопрос о положении многомиллионных крестьянских масс России. Это был, по определению В. И. Ленина, основной вопрос, вокруг которого вращалась вся публицистика в России второй половины XIX века.

Шашков резко критиковал крепостное право в России. Наиболее полно критика крепостного права в России дана Шашковым в работе «Русские реакции». Шашков устанавливал, что всякое усилие реакции в истории России неизбежно сопровождалось укреплением крепостного права. В основе крепостного права, по мнению Шашкова, лежало нищее и бесправное положение русского крестьянина. Шашков считал народным несчастьем, когда «...имущество крестьянина, его личность, невинность девушки, даже сама жизнь крепостного находились во власти помещика» [8]. Шашков видел, что «...крепостнические принципы проникали во все отправления народной жизни; крепостной произвол и крепостная зависимость были всюду — и в судах, и в администрации, и в школе, и в литературе» [9]. Дикое барское презрение к народу заражало даже лучших людей того времени. Сумароков, например, отличал совесть господскую от совести холопской и думал, что «низкий народ никаких благородных чувствий не имеет», на что сама Екатерина заметила: «и иметь не может в нынешнем состоянии» [10].

Шашков выступил против Карамзина, Шишкова, Булгарина, Греча, Каткова и других апологетов крепостничества, утверждаших, что «Россия не созрела еще до свободы, что к ней не приложима свобода западная, что у нас если и должна быть свобода, то своя особенная» [11]. Всем им Шашков противопоставлял Радищева, называя «лучшими местами» в его «Путешествии» мысли о свободе крестьян и «набросанные им возмутительные картины крепостного права» [12].

Реформу 1861 года Шашков оценивал как антина-

---

1 И. Масанов. Словарь псевдонимов. Т. 4. М., 1960, стр. 520.

2 Один экземпляр этой книги в настоящее время хранится в отделе редких книг Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

3 «Дело», 1870, кн. 3, стр. 17.

4 С. Шашков. Исторические судьбы женщины. Детоубийство и проституция. Изд. 2, Спб., 1872, стр. 457.

5 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр 178.

6 ЦГАОР, ф. III отд., I эксп., оп. 1868, ед. хр. 150, л. 42.

7 Там же, лл. 41—45, 50—53.

8 С. Шашков. Собр. соч. Т. 2. Спб., 1898, стр. 230.

9 Там же, стр. 282—283.

10 Там же.

11 Там же, стр. 269.

12 Там же, стр. 290.

родную: «...малые наделы и тяжесть платежей — вот в чем суть...» [1]. Однако он выступал после ее проведения, видел и ее капиталистическую направленность. Он отмечал, что реформа 19 февраля сообщила «...новое направление всей экономической жизни народа», что она поставила общество «...в новые условия» [2].

Признавая «новое направление» прогрессивным по сравнению с феодализмом и крепостничеством, Шашков видел и отрицательные стороны развивавшегося капитализма. Процесс развития капитализма, как известно, вызвал дифференциацию пореформенной русской деревни. «В селах,— отмечал Шашков,— народилась новая общественная сила, выделившаяся из народа...» [3] Повсеместно в деревнях «...обнищавшее больное население окончательно закабалено мироедами и целовальниками, пришедшими на смену помещикам и откупщикам» [4]. «После освобождения крестьян... помещичьи и крестьянские земли более и более переходят в руки купцов и кулаков» [5].

Когда в печати либерально-буржуазного лагеря стала усиленно насаждаться идея, что земские учреждения якобы выражали интересы народа, Шашков обследовал деятельность земских учреждений большинства российских губерний. Он показал, что деятельность земских учреждений ограничивалась пустопорожним словоговорением.

В своих статьях о земстве Шашков нарисовал потрясающую картину отчаянного положения широких народных масс в России, на страданиях которых обогащались господствующие классы и кулаки-кровопийцы. Шашков указывал, что «...расстройство народного хозяйства после освобождения крестьян сопровождалось... сильным повышением сборов, и в настоящее время бюджет херсонского крестьянства находится в самом незавидном состоянии», «...долги у земледельца накопляются, земли переходят по дешевой цене в руки спекулянтов...» [6]».

«Крестьянское население (Пермской губернии.— *П. М.*)... представляет удобную почву для процветания кулаков-мироедов» [7]. «Довольно значительное рабочее население горных заводов по освобождении от крепостной зависимости очутилось в критическом положении», т. к. оно было освобождено и от земли [8]. Часть крестьянства, влачащего жалкое существование в условиях спекуляции землей, пошла на отхожий промысел. Жизнь рабочего-артельщика не лучше, она «...до того тяжела, что остается удивляться, как может выносить ее природа человеческая» [9].

Шашков описывал тяжелый и опасный труд рабочих, добывающих камни для мельничных жерновов. «Желающие добывать жернова соединяются в одну общую артель, которая за право пользования камнем выплачивает помещику 30 рублей с человека». Найденный камень ощупывается, обнажается лопатами, в нем продалбливается отверстие, в которое всыпается порох. Затем в артели «...выбирается смельчак и отправляется зажигать порох. Он прощается со всеми, и на проводах товарищи угощают его вином. И есть причины прощаться. Зажигание пороха делается так: берется железная лопата с жаром и из рук бросается огонь в порох. Часто зажигающий погибает или приходит искалеченный...» [10]. Результаты труда рабочих ничтожны: «в лето рабочий выручает много 50 рублей. Между тем 300 человек добудут в лето до 60 жерновов. Хороший жернов стоит на месте 100 и более рублей, а меньше как за 15 рублей не купишь никакого жернова». Если учесть куски камня, из которых выделывались составные жернова, «...то выручка рабочего не должна быть меньше 150 рублей. Почему же так мало выручается? Ответ простой: потому, что трудами артели пользуются скупщики, кулаки, целовальники... В каменоломнях работают бедняки, а около них наживаются люди и без того достаточные» [11].

Аналогичны условия труда и у крестьян, занятых смолокурением, на каменноугольных копях, на местных мануфактурных производствах, ткачестве, горшечном производстве, бурлачестве, тарханном ремесле и т. д. «Множество крестьян работает в качестве сельских рабочих у местных помещиков и зажиточных мужиков» [12]. Особенно тяжелое положение в пореформенной деревне складывалось в неурожайные годы. Шашков приводил следующие данные по Псковской губернии: «Голодающий народ начал вымирать. В Холмском уезде три года с 1866 по 1868 родилось 7186, умерло 9197, убыль составила 2061 человек» [13].

Характеризуя положение в пореформенной деревне, Шашков писал: «Новые эксплуататоры оказались хуже прежних...» Ликвидация крепостного права, «...освободив народ от тяжелого гнета, ввергла его в новую кабалу... Он запродал свой труд и все плоды этого труда. Дети его отданы на работу и большею частью не на один год; дом его заложен; посевы его сделаны из десятины; ...земля... также заарендована,— все это за ничтожную сумму. Эксплуататор знает момент, когда надо предложить свои услуги, знает, как обойти... беспечность народную, знает темные стороны закона, чтобы в будущем, когда разберут в чем дело, оградить себя юридически» [14].

Шашков хорошо знал «Капитал» Маркса, первый том которого (и в первом немецком и в русском изданиях) широко использован при изучении положения крестьянства при капитализме [15].

Будучи лишенным возможности открыто высказывать свои взгляды о революции, Шашков понимал, что только выступление самого народа, просвещенного наукой и знанием, может освободить его от унизительного положения, в котором он находится в эксплуататорском обществе. «Мы только кое-что можем сделать для подготовки... возрождения,— писал Шашков,— но мы уверены что, наконец, «он проснется, исполненный сил...» [16]. Предстоящую народную революцию он называл «восходом солнца», под лучами которого «...семейные чувствования должны возродиться к новой облагороженной жизни» [17].

Высоко ценя Щапова и сохраняя дружественные отношения с ним до кончины его, Шашков, однако, был согласен с той критикой, которую в адрес Щапова направляли Добролюбов и Шелгунов в «Современнике». Революционные демократы, как известно, критиковали Щапова, в частности, за недооценку им роли экономических условий в истории и непонимание роли революций [18], за ошибочное представление о том, что якобы «...духовенство наше всегда защищало угнетенных и проповедывало свободу...» [19].

---

1 «Дело», 1878, кн. 10, стр. 55.
2 С. Шашков. Очерки истории русской женщины. Спб., 1872, стр. 229.
3 «Дело», 1877, кн. 10, стр. 69.
4 «Слово», 1880, кн. 10, стр. 5—6.
5 «Дело», 1877, кн. 9, стр. 70.
6 «Слово», 1879, кн. 4, ч. 2, стр. 35—37.
7 Там же, кн. 1, стр. 16.
8 Там же, стр. 18.
9 «Дело», 1877, кн. 10, стр. 64.
10 Там же, стр. 64—65.
11 «Дело», 1877, кн. 10, стр. 64—65.
12 Там же, стр. 67.
13 «Слово», 1880, кн. 11, ч. 2, стр. 8.
14 Там же, кн. 10, стр. 6.
15 См., например его работы «Английские земледельцы», «Судьбы Ирландии» и т. д.
16 «Дело», 1876, кн. 4, стр. 92.
17 С. Шашков. Исторические судьбы..., стр. 215.
18 См. «Красный Архив», 1926, т. 1(14), М.-Л., публикация Л. Мартынова о запрещенной статье Н. В. Шелгунова, стр. 147.
19 Н. А. Добролюбов. Первое полн. собр. соч., Спб., 1912, т. 3, стр. 87.

Шашков и сам писал, что Щапов (до 1861 года) «...с большими натяжками» пытался доказать, будто «...древнерусская церковь всегда возмущалась против крепостного права», что якобы «...свобода не принесет всей пользы народу, если не будет иметь нравственного направления...» Его выступления, писал Шашков, «...как и книга о расколе, вполне убеждают нас, что Щапов в то время принадлежал к либеральному направлению в нашей духовной литературе, главным центром которого была Казанская академия со своим журналом «Православный собеседник» [1].

В противоположность Щапову Шашков приводил массу фактического материала, вскрывающего действительную роль русского духовенства и православной церкви в закабалении народа. Еще в 1865 году следствие не могло пройти мимо красноречивого заявления Шашкова о том, что «...большинство сибирских церквей построено капиталистами, задумавшими в заключение своей земной купеческой карьеры совершить новую куплю — купить себе Царство Небесное»[2].

Анализ экономического и политического положения русского крестьянства в пореформенный период логически привел Шашкова к изучению новой общественной силы в России — промышленного пролетариата. Исторической заслугой Шашкова является постановка в русской демократической литературе вопроса о положении фабрично-заводского рабочего. Это выразилось в ряде статей, из которых особенно важны «Русский рабочий» (1881) и материалы о сборниках по фабрично-заводской статистике» [3].

Историк Бородавкин (Томск) правильно отмечал, что до выступления Шашкова вопроса о положении российского промышленного пролетариата в русской печати никто не ставил [4]. Берви-Флеровский писал о сельскохозяйственных рабочих, а Шелгунов — о пролетариате Англии и Франции. На основе богатых фактических материалов, отчетов различных комиссий, санитарных обследований, статистических сборников, материалов периодической печати, личных наблюдений Шашков правдиво описал тяжелые условия жизни и труда русского фабрично-заводского рабочего.

В подходе Шашкова к «рабочему вопросу» в России заметен существенный прогресс. В начале своей деятельности Шашков расценивал пролетариат как нежелательное явление в развитии России. Он пытался и в семидесятых годах проводить линию Чернышевского по отношению к пролетариату, как к «страшной язве». В 1875 году, в статье «Английские земледельцы», привлекая в качестве источника первый том «Капитала» Маркса, Шашков заявлял, что развитие «цивилизации» [5] «...разоряет массы, порождая пролетариат с его **преступлениями, пороками, отчаянием»** [6]. Шашков полагал, что сам пролетариат не способен к избавлению. Его спасет только крестьянство. В более ранней статье 1863 года «Заметка о рабочих на золотых приисках» Шашков рассматривал рабочих приисков, как тех же крестьян, которым было некуда податься, кроме каторжной работы на хозяина-золотопромышленника. Известную часть контингента рабочих приисков составляли обнищавшие инородцы. «Не умея найти выхода...» из создавшегося положения, указывал Шашков, «эти пролетарии идут на воровство, на разбой; большинству их, состоящему из ссыльных, эти занятия уже привычны» [7].

В работах 1881—1882 годов Шашков делает заметный шаг вперед. Он понимает, что фабрично-заводской пролетариат России формируется из крестьян, но это уже особый, новый класс общества, порожденный развивающимся капитализмом. Полное отсутствие каких-либо благоприятных условий труда на разнообразных производствах, в том числе на крупных предприятиях с числом рабочих более четырех с половиной тысяч, а в особенности в мелких, рабочий день длится без ограничений, часто до четырнадцати, шестнадцати и восемнадцати часов, низкая заработная плата и антисанитарные производственные и бытовые условия жизни рабочих — таковы первые следствия развития капитализма в России.

Изучив экономическое и политическое положение русского рабочего класса, Шашков на закате своей деятельности решительно встал на защиту его интересов. Выступления Шашкова в демократической печати способствовали установлению в России фабрично-заводского законодательства. Этим и определяется значение трудов Шашкова последнего периода его жизни, в особенности его статьи «Русский рабочий».

Физическое состояние писателя между тем весьма быстро ухудшалось. Последние несколько лет он работал в постели. В архиве литературы и искусства в Москве, в числе других материалов, хранится рукопись Шашкова «Русский Конфуций», написанная в 1882 году, видимо, под диктовку писцами. Это — последняя работа писателя. Она, вероятно, была запрещена цензурой и не увидела света. Рукопись выполнялась двумя лицами, которые поочередно сменяли друг друга, записывая мысль Шашкова со слов [8].

Умер Шашков в ноябре 1882 года, на сорок первом году жизни, в старинном русском городе Новгороде, где и похоронен на городском кладбище. Шашков умер в страшной бедности. После его кончины остались без средств к существованию жена и двое малолетних детей.

Многострадальная жизнь и бескорыстная деятельность Шашкова, однако, не прошли бесследно. Они поразительно верно подтверждают истинность бессмертных слов В. И. Ленина, что «...беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадет даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы...» [9].

---

1 «Новое время», 1876, № 212.

2 ЦГАОР, ф. III отд., I эксп., оп. 1865, ед. хр. 196, лл. 223, 224.

3 ЦГАЛИ, ф. 1577, ЮК, оп. 1, ед. хр. 3107, 3109.

4 См. Труды Томск. гос. университета, 1954, т. 128, стр. 103—104.

5 Под «цивилизацией» Шашков понимал капитализм. — *П. М.*

6 С. Шашков. Исторические очерки. Спб., 1875, стр. 413. (Подчеркнуто нами. — *П. М.*).

7 «Очерки», 1863, № 78.

8 ЦГАЛИ, ф. 1577, ЮК, оп. 1, ед. хр. 3068.

9 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, стр. 261.

ВЕЧНЫЕ ЗАБОТЫ

ЗАМЕТКИ об иркутской прозе 1965 года

«Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?» — спрашивала у волшебного зеркальца пушкинская царица (зеркальце отражало объективную действительность и из-за этого даже погибло, потому что царице это не понравилось).

То же спрашивает читатель, закрывая книгу. Но книга, в отличие от зеркальца (не столь хрупкий материал), только выигрывает, отражая действительность, хотя царицы существуют и ныне (иногда они даже называются литературными критиками, но также не терпят, когда действительность не соответствует их вкусам).

Нельзя, конечно, понимать этот вопрос читателя прямолинейно, нельзя требовать, чтобы книги были справочником, в котором давались бы ответы на все случаи жизни. Да и, в конечном счете, читатель этого не хочет, вопросы, проблемы возникают у него помимо литературы, просто ему становится радостно и он начинает активнее размышлять над всем, когда в книге находит созвучие своей жизни, т. е. действительности. Снова оговорюсь: никто не должен и не может требовать, чтобы то, что есть в книге, он знал лично, видел, пережил (а иногда и литераторы говорят: «этого не может быть, я этого не встречал»). Под созвучием разумеются общие линии действительности, которые, независимо от нас, проходят сквозь любую жизнь и мы это не всегда замечаем, а потом, прочитав книгу, начинаем понимать, что нашли что-то новое, но это новое в общем-то не ново, просто сейчас мы его осознали впервые и помог в этом писатель.

Итак, читатель ждет, что писатель полно и интересно расскажет ему о том, что он, читатель, видит, и о том, что он, читатель, не видит и о чем не догадывается. И еще — главное — читатель ждет, что писатель выложит ему все как есть, как на духу —искренне, определенно, честно. Ведь правдой меряется любая книга — от романа-эпопеи до несложного детектива, — и от этого суда никогда и никому не уйти, здесь не спасет книгу ни временный фавор, ни ловкая внешность, ни острый сюжет — время выветрит шелуху, и останется обнаженная суть, для которой можно будет найти точное решающее определение.

«Ах, эти прописные истины! — воскликнет многоопытный литератор. — Молодой человек, не читайте мне морали, расскажите что-нибудь поинтересней...»

А между тем, прописные истины скромно пылятся на своих полках, и мы вспоминаем о них, когда терпим крах и начинаем выяснять, отчего это случилось.

Вот почему я отважился напомнить о прописных истинах, вот почему, опираясь именно на них, попробую ниже определить значение ряда произведений иркутских писателей, вышедших в 1965 году.

ТЕНДЕНЦИИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

«Объективность, как высшая степень тенденциозности».

К сожалению, эта мысль принадлежит не мне. Давно, лет шесть назад, ее походя подарил нам, студентам, один из институтских преподавателей, подарил в качестве темы курсовой работы по Чехову.

Впрочем, вернемся к самой мысли. Очевидность, истинность ее не нуждается в обширных, обстоятельных доказательствах. Вот только некоторые из них, совсем хрестоматийные: непротивленец Толстой был «зеркало русской революции» (В. И. Ленин), а умеренный либерал Тургенев (так, по крайней мере, его характеризуют школьные учебники) был сослан в деревню за простенькие «Записки охотника» (хотя многие либералы оставались спокойно жить в Петербурге). А вот пример, так сказать, негативного плана, также хрестоматийный: за бортом творчества основателя «натуральной школы» Гоголя оказались его «Выбранные места из переписки с друзьями» потому, что как раз-то и были лишены свойственной Гоголю объективной «натуральности».

Отсюда следует, что, во-первых, правдивое изображение объективной действительности уже само по себе тенденциозно, во-вторых, тенденция, выросшая из действительности — жизнеспособна и влиятельна, тенденция же, не имеющая в действительности оснований — яблоня без корней, а в природе еще не наблюдалось случая, чтобы такая яблоня давала плоды.

«Дорогой мой, а какое отношение к иркутской прозе имеют эти математические выкладки?» — снова слышится голос многоопытного литератора.

Извиняюсь за банальность, но самое непосредственное. Из этих математических выкладок нетрудно понять, почему многие молодежные повести, напечатанные в «Юности», оказались мертворожденными и почему повести иркутян Вячеслава Шугаева «Бегу и возвращаюсь» и Геннадия Машкина «Синее море, белый пароход», напечатанные в этой же «Юности», стали интересными открытиями.

Лет десять тому назад, когда Аксенов еще не был Аксеновым, его герои ходили по земле и размышляли о том, что волновало всю страну, всех нас и мы встретили их с радо-

стью, потому что в жизни видели, а в литературе — нет, потому что ждали их литературного появления с трепетом и нетерпением, как друзей после долгой разлуки, как близких, с которыми можно поговорить о самом заветном без боязни быть непонятыми. Потом другие талантливые писатели (Балтер, Амлинский, Ю. Семенов) подарили нам еще порцию симпатичных и мятущихся героев, и мы тоже приняли их тепло и приветливо. Мы подружились с ними, брали их с собой на диспуты и в дальные походы, в кафе и на завод, в народную дружину и в «дела семейные». Все было прекрасно.

А потом...

Аксеновские звездные мальчики выросли и действительно полетели к звездам. Многие из них обзавелись солидностью, семьей и телевизором. Многие стали изумительно похожи на тех, кого они только что с поразительной и искренней старательностью низводили с пьедесталов. Жизнь текла, жизнь изменялась, как сказал один старый философ, а «молодежные» писатели, прочно оседлав своего любимого и всеми признанного конька — героя, с гиком мчались во весь опор, не замечая, что конекто уже оторвался от грешной и так любимой читателем земли и летит по воздуху, смешно болтая ногами...

В жаркую, монотонно-жаркую погоду, когда солнце жжет нещадно и долго, когда негде от него укрыться, а на небе — ни тучки, а земля гулко трескается, мы молим: «Дождичка бы... Дождичка бы... Хоть маленького... Хоть ма-а-ленького...» И вдруг, как в сказке, приходит дождь. И мы подставляем ему потные лица, счастливо жмуримся и шлепаем губами, и стоим так до тех пор, пока не вымокнем до нитки... А потом снимаем туфли и идем по лужам домой... А дождь не перестает. День, второй, третий. И земля становится сплошной лужей, и хлеб, устав от дождя, ложится набок, а мы, тоскливо сидя у окна, зло спрашиваем: «Когда это кончится?»

Так, каждый раз, открывая «Юность», мы спрашивали: «Когда это кончится?» Спрашивали не столько у самого журнала, сколько у писателей, потому что произведения по заказу не рождаются. И редакция «Юности», как мне кажется, прекрасно понимала положение вещей и искала для нового времени новые темы (и находила их — яркий тому пример — «Соленый арбуз» В. Орлова). Результатом этих поисков стали и повести В. Шугаева и Г. Машкина, и мы, иркутяне, естественно этому очень обрадовались.

Здесь важно выяснить одно обстоятельство.

Может быть, В. Шугаев и Г. Машкин специально задались целью создать что-либо противоположное «молодежным» повестям? Отнюдь нет (у В. Шугаева, например, еще отчетливо слышатся аксеновские нотки). Просто в этих произведениях победил реализм. Конечно, талантливый реализм.

Я не случайно употребил слово «победил». Как мне кажется, «Бегу и возвращаюсь» тоже была задумана как типично молодежная повесть. Об этом недвусмысленно говорит само название ее, выражающее суть Матвея, номинально главного героя повести, человека ищущего и мягкого и в силу этого несколько раздвоенного. Если бы, к несчастью, Матвей как настоящий главный герой, взял бы бразды правления в повести в свои руки — и не было бы повести, затерялась бы она среди утомительно однообразного океана поделок о молодежи. Но явился второстепенный Осип и, растолкав нахально и добродушно всех и вся, заполонил целиком жизненное пространство, и на каждой странице, как стоп-сигнал прочим героям и героиням, засветилась его душевная лунная физиономия. И мы стали свидетелями рождения типа очень яркого, значительного по своей социальной опасности и неуязвимости и не имеющего в литературе предшественников. И в этом большая победа реализма над схемой, победа писателя Вячеслава Шугаева над самим собой, победа поэтому трудная и значительная.

В истории литературы подобные случаи бывали нередко. Вспомним хотя бы знаменитого Остапа Бендера, который тоже был задуман как герой второстепенный. Попробуем выяснить, почему так случается.

Пожалуй, математически точного ответа не сыщешь, механика творческой лаборатории писателя почти не исследована, да и будет ли исследована — неизвестно. Однако можно определенно говорить, что такой поворот обусловлен прежде всего талантливым писательским видением жизни. Ведь доподлинно известно, что талантливый писатель строит план, схему своего произведения, исходя прежде всего из действительности, и дает жизнь этой задуманной схеме картинами, образами, мыслями, тоже взятыми из действительности. И когда случается так, что у него, у писателя талантливого (и честного), собственная схема-тенденция вытесняется, ломается им же изображаемой действительностью, он не сопротивляется, и в результате схема теряется где-то по дороге (чем раньше, тем лучше), а на ее месте обнаруживается живая, до боли знакомая жизнь.

Кстати, это очень нелегко — отступиться от глубоко продуманной и пережитой схемы и пуститься по воле волн, это дано не каждому, это ведь требует большой веры в жизнь, большого умения и большой смелости.

«Опять теория! — восклицает многоопытный литератор, — опять теория! Неужели без них нельзя обойтись?»

Можно. Даже не без успеха. Некоторые читатели тоже не любят теории. Некоторые любят погорячее...

Тем не менее перейдем к практике. Вернемся к образу Осипа. Вернее, не к образу, а к самому Осипу.

Действительно, Осип — тип в литературе совершенно новый. Это — первое, что сразу бросается в глаза. Но не это главное. При ближайшем рассмотрении оказывается, что черты Осипа можно найти в любом из нас (в этом, как ни странно, сходство Осипа с Хлестаковым). Осип «сидит» и в директоре завода, выступающем с огненной самокритикой, и в жене, пришедшей по семейным делам в... партком, и в геологе, вернувшемся в город и окропляющем это возвращение где-нибудь в «Байкале», и в молоденьком студенте, влюбленном во всех девушек сразу, и в гармонисте — первом парне на селе, которого любят все девушки, и который, разводя руками, смиренно говорит: «Ну чего я могу поделать», и... Да в ком только не сидит, куда только не пролезает этот могучий, как бизон, и бестелесный, как медуза, яркий, смирный, словоохотливый, открытый и закрытый и еще бог знает какой Осип! И, к сожалению, он наш, современный, вот стоит рядом, и улыбается, и щурится на солнце, как кот, и благоденствует, и не отмахнешься от него рукой, и не скажешь, что это пережиток прошлого — сами воспитали «дите».

Вот в чем, как мне кажется, значение шугаевской повести — во всеобщности и современности ее настоящего главного героя — Осипа.

О повести Г. Машкина «Синее море, белый пароход» — всего несколько слов, о ней много говорили и писали и еще много будут говорить и писать. Повесть сделана по-гайдаровски — «как для взрослых, только еще лучше», в ней чисто и непосредственно, как детский голос, звучит извечная мечта о единстве всех простых людей на земле. И эта прозрачная мечта открывает самое прекрасное в человеке — стремление к справедливости, к подвигам и жизни во имя ее — открывает и в Гере, и в Сумико, и в Семене, во многих героях, живущих в этой замечательной повести.

ДОБРЫЕ ВСХОДЫ

Дивиться надо: при Советской власти —
И время это не в далекой мгле, —
Какие только странности и страсти
Не объявлялись на родной земле.

А. Твардовский. «А ты самих послушай хлеборобов...»

И поэтому о селе писать трудно. И поэтому мы буквально набрасываемся на каждое сколько-нибудь значительное произведение о судьбах деревни. И поэтому с интересом был встречен сборник очерков Валентины Мариной «Высокий берег».

И писательница не обманула этого читательского интереса, рассказав тонко, точно и правдиво о тех сложных явлениях, которые не умерли и еще, видимо, долго не умрут и касаются непосредственно каждого из нас.

...В Илирский район приезжает Верхозин, «большой товарищ из области», чтобы «нажать», во что бы то ни стало ускорить хлебосдачу и «выправить» сводку, хотя это нарушает ритм страды в местных колхозах и в итоге вредит самой хлебосдаче. Илирские руководители, разумно ведущие хозяйство, заботящиеся о государственных и колхозных интересах, молчаливо сопротивляются, но, в конце концов, выполняют указания сверху (очерк «Высокий берег»).

Что это? Обычная борьба между старым и новым? Между субъективно-административным и деловым, хлеборобским подходом к земле? Между личными и общественными интересами? Да, и первое, и второе, и третье. Но Валентина Марина умеет найти столько социально-психологических, живых оттенков, что исчезает прямолинейная плоская схематичность поставленных проблем.

Показателен в этом отношении разговор между Коврижко, начальником производственного управления, человеком опытным, и молодым Марцинкевичем, председателем колхоза. «Вот все вы чуть чего, мартовский Пленум да мартовский Пленум. А умеючи и при этих решениях можно по старинке жить: накладывай на ту лошадь, которая везет, и вся недолга!

С минуту посмотрел на обескураженно моргавшего ресницами Марцинкевича и рассмеялся добродушно:

— И тебя на место Верхозина поставь, ты бы тоже такую самую линию повел.

— Ну уж нет! — возмутился Марцинкевич.

— А ты бы как? — впился в него глазами Коврижко. —Пашни у тебя в области — во! — распахнутыми ладонями показал он на краю стола метровый отрезок. — А хлеб собирают Илир, Услон, еще пять районов. — И Коврижко наполовину сблизил раскрытые свои ладони.

— Так бы честно и сказал: надо, мол, время, чтоб эти запущенные районы на ноги поставить, — упрямо гнул свою крепкую шею Марцинкевич.

— Так бы и сказал! — с явным сарказмом повторил его слова Коврижко. — А тебя бы спросили: ты сколько лет в этой области хозяином? Десять лет! Так какого черта ты эти районы запустил, а?

Убрал руки за спину и подытожил убежденно:

— Ни черта бы ты не сказал. И я бы не сказал. И любой, каждый... В глупости, брат, одни дураки так вот, за здорово живешь, признаются. А умные люди лавируют! И вот он сейчас, Верхозин, для чего по районам мотается? Страховой фонд себе создает. На случай, если какой район с хлебом завалится. А упусти время — ты на трудодни раздашь, фонды всякие засыплешь — возьми потом с тебя!

— Лучше бы он время свое на другие вопросы потратил. Было бы у нас и хлеба, и шерсти, и мяса...»

Что показательного в этом диалоге? В. Марина «зрит в самый корень», а там все это новое, субъективное и общее, так хитро и прочно связано, что одним махом, одними решениями, самыми хорошими, ничего сразу не переделаешь, нужна серьезная, долгая, решительная борьба.

Во-вторых (и это самое главное), происходящие события писательница оценивает с точки зрения истинных хлеборобов, хозяев земли — честного, делового председателя Марцинкевича, разумного и хитроватого бригадира Бурмакина, мужественного, сосредоточенного и молчаливого секретаря райкома Василия Платоновича и многих других.

А им, хлеборобам, например, тому же Бурмакину, важен не только высокий урожай, но и вкусный хлеб из этого урожая. Бурмакин на колхозных полях сеет многопудовую «скалу», а на своем участке — скромную «сибирку» (которая и раньше поспевает, и дает пышные вкусные калачи) и забытый казацкий арбуз, и крестьянскую картошку. Что это — собственничество? Совсем нет. Бурмакин предлагал сеять «сибирку» на колхозных полях, хотя бы на трудодни колхозникам, но осторожный агроном Федор Павлович не согласился...

Им, хлеборобам, важно не только выполнить план, хотя план — на первом месте. Важно хорошо заработать, трудиться в нормальных условиях (очерки «Широкое» и «Новый председатель») и очень нужно доверие со стороны руководителей (очерк «Доверия!»).

Это — жизненная, реальная необходимость, и побеждает тот, кто ее не забывает. Новый председатель — ученый Рожнов побеждает предвзятость, ведет людей за собой, потому что заботиться и о плане, и о том, в каких сапогах ходят доярки. А другой председатель — «мужичок себе на уме» — Тимофей Кузьмич, твердо усвоивший правило «Начальству не перечь!», равнодушно посматривает, как сражается его зоотехник Лариса Лаврентьевна с несуразными директивами, как терпит она поражение, гаснет, и Тимофея Кузьмича начинает лишь несколько волновать то, что на фермах — снова непорядки...

При первом чтении очерков Валентины Мариной вдруг с досадой начинаешь замечать, что отрицательные герои типа Верхозина похожи друг на друга, как оловянные солдатики. Взгляд у них тяжелый и значительный, речь основательная и непреклонно-директивная, затылки выразительно «каменеют», а шеи столь же выразительно краснеют и т. п. Так и хочется вместе с многоопытным литератором захлопать в ладоши и с радостью первооткрывателя закричать: «Штамп!»

К сожалению, к такому выводу пришла Н. Золотарева в своей рецензии на «Высокий берег». Как мне кажется, вывод этот поспешен потому, что не соотнесен с жизнью.

Итак, штамп ли Верхозин и другие? Да, штамп. Но... не писательский.

Стиль — это человек. Господствующий в памятные всем годы так называемый волевой, административно-субъективный стиль руководства формировал определенных (как раз типа Верхозина) людей, которые, живя по одной мерке, по одним чрезвычайно упрощенным нормам, выработали в себе одинаковые качества и поэтому стали похожи друг на друга, как оловянные солдатики. И как нельзя по-разному описать штампованные под прессом одинаковые детали, так невозможно по-разному описать оловянных, хотя и живых солдатиков-администраторов. Это было бы неправдой и это было бы искусственно и далеко не безобидно.

И при внимательном рассмотрении будто бы писательский штамп на деле оборачивается очень нужным реализмом. Однотонно описывая Верхозиных, Валентина Марина заставляет подумать и о том, что не только в экономическом, но и в человеческом отношении страшны культовские методы руководства, потому что они губят не только урожаи, но и живые творческие качества и стремления людей. (Жаль только, что эта своеобразная и интересная мысль «спрятана» в очерках весьма глубоко и ее не сразу обнаружишь).

Важно ли все это? Очень. Ведь

недаром мы говорим, что коммунизм — не просто механический результат нашего труда, а результат именно творческого труда всего советского народа.

Сколько было (и сейчас встречается) Верхозиных, Тимофеев Кузьмичей и им подобных! Сколько было не очень разумных и деловых директив, падающих на поля, как несуразный весенний град...

И, несмотря на это, основная тенденция «Высокого берега» — хлебороб, который все превзошел и с поля не ушел, победит, непременно победит! Ведь не очень легко сбить с толку и Марцинкевича, и Бурмакина, и Василия Платоновича. А попробуйте-ка заставить отступить Варвару Петровну, у которой вся жизнь, все счастье — в этой трудной и благородной земле, в людях этой земли...

И добрые, новые и победные всходы жизни нашего села, жизни непростой и многотрудной, Валентина Марина защищает и поддерживает горячо, искренне и художественно убедительно.

СКОЛЬКО СТОИТ ЧЕЛОВЕК?

Книга Леонида Красовского «Следы смоет весна» написана тепло, живо, довольно интересно. Чувствуется, что автор думает вместе с героями, переживает с ними все происходящее и это сопереживание делает произведение искренним и, что очень важно, заинтересовывает читателя, привлекает его в участники событий, хотя бы умозрительно. Все это прекрасно. Но...

Главный герой повести — инженер Восканов — человек из племени одержимых. Все свое время, все свое здоровье он отдает разработке и проведению в жизнь проекта электростанции на вечной мерзлоте. И инженер Восканов умирает в кабинете начальника стройки, рассказывая тому о своем заветном проекте. Сродни Восканову и два второстепенных героя — бульдозерист Антон и сын начальника стройки Виктор, которые, рискуя жизнью, прокладывают дорогу по льду реки.

Вот тут-то и появляется «но».

Закрыв книгу, обдумываешь прочитанное. И сквозь истинную привлекательность героизма Восканова, Виктора и Антона все настойчивее и настойчивее пробивается вопрос: «А сколько стоит человек? Стоит ли рисковать жизнью человека ради того, чтобы на год раньше построить электростанцию, чтобы платить вдвое дешевле за грузы, доставленные не машинами по дороге, а самолетами? Сколько же все-таки стоит человек?»

Вопрос далеко не праздный и вызван он не только повестью Л. Красовского. К сожалению, в литературе ситуации, подобные тем, что описаны у Красовского, обыгрываются до обидного часто. Человек снова и снова возвращается в положение пресловутого «винтика», который под предлогом «трудового (или иного) героизма» не грех и сломать ради слаженной работы всей «машины». Как ни странно, «винтикообразная» ценность человека воспринимается и писателями и читателями как некая закономерность нашей жизни, которой нужно следовать. И это, как мне кажется, не вина писателей и читателей, а их беда. Почему беда?

Проследим, как настоящий **необходимый** трудовой героизм превратили в литературе в штамп, потому что оторвался от жизни (как золото стало самоварной медью, но, продолжая блестеть, как золото, влечет) и влечет читателя по ложной тропе.

В совсем недавние времена, тридцать-сорок лет назад, рабочие, крестьяне, интеллигенция **вынуждены** были работать по две смены и больше, чтобы почти на ровном месте, в окружении врагов построить социалистическое государство. Это было **реальностью**, этого неизбежно требовала жизнь, никто бы не принес нам социализм на тарелочке с голубой каемочкой. Эту **реальность** изображали в книгах, героика работы исходила от действительности, жизненный риск при построении нового был, снова подчеркиваю, **необходимой**, вынужденной нормой поведения. Потом, особенно в последнее время, действительность изменилась: подчас не жизнь, а печальные неполадки или элементарная неорганизованность требовали «трудового героизма», а писатели продолжали его изображать как норму, что действительности уже не соответствовало, чего действительность в таком виде уже не требовала. И укоренившиеся, хорошие представления о мирном мужестве, оторвавшись от жизни, превратились в холодный, плохой литературный штамп, которому читатель верит, как правде. Тем более, далеко не безвредно поддерживать эти укоренившиеся и даже полюбившиеся многим представления — штампы, часто ложно принятые за реальную мерку человеческой ценности (герой — тот, кто работает в две смены, рискует жизнью ради дороги, зимует в палатках и т. п.). Тут происходит невольная спекуляция вечными человеческими достоинствами, ибо мужество, самоотверженность, отданность делу были и будут всегда привлекательными. И поэтому относиться к ним, к этим прекрасным качествам, надо очень бережно и «расходовать» экономно и в крайнем случае, и не разбазаривать направо и налево, как вздумается. Здесь не грех бы всем нам поучиться у наших бухгалтеров, которых мы часто не любим за то, что они дрожат над каждой государственной копейкой (мы почему-то считаем это скаредностью). Может быть, распоряжаясь человеческой жизнью, даже литературной, тоже стоит быть скаредным?

«Все для человека!» — вот нынешняя первооснова, конечная цель всех наших дел. Не пора ли основательно перенести центр писательской тяжести именно на утверждение этого принципа?

Вот о чем заставляет думать повесть Леонида Красовского «Следы смоет весна». И в этом ее своеобразная заслуга, заслуга, замешанная на всеобщей литературной (да и не только литературной) беде.

«Снова утрируете, молодой человек! — сердито говорит мне многоопытный литератор. — Героизм — это не может быть бедой, это — всегда здорово, это — всегда великолепно...»

Уважаемый многоопытный литератор! Может быть, вспомните как высказывались вы по поводу «Великолепной семерки?»

ЗАБОТА НАША—ТАЙГА

Несколько лет назад в газете «Советская молодежь» появился бодрый лозунг: «Подвинься, товарищ тайга!» Авторы репортажей, лирических очерков и корреспонденций, задыхаясь от иркутской копоти и пыли, с радостью писали о том, что во многих местах, где когда-то была дремучая тайга, теперь слышны гудки паровозов, выросли поселки, колосится пшеница и т. п. Лесам, в которые мы бежим по воскресеньям для отдохновения или за грибами и ягодами, лесам, по которым мы вздыхаем на работе, предлагалось подвинуться еще дальше.

Я не говорю об эстетической бестактности этого предложения. Возьмемся и за счеты: соболь — деньги, белка — деньги, кедровый орех — деньги, те же самые грибы и ягоды — деньги... И неизвестно еще, выигрываем ли мы экономически, вырубая тайгу для какого-нибудь дела. (Вспомним хотя бы проблему Байкала, вспомним расчет ученых, доказавших, например, что доходы от Каховской гидроэлектростанции намного меньше, чем были доходы от животноводства в пойменных лугах, залитых Каховским морем).

Конечно, никто в принципе не против активного вторжения в тайгу, не оставаться же просто собирателем ее даров. Но производить это вторжение надо очень разумно, расчетливо, даже деликатно, надо не только все брать от тайги, но и помочь ей здорово жить и трудиться на людей. Об этом — новая повесть Леонида Огневского «Зеленый шум».

Проблема отношения человека к природе волновала и волнует многих русских и советских писателей. Но проблема отношения к тайге, именно к тайге, как значительной и особой части природы, серьезно у нас затронута, пожалуй, не была, и в этом смысле Леонид Огневский в числе первооткрывателей. А на долю первооткрывателей (да простят мне банальность!) достаются и розы, и шипы, причем шипов почему-то бывает намного больше...

Итак, «Зеленый шум» — повесть о тайге. Тема интересная. Интересен и значителен конфликт между Баклановым, директором совхоза «Тайга», его другом Григорием, которые любят тайгу и видят в ней и лирику, и физику, и районным руководителем Мурашовым, который видит одни директивы, держит нос по ветру, и на тайгу поэтому ему в общем-то наплевать... Вызывают живое любопытство и люди повести — и большой цельный Григорий, и хитроватый Бакланов, и трусливый Мурашов, и мелькнувший где-то сбоку плюгавый Паршков, и старый таежник Косых, и другие.

У Леонида Огневского привлекает и сама стилистика — литые, точные и плотные фразы, сложные по составу, но не трудные для чтения, своеобразные, именно «огневские». Во многих местах такому языку просто завидуешь.

Это розы.

А шипов... Ох, уж эти шипы...

На поверку получилось, что конфликт очень облегчен — как-то серьезно не воспринимаешь хилого духом и телом Мурашова против почти былинных богатырей Бакланова и особенно Григория. И еще — линии Мурашова и его противников идут параллельно, как-то редко пересекаются и плюс к тому часто прерываются, размываются второстепенными делами и отступлениями-рассказами о жизни главных и второстепенных героев (например, история пасечника Косых и бывшего предателя Паршкова — совсем за бортом сюжета). Незавершенными, сглаженными остаются и образы — Мурашов, весьма определенный фрукт из весьма определенного сада; Григорий, очень интересная фигура — честный, прямолинейный, порою жесткий без меры, готовый для пользы дела почти на все; Бакланов хитроумный хозяйственник и другие. А ведь по наметкам — эти типы, именно социальные типы, но... не дорисованные. И конфликт, и образы вспыхивают, мелькают, как огоньки в валежнике, бросаешься к ним — а огоньки-то и не разгорелись. Нет в повести внутреннего подсвета, обо всем нам прямо выкладывает автор, много героев слишком явственно «работают» или на тему или на других героев (Косых, Майя, Паршков, Иванкин). И теряется нить по дороге, теряется борьба, а без нее тайга остается просто величавой и неприступной красавицей, которую, может, не против кого и было защищать...

По этим причинам «Зеленый шум» не стал, на мой взгляд, книгой большого звучанья, книгой интересной, хотя располагал для этого исходными данными.

«Все бы вам хиханьки да хаханьки, — говорит мне многоопытный литератор. — Тема — важная, герои — важные, чего вам еще надо? Интересность какая-то... Деда Шукаря что ли туда втолкнуть?..»

Не надо вталкивать деда Щукаря — упаси бог! — от него и так проходу нет. Не надо нагнетать фокусы. Книга должна быть **естественно интересной** — это, как известно, для художественной литературы непременное требование, о котором забывать нельзя никогда.

И вот еще о чем следует сказать, размышляя над повестью Леонида Огневского: не часто ли мы прощаем несостоятельность произведения в обмен на его злободневность, остроту, нужность? Не большая ли это плата за утоление жажды? Ведь действительного утоления не происходит...

КАК ПОЖИВАЕШЬ, РОБОТ?

Так хочется спросить Севку, существо с большой круглой головой, квадратным лицом, с целлулоидными окошечками-глазами и картофелевидным придатком на месте носа. Севка, конечно, приветливо мигнет, а потом кивнет головой и грустно вздохнет. И вы похлопаете его по стальному плечу и совсем без иронии скажете: «Ничего, Севка, держись. Мало ли что бывает. Может, и полюбит», — и уйдете, потому что совсем не верите, что красивая, умная девушка Юлия может полюбить робота... И так же, как Севке, вам будем грустно, и вы будете бродить по набережной, и останавливаясь, смотреть, как тихо колышутся по воде перелески световых бликов...

В том, что к роботу Севке, герою одноименного фантастического рассказа Дмитрия Сергеева, относишься как к человеку — высшая оценка произведения. История любви Севки не смешна, а скорее грустна и трогательна совсем по-земному. Ведь в роботе заложены, запрограммированы были бедным влюбленным Глебом Кругловым его собственные, «ненужные», как ему казалось, качества — нежность, скромность, верность. И на поверку получилось так, что Глеб Круглов, передав Севке свои «недостатки», оказался самоуверенным, бездушным механизмом, а робот «превратился» в тонко чувствующего человека.

Двойная трагедия? Да, пожалуй. Так случается всегда, когда люди отсекают от себя все живое, человеческое, когда кто-то боится быть самим собой, совершая элементарнейшее и самое подлое предательство (это ведь можно сделать и сейчас, без всяких машин).

Мысль не новая, но всегда волнующая, особенно если писатель сумел подать ее тонко и пронзительно. Сергееву удалось это сделать. Стиль рассказа, нюансы настроения, особенно в первой части (дневнике аспирантки Юлии), можно назвать почти безупречными.

Рассказ «Пациент профессора Бравина» сделан так же серьезно, добротно и интересно, как и «Севка». Здесь открывается вторая сторона медали, на которой значится — «люди остаются людьми». Это дается им нелегко, в борьбе с собственными большими и малыми горестями, тревогами и слабостями, но... как же прекрасен итог: «Рассматривая жидкость в шприце, он (Бравин. — *Б. Р.*) видел, как мальчик вырвался от родителей и побежал вдоль забора, палкой ударяя по металлическим прутьям больничной ограды. Мелодичный звон долетал до слуха Бравина. Мальчик возбужденно кричал:

— Папа, послушай, какая музыка! Слышишь, папа? — палка барабанила по стальной решетке — нехитрая музыка достигала окон клиники.

Бравин распахнул окно и высунулся наружу, чтобы еще раз увидеть мальчика...»

«Севка» и «Пациент профессора Бравина» открывают сборник рассказов «Доломитовое ущелье». Рассказы эти — научно-фантастические. Но, как мы видели, примечательны они прежде всего вниманием к человеку, к его чувствам и переживаниям, независимо от того, какие фантастические трансформации с ним случаются и какие машины он изобретает. Сергеевская фантастика любит людей, а не конструкции, она по-земному размышляет о космическом будущем, помогая пристальней вглядываться в то, что сейчас происходит вокруг нас. А это все, на мой взгляд, свойство настоящей литературы, настоящей полноценной фантастики.

* *
*

Вечные заботы о правде действительности никогда не оставляют писателя. И тот, кто выверяет по этим заботам каждое слово, каждую строку, может быть уверен в благодарности читателя.

Есть ли награда выше?

Б. Ротенфельд

НОВЫЕ КНИГИ

В. В. Ламакин. «По берегам Байкала». Издательство «Наука», 1965. На Байкале можно наблюдать, как из труб, стоящих на рейде двух пароходов, ветер относит дым в разные стороны. А байкальские миражи на воде и капризность туманов! Летом на берегу ярко светит солнце, а на воде такая густая пелена, что с кормы небольшой лодки не видно ее носовую часть. Сурова байкальская природа весной, а осенью на побережье мягкая теплота. Летом Байкал настолько холоднее по сравнению с окружающей местностью, что нередко на высоких вершинах теплее, чем внизу у берегов.

Интерес к Байкалу сейчас велик, как никогда. Интересно здесь все: и удивительные особенности климата, и необычайная прозрачность вод, и обитатели этих вод. Живородящая голомянка, живущая только в Байкале, нерпа, омуль — все это пока что загадки пресноводного бассейна. Но основной вопрос, поставленный Байкалом — это вопрос его происхождения.

Байкаловед, страстный исследователь Байкала сибиряк В. В. Ламакин написал третью по счету научно-популярную книжку «По берегам и островам Байкала». Она вышла в издательстве «Наука» в Москве.

Вопрос о происхождении Байкала — кардинальный в книжке. Автор стремится дать на него ответ. Он приводит доказательства положения, выдвинутого многими учеными, о том, что впадина, занятая Байкалом, это рана на лике Земли. Автор поддерживает теорию о неотектонизме, созданную В. А. Обручевым.

Сотни геологов собирают и фиксируют материалы об изменениях земной коры, углубляют и детализируют понятие неотектоники. Ламакин ранее других занялся наблюдениями над подвижками берегов Байкала. С этой целью он проверил засечки исследователя Байкала И. Д. Черского, сделанные восемьдесят пять лет назад.

Сугубо научные сведения Ламакин подает в форме интересного повествования.

Автор дает интересные сведения о соседствующей с Байкалом Тункинской впадине, на территории которой, в озере Орон, впервые обитала нерпа, попавшая туда из Северного Ледовитого океана.

Ламакин объехал почти все берега Байкала, побывал на многих островах. Чаще всего это были поездки на лодках в сопровождении студентов-практикантов университета, сибирских художников. Читая описание того или иного маршрута, вы воспримете от автора массу научных данных, преподанных вам добрым, образованным собеседником, влюбленным в Байкал.

Книга иллюстрирована фотографиями автора.

Т. Н. Гагина. «Птицы и сельскохозяйственное производство». Такую книжку выпустило Казахское республиканское издательство «Кайнар». Автор подчеркивает, что «ценность птицы как куска мяса, совершенно ничтожна в сравнении с той пользой, которую она принесет, оставаясь живой, производя потомство и работая всю жизнь на пользу человеку, истребляя его неутомимых и бесчисленных врагов».

Несметные по своей численности вредители сельскохозяйственных посевов отнимают у нас от трех до пяти процентов урожая, — пишут специалисты. Убедительно дан в книге материал, подтверждающий значение птиц как помощников человека в борьбе с вредителями полей. Автор приводит много подобных примеров. Так, в США, например, на хлопчатниках, пораженных сорняками, специально организуют места для выпаса диких уток и гусей. У нас в Джамбульской области кишели жуки и саранчевые. Их вывели после того как развели здесь индюшек. Гектар за гектаром индюшки очистили от вредителей.

В Присаянье и Забайкалье раньше водилась дрофа, как и в Европейской части Союза и Казахстане. Она из тех немногих перелетных птиц, которые почти не покидают пределы СССР. Между тем дрофа исчезает. Ее хищнически истребляют. А ведь дрофа из таких пернатых, которые никогда не шелушат колосьев. Автор книжки горячо ратует за сохранение дроф.

Т. Н. Гагина приводит тревожные факты, свидетельствующие вообще об исчезновении птиц в некоторых районах. Так, по данным корреспондента Сухомирова совсем исчез фазан во многих районах Амурской области. Кто знает Байкал и много путешествует по нему, заметит другой печальный факт — полное исчезновение за последние десять-пятнадцать лет бакланов по берегам Байкала.

До сих пор не достигнуто успеха в борьбе с истреблением водоплавающих птиц, зимующих в истоке Ангары. А ведь это редкое явление — зимовка влаголюбивых птиц в условиях морозов на Байкале. Руководя несколько лет кружком орнитологов в Иркутском сельскохозяйственном институте, Гагина приобрела многочисленных корреспондентов, давших материалы о состоянии птиц в районе их работы. Эти материалы тоже в какой-то мере использованы в книжке.

Автор поднимает вопрос о необходимости запретить охоту на жаворонков, на лебедей, фламинго.

Хорошая охотоведческая подготовка (Гагина сама первоклассный стрелок) и великолепное знание сибирских лесов обусловили продуманные предложения по охране птиц: реорганизация охотоустройства, значение устной, печатной и изобразительной агитации и другое.

В Амурской области административные организации всех хищных птиц считают вредными. Сторожам, наблюдателям заказников и егерям спускался план — задание по истреблению пернатых хищников. Труд оплачивается по количеству лапок хищников. Это были лапки сов, ворон, коршунов, кобчиков, сорок, ястребов и других. Вред такой деятельностью в Амурской области и Прибайкалье причинен значительный. В Прибайкалье ввиду уничтожения хищных птиц, поедавших раньше мышиных грызунов, развилась туляремийная эпизоотия, погубившая начавшее развиваться ондатровое хозяйство.

Автор горячо протестует против истребления байкальских чаек, якобы поедающих рыб.

Книжка написана взволнованно и интересно, в ней собран большой фактический материал, имеющий практическое значение для народного хозяйства страны и нашей области, в частности.

А. Гранина, действительный член Географического общества СССР.

ПАМЯТИ Б. Г. КУБАЛОВА

14 марта 1966 года в Москве на восемьдесят седьмом году жизни скончался старейший историк Сибири Борис Георгиевич Кубалов. Смерть Б. Г. Кубалова — тяжелая утрата для исторической науки, в особенности для историков Сибири, в первых рядах которых Б. Г. Кубалов находился свыше пятидесяти пяти лет. Как историк-исследователь и архивист он связал свою жизнь с Сибирью с 1910 года и не порывал ее до последнего дня жизни. За 15 лет напряженной педагогической и научно-исследовательской деятельности в Сибири (1910—1925 гг.) Б. Г. Кубалов навсегда полюбил ее и отдал ей весь свой талант историка-педагога, исследователя, архивиста и пропагандиста. Он воспитал сотни учеников, ставших теперь крупными учеными, государственными и партийными деятелями, педагогами, архивистами, но для всех он был и остается учителем, наставником и другом, человеком большой души и личного обаяния, принципиальным, честным ученым-исследователем. Память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал его лично или познакомился с ним заочно по его книгам и статьям.

Б. Г. Кубалов родился 10 августа 1879 года в семье известного провинциального актера Г. А. Кубалова. Детство свое он провел в скитаниях по разным городам России, а с шестнадцати лет, после смерти отца, стал работать учителем. По окончании гимназии в 1899 году в городе Бердянске Борис Георгиевич поступил в Новороссийский университет (Одесса).

Уже в университете под влиянием профессоров А. А. Кочубинского, Е. Н. Щепкина и И. А. Линниченко Б. Г. Кубалов начал научно-исследовательскую работу. В 1910—1911 годы его работы были напечатаны в Одессе.

Окончив университет в 1903 году с дипломом I степени, Б. Г. Кубалов как казенный стипендиат был назначен преподавателем Екатеринославской 2-й женской гимназии. В этом же году принимал участие в работе XIII археологического съезда.

Неудовлетворенный системой школьного преподавания и в знак протеста против реакции в области народного образования, Борис Георгиевич оставляет Екатеринославскую гимназию и возвращается в Одессу, где целиком отдается педагогической, общественной и научной работе в частных женских гимназиях, читая одновременно лекции по русской истории на общедоступных курсах для взрослых. В эти годы он приступает к работе над учебником для средней школы, и к 1910 году пишет два учебника: «Русская история (для самообразования)» и «Систематический курс русской истории» (ч. I и II). Второй учебник был официально признанным гимназическим учебником по русской истории, считался лучшим и выдержал два издания.

В 1910 году по семейным обстоятельствам Б. Г. Кубалов переехал в Иркутск и получил место преподавателя истории в губернской мужской гимназии. В 1915 году назначается директором вновь открытого Нижнеудинского реального училища, а в 1918 году командируется в Петровский завод для организации четырехклассной смешанного типа гимназии для детей рабочих завода. Советские органы власти поручают Б. Г. Кубалову организацию охраны архивов Восточной Сибири. Иркутское учительство избирает его председателем Общества деятелей средней школы, председателем педагогического совета 1-й женской гимназии. Одновременно Б. Г. Кубалов читает курс русской истории в Иркутском народном университете, участвует в работах губернской ученой архивной комиссии.

С открытием в Иркутске Государственного университета Борис Георгиевич приглашается ассистентом на кафедру русской истории. После магистрантского экзамена, публичной защиты работ и прочтения заданной пробной лекции он в мае 1922 года избирается преподавателем по кафедре русской истории.

Большая организаторская, общественная и педагогическая работа, проводимая Б. Г. Кубаловым в Иркутске и Иркутской губернии с 1910 года, сочеталась с широкой научно-исследовательской и публицистической деятельностью. За эти годы им написаны и опубликованы интереснейшие исследования по истории края («Иркутское общество и милиция 1907 г.», «Сибирь и самозванцы»), в особенности по истории каторги и ссылки, общественного движения в Сибири («Декабристы в Восточной Сибири», «Сибирское общество и декабристы» и многие другие). Большое внимание в своих исследованиях Б. Г. Кубалов уделял изучению пребывания в сибирской ссылке революционных демократов 60-х годов, «каракозовцев», народовольцев («Ветеран Народной воли (М. П. Овчинников)», «Каракозовец И. А. Худяков в ссылке», «Каракозовец Мотков в Сибири» и другие).

Сотрудничая в научных и общественно-политических журналах («Каторга и ссылка», «Русское прошлое», «Сибирские огни»), Б. Г. Кубалов печатал много материалов в газетах «Власть труда», «Красной газете» и других.

В 1922 году Борис Георгиевич решением Иркутского губисполкома назначается заведующим губернским архивным бюро, совмещая преподавательскую работу в университете с реорганизацией архивного дела в Иркутской губернии, возглавляет юбилейную декабристскую комиссию и редактирует сборник трудов («Сибирь и декабристы», Иркутск, 1925). Иркутское губернское архивное бюро выросло в своего рода научное учреждение. Из него вышла большая группа историков-исследователей и архивистов, давшая ряд самостоя-

тельных исследований по истории Восточной Сибири XIX века (Ф. А. Кудрявцев, А. И. Михайловская, В. Е. Дербина и другие).

В 1924 году Б. Г. Кубалов оставляет университет и целиком отдается архивному делу. Как историк-архивист, проявивший организаторские способности при спасении архивов в годы гражданской войны, он возглавляет архивную работу в Восточной Сибири, подчиняя архивное дело практическим задачам советского строительства и науки. Описание архивных фондов, их научная классификация, выполненные под руководством Б. Г. Кубалова в Иркутске, выдвинули Восточно-Сибирский архив в число лучших по РСФСР. На I Восточно-Сибирском краевом съезде архивистов и на республиканских съездах в Москве (1925—1929 гг.) Б. Г. Кубалов выступал основным докладчиком по организации архивного дела, являясь уже архивистом-консультантом Управления Центрархива РСФСР. На эту должность он был переведен в конце 1925 года.

В Москве Б. Г. Кубалов продолжает исследовательскую работу по истории Сибири, работает в Обществе изучения Сибири, Урала и Дальнего Востока, сотрудничает в журнале «Каторга и ссылка», выступает с докладами на сибирские темы в Обществе политкаторжан и ссыльных, пишет статьи для Сибирской советской энциклопедии.

С 1931 года Б. Г. Кубалов на работе в Союзвзрывпроме: возглавляет издательство «Взрывное дело», организует научно-исследовательский институт взрывных работ, Подольский горно-взрывной техникум, и в годы Великой Отечественной войны руководит курсами по повышению квалификации практиков-взрывников. В этой области им написаны многие научные труды по взрывному делу в промышленности и сельском хозяйстве и библиография взрывного дела в СССР.

Вместе с тем все эти годы Б. Г. Кубалов не прекращал исследовательской работы по истории Сибири. С 1956 по 1961 год появляются в различных центральных и сибирских изданиях его работы: «Протест против выступления Бакунина об «Иркутской дуэли» («Литературное наследство», т. 63); «А. И. Герцен и общественность Сибири» (Иркутск, 1958); «Н. Г. Чернышевский, М. И. Михайлов и гарибальдийцы на Кадаинской каторге» («Сибирские огни», 1959, № 6); «Сибиряк-шестидесятник Н. А. Белоголовый» («Ангара», 1960, № 2); «Первенец частной сибирской печати — газета «Амур» («Записки Иркутского краеведческого музея», 1961) и другие.

Б. Г. Кубалов был заочным участником Первой конференции историков Сибири в Иркутске в 1960 году, когда создавался авторский коллектив пятитомной «Истории Сибири». За последние годы им подготовлен ряд крупных исследований монографического плана и статей по различным проблемам истории Сибири. В числе их монография о Н. А. Белоголовом, «Сибирские годы М. А. Бакунина», «Поэт М. И. Михайлов на Нерчинской каторге», «Амурская компания» и другие. К сожалению, ему не удалось напечатать их при жизни. Б. Г. Кубалов опубликовал свыше шестидесяти работ по самым различным вопросам истории России, большая часть которых посвящена Сибири.

До последнего дня своей жизни Борис Георгиевич живо интересовался историей Сибири, много работал сам и помогал начинающим молодым историкам советами, указаниями, делился своими огромными знаниями и собранными материалами, болел за неудачи и радовался успехам.

Иркутское отделение Союза писателей РСФСР

Кафедра истории Иркутского государственного университета

НАШ СЛАВНЫЙ ЗЕМЛЯК

В апреле 1966 года научная общественность отметила восьмидесятилетие со дня рождения нашего славного земляка — профессора Георгия Семеновича Виноградова, уроженца города Тулуна, Иркутской области.

Г. С. Виноградов прошел путь от народного учителя до профессора университета и научного сотрудника Академии наук СССР. Имя его широко известно в научных кругах отечественных этнографов и фольклористов.

В двадцатых годах Г. С. Виноградов работал на педагогическом факультете Иркутского университета, читал лекции по этнографии, народной словесности, вел семинары по этим дисциплинам; с 1926 года читал также спецкурс «Детская речь».

Научная деятельность Г. С. Виноградова в эти годы носила краеведческий характер. Он исследует обычаи русского старожилого населения Сибири, его язык и фольклор, публикует много работ на местные темы: «Русские говоры центральной части Тулунского уезда» (1924); «Детская сатирическая лирика» (1925); «Народная педагогика» (1926); «Русский детский фольклор» (1930) и другие.

Монография «Русский детский фольклор» является единственным крупным научным трудом о детском фольклоре Сибири. В ней автор описывает игровые прелюдии (считалки), анализирует их композицию, художественные средства, лексику, синтаксис, словесную инструментовку и прочее.

В 1930 году Г. С. Виноградов переехал в Ленинград и работал там до конца жизни в научно-исследовательских институтах АН СССР. Несмотря на плохое состояние здоровья, он пишет многочисленные статьи и заметки в Сибирскую советскую энциклопедию, участвует в составлении словаря современного русского литературного языка, редактирует ряд изданий Академии наук, пишет текстологические комментарии к «Онежским былинам» А. Ф. Гильфердинга, к «Народным русским сказкам» А. Н. Афанасьева и к другим изданиям.

Самое тяжелое время блокады Ленинграда он провел в этом городе-герое. В характеристике Георгия Семеновича сказано, что он, «несмотря на свое более чем плохое здоровье и возраст, который давал ему право на освобождение, нес вместе со всеми круглосуточные дежурства по охране здания института. Он поддерживал в коллективе чувство уверенности в победе и вселял бодрость в тех, кто иногда падал духом».

Как преподаватель высшей школы Георгий Семенович обладал рядом ценных качеств. Его содержательные лекции, насыщенные краеведческим материалом, будили исследовательскую мысль студентов, вовлекали их в научную работу по фольклору и этнографии. В Иркутске и в Ленинграде у него было много учеников, которым он бескорыстно помогал выйти на широкое поприще науки.

Георгий Семенович был обаятельным человеком: добрым, скромным, отзывчивым, трудолюбивым. Он горячо любил русский народ и верил в его творческие силы. Во время своих

этнографических экспедиций он как-то сразу находил общий язык с крестьянами, быстро входил в их доверие. И не случайно то, что в губернском жандармском управлении на него было заведено дело, как на политически неблагонадежного человека.

Скончался Георгий Семенович семнадцатого июля 1945 года в Ленинграде. В некрологе, подписанном членом-корреспондентом Академии наук В. Чернышевым и сотрудниками словарного отдела АН СССР, говорится, что ученые высоко оценивают его труды по литературоведению, фольклору и лингвистике.

В связи с восьмидесятилетием со дня рождения факультет русского языка и литературы Иркутского пединститута и историко-филологический факультет Иркутского университета провели объединенное заседание, посвященное памяти нашего земляка профессора Г. С. Виноградова.

Сообщение о жизни и деятельности Г. С. Виноградова сделал профессор В. Д. Кудрявцев; с воспоминаниями о Георгии Семеновиче выступили профессора Ф. А. Кудрявцев, Г. В. Тропин и писатель Г. Ф. Кунгуров. На заседании присутствовали преподаватели иркутских вузов, учителя, студенты.

ВИКТОР ВЛАСЕНКО

Лужа

Увидя, что ее
обходят
стороной,
Решила:
ах, как все
считаются
со мной.

Подходящая пара

Лягушка полюбила
Бегемота:
— Так много
общего —
Он тоже... из болота.

Смертельный удар

Осел Осла
Ослом
однажды обозвал,
Чем сбил Осел
Осла
Буквально наповал.

РОСТИСЛАВ СМИРНОВ

Петр Реутский

Ода „Вольность"

(Пародия)

Грохочут строки, словно пушки,
Когда берусь я за перо.
Се — вам вослед —
Радищев, Пушкин, —
Иду я —
Реутский Петро.
Пройду по Невскому проспекту
И по музеям поброжу, —
И лекций вузовских конспекты
В момент в стихи переложу. —
Мне дела нет до шумной моды, —
Пишу для века —
не для дня.
Отныне в классике —
три оды:
У вас двоих —
и у меня!

П. БОРОВСКИЙ

ГЕРОИЧЕСКОЕ ПОЛСТОЛЕТИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА

Летопись борьбы и побед

1919 год

Начало января. Созданы подпольные районные комитеты РКП(б) в Глазковском (ныне Свердловском), Знаменском (Маратовском) и Иннокентьевском (Ленинском) районах г. Иркутска. Началось формирование боевых дружин.

— В это же время успешно прошла стачка железнодорожников ст. Иркутск, которой руководил член Иркутского комитета РКП(б) К. И. Миронов.

5 января. В городской публичной библиотеке состоялось первое собрание сибирского библиотечного общества. За год библиотекой было выдано 5500 художественных и детских книг, 2500— научных и специальных, 300— по истории, 218—по философии. Меньше всего было выдано книг по богословию — двадцать пять.

— В газете «Наше дело» помещена заметка «Грустное явление», в ней сообщается, что городская библиотека повысила плату за пользование книгами — с двадцати пяти копеек за четыре книги до двух рублей. «Абоненты от этого только сторонятся библиотеки», — замечает по этому поводу газета.

16 января. Газета «Наше дело» сообщает, что в Иркутске насчитывается меблированных гостиниц —14; ресторанов и кофеен —9; кухмистерских и столовых —38; дешевых столовых —18; постоялых дворов —36; меблированных комнат —35. Все эти учреждения — собственность частных предпринимателей.

17 января. Закрылся Глазковский родильный приют. Предместье осталось без акушерской помощи.

— Газета сообщает цифры смертности за 1918 год. В Иркутске от оспы умерло 33 человека; от скарлатины —52; дифтерита —22; брюшного тифа —89; сыпного тифа —39; возвратного тифа —6; от кори —17; от рожи —7; кровавого поноса —24; холеры —1; невыясненных болезней —8.

26 января. Вышел первый номер журнала «Сибирский рабочий» — орган Иркутского губернского Совета профсоюзов и Совета профсоюза Забайкальской железной дороги.

11 февраля. Получено распоряжение штаба Верховного Главнокомандующего о немедленном закрытии меньшевистской газеты «Новая Сибирь».

12 февраля. Вместо газеты «Новая Сибирь» была набрана и сверстана новая газета «Маяк», но выпуск ее был запрещен военными властями.

22 февраля. Отмечалось тридцатипятилетие существования библиотеки профсоюза торгово-промышленных служащих. Прежде библиотека принадлежала обществу приказчиков.

26 февраля. Газета «Мысль» вышла с рядом пустых колонок — статьи не были пропущены цензурой.

Начало марта. Иркутский комитет РКП(б) установил связь с Н. А. Каландарашвили и предложил ему как командующему отряда действовать под руководством партийной организации. Соглашение состоялось.

5 марта. Собрание делегатов от предприятий, членов правления профсоюзов и рабочих комитетов высказалось против закона колчаковского правительства о больничных кассах и биржах труда.

7 марта. Распоряжением Министерства внутренних дел на великий пост запрещены всякие народные забавы, увеселения, театральные представления, концерты, маскарады и разные зрелища.

13 марта. У биржи труда расклеены рукописные воззвания. Первое: «К товарищам» с призывом: «Да здравствует Российская Федеративная Республика! Да здравствуют Советы! Смерть капиталу!» И второе: «Безработному», оканчивающееся словами: «Да здравствует интернационал! Проклятие вам, угнетателям трудового народа!»

15 марта. Газета «Мысль закрыта военными властями.

16 марта. Открылся городской родильный дом (на базе бывшей частной лечебницы доктора Бергмана). Заведующим избран доктор Моциевский.

17 марта. В типографию газеты «Наша мысль» явился наряд милиции с предписанием начальника военного района. В предписании сказано: «Ввиду установления тождества газеты «Новая Сибирь», закрытой по приказанию Верховного командования, с закрытой газетой «Мысль» и «Нашей мыслью» — последняя закрывается навсегда».

18 марта. На улицах Иркутска, в Глазково, в железнодорожном депо были расклеены листовки с призывами свергнуть колчаковскую власть.

19 марта. На ст. Иркутск состоялся парад 2-го Забайкальского казачьего полка для получения «подарков» от английского правительства. При разделе подарков присутствовал

английский генерал Нокс, вновь прибывший в Иркутск.

Приказом начальника Забайкальской железной дороги уволено 1335 рабочих и служащих «за причастность к большевизму».

25 марта. На заседании городской думы обсуждался вопрос о закрытии школ и занятии их под солдатские казармы. Из сорока городских школ уже занято под казармы тринадцать.

26 марта. Газеты сообщают об аресте видного большевистского деятеля, бывшего коменданта города И. Шевцова.

29 марта. В честь сформированного румынского корпуса был устроен парад. Корпус приветствовали представители чехословацких, французских, японских и русских войск.

3 апреля. Газета сообщает об аресте одного из организаторов кавалерийского отряда Каландарашвили — Панкратова.

29 апреля. Газеты сообщают о появлении отряда Каландарашвили в Черемховском уезде.

1 мая. В гортеатре в двенадцать часов дня состоялся митинг. Пели «Марсельезу», «Интернационал». После митинга, выйдя из театра, собравшиеся пели революционные песни. Появился красный флаг, возникла демонстрация, которая двинулась по Большой улице, но была разогнана вооруженной силой. Инициаторы и организаторы демонстрации были арестованы.

— По улицам Иркутска разбрасывались листовки, призывавшие к свержению колчаковской диктатуры.

— Машинист маневрового паровоза ст. Иннокентьевская Степанов вывесил на своем паровозе написанный на материале лозунг: «Да здравствует 1-е мая». Несмотря на требование чехословацких интервентов убрать лозунг, Степанов проработал с ним весь день.

Начало мая. Проходит первая губернская подпольная партийная конференция. Избран губернский комитет РКП(б) во главе с К. В. Мироновым. На конференции обсуждались вопросы подготовки восстания, создания штабов.

3 мая. Местная газета сообщает: забастовали рабочие Хайтинской фарфоро-фаянсовой фабрики. Бастует более тысячи рабочих. Забастовка вызвана грубостью и издевательством со стороны управляющего и мастера фабрики.

— В зале первого общественного собрания состоялся концерт скрипача-виртуоза Бориса Виткина и пианистки Е. Эккерт-Яцевич. В это же время была организована выставка картин футуриста Д. Бурлюка.

6 мая. Распоряжением правительства закрыт орган иркутского губернского Совета профсоюзов «Сибирский рабочий». Совет профсоюзов заявил протест.

7 мая. Рабочие иркутской электростанции на своем собрании присоединились к протесту иркутского губернского Совета профсоюзов по поводу закрытия журнала «Сибирский рабочий» и внесли в фонд рабочей печати сто рублей.

10 мая. Сто сорок четыре политзаключенных по предложению управляющего Иркутской губернией записались в отряд особого назначения. Они были освобождены из Александровского централа. По указанию иркутской партийной организации в отряд вошли заключенные коммунисты, чтобы получить свободу и оружие, которое со временем должно было использовано в вооруженном восстании против Колчака.

— Видный революционный деятель, участник борьбы за власть Советов в Иркутске — Яков Ефимович Боград — был расстрелян колчаковцами в Красноярске. Уходя из тюремной камеры на расстрел, Боград сказал: «Я ухожу, будьте тверды до конца!»

— Вблизи места казни Бограда и его товарищей случайно оказался железнодорожный сторож. Он услышал, как почти одновременно с ружейным залпом раздались возгласы: «Да здравствует мировая революция!»

11 мая. Вышел первый номер еженедельника «Голос рабочего» — орган иркутского губпрофсоюза и профсоюза Забайкальской железной дороги.

15 мая. Правление союза рабочих кожевенных предприятий предъявило требование владельцам обувных фабрик и сандальных мастерских г. Иркутска — повысить заработную плату средним и низшим категориям рабочих как мужчинам, так и женщинам.

— Управляющий губернией П. Д. Яковлев опубликовал свое заявление по поводу проводимых восстаний и мятежей среди крестьян. В нем говорится:

«Командующий войсками Иркутского военного округа определенно сказал, что села, не принимающие участия в восстаниях, не подвергнутся сожжению, в них не будет массовых экзекуций и расстрелов. Одумайтесь, граждане, пока не поздно, бросьте напрасное кровопролитие и тем спасете села от полного уничтожения».

Таким образом, колчаковские правители сами признают применение ими массовых порок, расстрелов и сжигания целых сел. Но несмотря на все угрозы и репрессии, все больше разрасталось партизанское движение, росло число восстаний.

25 мая. В г. Иркутске проходили выборы в городскую думу. Население уклонялось от участия в выборах.

6 июня. Опубликованы точные данные по итогам выборов в городскую думу. Из 42 294 избирателей приняло участие в выборах 9667, т. е. 22,8 процента избирателей; в центральной части города — 32, в Нагорном районе — 19, Глазковском — 19, Знаменском — 14 процентов.

11 июня. На ст. Иннокентьевская состоялся съезд солдатских депутатов чехословацких частей.

На съезде решались вопросы: о дальнейшем пребывании чехословацких войск в Сибири, о передаче управления в войсковых частях в руки солдатских комитетов, о прибавке жалованья солдатам. Съезд был арестован, но вскоре освобожден четвертым чехословацким полком.

16 июня. В Иркутск прибыл главнокомандующий всеми союзными вооруженными силами в России генерал Жанен. Была организована пышная встреча. Цель приезда Жанена — улаживание конфликтов в союзных войсках.

4 июля. Для частей особого назначения, созданных из политзаключенных, управляющий губернией П. Д. Яковлев устроил торжественный вечер, на котором он произнес речь:

«Братцы, — говорил он, — я посылаю вас защищать от партизан границы моей губернии. Я глубоко убежден в том, что вы порвали со своим преступным прошлым и на деле докажете свою преданность отечеству».

«Братцы» многозначительно переглядывались, а кто-то тихо сказал: — Мы тебе докажем нашу преданность. И еще как докажем!

5 июля. Вторая рота частей особого назначения во главе со Зверевым на пароходе «Бурят» спустилась в низовье Ангары, где соединилась с партизанским отрядом Бурлова.

8 июля. Городская дума в ознаменование «освобождения» Иркутска от Советской власти постановила переименовать Дегтевскую (ныне Российская) улицу в Чехословацкую, и Графо-Кутайсовскую (ныне Дзержинского) в улицу 28 июня.

14 июля. Стали известны обстоятельства гибели видного большевистского деятеля, участника борьбы за власть Советов в Иркутске П. Ф. Парнякова. В Омске готовилось восстание. Повстанцы оказались в засаде. Парняков бросился предупредить их, успел оповестить, но выход из дома, где собрались повстанцы, заняли каратели. Парняков первым бросился на белогвардейцев, отвлекая их от товарищей. Повстанцы успели скрыться, но Парняков погиб в схватке с карателями.

17 июля. В Иркутск прибыл полномочный посланник Северо-Американских Соединенных Штатов (САСШ) в Токио — Моррис. Заместитель управляющего губернией А. Церерин

посетил Морриса и благодарил его за помощь, которую оказывает Америка Сибири своими «подарками».

18 июля. Газета сообщает, что на заседании санитарного совета вновь был поднят вопрос о необходимости городу иметь собственную больницу. После обсуждения этого вопроса, выяснилось, что в данный момент у города нет денежных средств на открытие больницы.

26 июля. В Иркутск прибыли американские войска. Под звуки духового оркестра они торжественным маршем прошли по Большой улице.

28 июля. В ресторане «Модерн» был устроен торжественный обед в честь прибывшей делегации от японского парламента, приехавшей для установления «дружественных» отношений с правительством Колчака.

29 июля. Арестован видный советский деятель Г. П. Кан. Он был следователем военно-революционного трибунала и вел дело о мятеже белогвардейцев 14 июня 1918 года. Г. П. Кан оставался для подпольной работы, легально же занимал должность преподавателя английского языка.

1 августа. В Иркутске за архиерейской дачей нелегально собралась партийная конференция, на которой присутствовали члены иркутского губкома РКП(б), представители районных партийных организаций города, а также представители партийных организаций Черемхово, станций Половина, Слюдянка. Обсуждались доклады с мест и вопрос о подготовке вооруженного восстания. Избран губком партии, организован военно-революционный штаб.

3 августа. Состоялись новые выборы в городскую думу, так как предыдущие были признаны недействительными. Большинство получили кандидаты социалистического блока. Из 75 избранных — 40 социалистов. Число избирателей, принявших участие в голосовании, не сообщается.

Нарушались правила выборов. О выборах должно было быть объявлено не позднее, чем за две недели. Это правило было нарушено. В Знаменском предместье вообще не было известно о месте выборов.

Начало августа. Состоялось совещание иннокентьевского комитета РКП(б) и штаба отряда Каландарашвили. Обсуждался вопрос об освобождении политических заключенных из Александровского централа.

7 августа. В Глазковском предместье производились обыски с целью обнаружения оружия. В это время раздался оглушительный взрыв. Отряды солдат, прекратив обыски, бросились к месту взрыва. Оказалось, шестнадцатилетний мальчик зажег ракету. Есть предположение, что сделано это с целью отвлечь солдат от подлинных мест, где скрывалось оружие.

— «Иркутские губернские ведомости» сообщают: «В Нижнеудинском уезде пойманы двое из отряда Белоконя. Самому Белоконю четырнадцать лет. Он организовал ряд крушений поездов на железной дороге».

8 августа. После трехнедельной забастовки на пимокатной фабрике предприниматели потребовали от рабочих сдачи материалов. Рабочие ответили отказом, продолжая забастовку.

15 августа. В Знаменском предместье на территории кожевенного завода «Сибирмонгол» расположился отряд Красильникова. Ночью возник пожар, сгорел кожевенный завод. Причины пожара остались невыясненными.

— Газета сообщает, что из 42 начальных школ города 38 заняты под постой солдат. Последние четыре школы, как пишет газета, «висят на волоске».

17 августа. Правительственными органами прекращено издание журнала «Голос рабочего».

22 августа. После месячной забастовки пимокатчиков предприниматели вынуждены были согласиться с требованиями рабочих.

23 августа. Комендант иркутского военного гарнизона Артемьев ввел жесткие ограничения въезда в город Иркутск.

25 августа. Департамент милиции колчаковского министерства внутренних дел сообщил генералу Жанену: «МВД получены сведения, что в поездах с чешскими войсками провозится большое количество снаряжения и оружия, и что в этих же поездах едет много агитаторов, распространяющих противоправительственные прокламации».

26 августа. В Государственном университете при физико-математическом факультете организовано медицинское отделение.

27 августа. Постановлением ВЦИКа создан высший орган управления Сибири — Сибревком.

Начало сентября. Иркутский комитет РКП(б) распространяет в Иркутске воззвания: «К солдатам», «Товарищи чехословаки», призывающие к переходу на сторону Красной Армии.

3 сентября. Губернский инспектор труда опубликовал сведения о том, что в Иркутске насчитывается пять тысяч рабочих, из них четвертая часть женщин. В это число не входят рабочие-беженки.

4 сентября. В Преображенской церкви состоялось собрание союза православных христиан. Обсуждался вопрос: как помочь колчаковским воинам на фронте и в тылу. Председателем союза избран епископ Зосима.

6 сентября. Иркутская газета «Свободный край» сообщает: «Ген. Толотихин телеграфирует из Троицкосавска в штаб восточного фронта: по полученным сведениям отряд Каландарашвили численностью свыше одной тысячи человек, в том числе 500 кавалеристов, двигается в район Тунки».

9 сентября. Забастовали извозчики, устроив демострацию перед городской управой с требованием отмены таксы.

— Был дан последний симфонический концерт под управлением композитора Рудольфа Карела.

11 сентября. «Иркутские губернские ведомости» сообщают, что прожиточный минимум служащего правительственных учреждений в Иркутске определен в сумме 832 рубля в месяц без яиц и сахара, с включением же этих продуктов прожиточный минимум определяется суммой в 892 рубля.

— Местная газета сообщает: Иркутское общество внешкольного образования заявило, что две бесплатных библиотеки Нагорная и Глазковская переживают в настоящее время материальный кризис. Очень низка заработная плата — зав. библиотекой 150 рублей, пом. библиотекаря — 120 рублей, сторожа —80 рублей. Количество книг не растет, журналы и газеты не выписываются. Совет общества просит городскую думу принять библиотеки в свое ведение, иначе их придется закрывать.

12 сентября. Польский национальный комитет организовал балет-концерт, в котором приняла участие двадцатилетняя петроградская балерина Люня Нестер, импровизирующая классические танцы a la Дункан под музыку Шопена, Грига, Рубинштейна, Листа и чешского композитора О. Блеха, который тоже принял участие в концерте. Сбор поступает в пользу раненых и инвалидов польской армии.

12—13 сентября. Иркутским комитетом РКП(б) в Александровском централе организовано восстание. Пятистам человекам удалось бежать и уйти в партизанские отряды.

13 сентября. Газета сообщает, что из воинского эшелона, отходящего из Иркутска, разбрасывались коммунистические прокламации.

14 сентября. В помещении первого общественного собрания литератор П. В. Мурашев прочел лекцию на тему: «Предтечи большевизма в русской литературе — по произведениям Тургенева («Отцы и дети»), Гончарова («Обрыв»), Достоевского («Бесы») и др».

— Местная газета сообщает, что Совет профсоюзных организаций Забайкальской железной дороги разослал циркуляр, в котором предлагает оказать помощь политическим заключенным. «Рабочие не могут допустить страданий близких им товарищей. Совет предлагает отчислить единовременно двадцать процентов от общей суммы поступивших членских взносов и обратиться к рабочим об отчислении ими однодневного заработка в пользу политических заключенных».

— Съезд духовенства и мирян Иркутской епархии обратился с приветствием к верховному правителю Колчаку, заверяя в своей поддержке всех его действий.

16 сентября. В госуниверситете закончен прием студентов, зачислено на медицинский факультет —245 человек, на историко-филологический—70, на юридический —79, на физико-математический —106.

21 сентября. Газета сообщает об аресте большевистского комиссара Алексея Молчанова и его сподвижника Ефима Левицкого, ведших пропагандистскую работу среди солдат иркутского гарнизона.

22 сентября. После ремонта вновь открылась городская публичная библиотека. Она извещает: «Пользование книгами по всем научным отделам, журналами и газетами, по условиям настоящего времени, может быть допущено лишь в стенах библиотеки за особую плату».

24 сентября. В Иркутск вновь прибыл главнокомандующий союзными войсками генерал Жанен.

1 октября. Газета «Наше дело» сообщает: «Об освобождении зданий школ, занятых румынскими частями, можно ходатайствовать непосредственно только через французскую миссию в Иркутске». Интервенты чувствуют себя полными хозяевами на сибирской земле.

2 октября. Арестован в Омске областной комитет, избранный третьей подпольной Всесибирской конференцией, на которой присутствовали делегатами и иркутские большевики. По договоренности на конференции, в случае провала областного Всесибирского комитета, созыв новой конференции должен был взять на себя один из губернских комитетов партии. Инициативу созыва новой конференции после ареста комитета взял на себя иркутский губернский комитет партии.

5 октября. В первом общественном собрании начался очередной сезон. Первым спектаклем шла опера «Паяцы» Леонковалло.

15 октября. Коммунисты ст. Иннокентьевская организовали собрание рабочих депо. Постановили: начать забастовку. Избран стачечный комитет, который предъявил требования администрации дороги.

16 октября. В Харлампиевской церкви под председательством протоиерея Фивейского состоялось общее собрание членов союза приходов. На повестке дня стояли вопросы: формирование добровольческих дружин святого креста по борьбе с большевизмом; создание питательных пунктов для больных солдат колчаковской армии и др.

26 октября. Арестован и заключен в тюрьму редактор закрытой газеты «Сибирь» А. П. Иванов.

2 ноября. «Ведомости Иркутской губернии» сообщают, что арестован и доставлен в тюрьму известный большевистский деятель В. В. Рябиков — член Центросибири, комиссар связи.

— В зале городской думы были собраны представители мусульман Иркутской губернии. Стоял вопрос об организации и привлечении мусульман на борьбу с большевизмом.

7 ноября. В день второй годовщины Октябрьской революции в городском театре проведен вечер, который открылся лекцией профессора В. Н. Охецимского на тему «О силе советских декретов». Лектор стремился доказать, что советский строй лишает якобы людей всяких гражданских свобод.

— В госуниверситете состоялось совещание по вопросу о занятии помещения университета под Совет Министров колчаковского правительства.

11 ноября. Помещение гостиницы «Модерн» реквизировано для эвакуированных из Омска лиц, работающих в правительственных учреждениях.

— В газете сообщается, что во второй женской гимназии на текущее полугодие установлена плата за учение в размере трехсот рублей для первых четырех классов и трехсот пятидесяти рублей для остальных классов. Сверх того за преподавание каждого языка взимается двадцать пять рублей. На второе полугодие плату за учение придется, видимо, повысить. Эти размеры платы являются самыми умеренными среди учебных заведений Иркутска.

Начало ноября. В Иркутске состоялась нелегальная конференция Сибирских организаций РКП(б), избравшая Сибирский комитет РКП(б). Обсужден вопрос подготовки вооруженного восстания и связи с партизанскими отрядами.

12 ноября. Состоялось всесибирское совещание земель и городов с участием и «высоких комиссаров Антанты». Совещание проходило с разрешения и санкции главнокомандующего союзных войск в Сибири генерала Жанена под охраной чехословацких войск.

13 ноября. Белочешское командование опубликовало меморандум, в котором всю ответственность за кровавый белый террор возлагает на колчаковское правительство и его войска, заявляя при этом о своей непричастности к террору.

15 ноября. В Иркутск прибыл малый Совет Министров и некоторые члены государственного экономического совещания правительства Колчака.

18 ноября. Газета сообщает о размещении в зданиях Иркутска эвакуированных из Омска учреждений правительства Колчака.

— На Тихвинской площади был произведен парад по случаю благополучного прибытия в Иркутск членов правительства Колчака.

19 ноября. Правительство Колчака обратилось к населению с призывом об оказании помощи в трудной борьбе с советскими войсками.

20 ноября. Отмечается годовщина диктатуры Колчака.

26 ноября. Состоялось чрезвычайное заседание Иркутской городской думы, в котором приняли участие министры и дипломатический корпус. Представители Политцентра заявили о необходимости ухода от власти правительства Колчака и передачи власти органам города и земскому управлению. Заседание перенесли на 27 ноября в городской театр.

27 ноября. Заседание Иркутской городской думы, собранное в гортеатре, разгоняется по приказу начальника иркутского гарнизона генерала Сычева.

8 декабря. Восстание в Александровском централе было жестоко подавлено солдатами правительственных войск и чехословацкого корпуса.

16 декабря. Газета «Наше дело» вышла с обозначениями: «Передовая статья по цензурным соображениям помещена быть не может». «Вторая статья по цензурным соображениям помещена быть не может».

— «Ведомости Иркутской губернии» сообщают, что в ближайшие дни в Иркутск ожидается прибытие Верховного правителя Колчака и председателя Совета Министров Пепеляева.

21 декабря. Ледоходом сорван Ангарский понтонный мост. Сообщение между правым и левым берегом Ангары прервано.

— В Черемхово началось восстание против власти Колчака.

— Газета сообщает, что совет профессоров Иркутского госуниверситета отказался от участия в выборах в государственное земское совещание.

22 декабря. Начались аресты представителей Политцентра.

23 декабря. Колчак издал приказ о назначении атамана Семенова главнокомандующим всеми вооруженными силами Дальнего Востока с подчинением ему Приамурского, За-

байкальского и Иркутского военных округов «для обеспечения государственного строя и порядка в глубоком тылу».

24 декабря. Политцентр начал восстание против правительства Колчака. Произошло это так: в казармы 53-го сибирского стрелкового полка явились от Политцентра эсеры штабс-капитан Калашников и Мерхалев (член Политцентра). На митинге они провозгласили переход власти к Политцентру. Солдаты срывали с себя погоны и дали согласие немедленно выступить с оружием в руках с целью свержения власти Колчака. Выступление 53-го полка в Глазково поддержали 38-я пехотная дружина и Иркутский батальон территориальной бригады.

По указанию Сибирского комитета РКП(б) глазковский партийный комитет создал штаб рабоче-крестьянской дружины.

— Колчаковской контрразведкой арестовано около 150 человек, подозреваемых в подготовке восстания.

Комендант города генерал-лейтенант Артемьев объявил осадное положение по Иркутску и его предместьям. Запрещено всякое движение по городу с восьми часов вечера до семи утра.

25 декабря. Продолжаются аресты подозреваемых в подготовке к восстанию.

— Сибирский комитет РКП(б) и губернский комитет РКП(б) на совместном совещании решили поддержать глазковский райком РКП(б). Представители штаба железнодорожной дружины на квартире руководителя дружины А. Телегина провели совещание. На нем постановили: 1) принять участие в восстании, поднятом 53-м полком, сохраняя самостоятельность действий; 2) провести 25 декабря митинг среди железнодорожников в целях пополнения и мобилизации дружин; 3) занять железнодорожную школу под штаб дружины; 4) потребовать от штаб-капитана Калашникова довооружения дружины.

Калашников пытался увильнуть от предоставления рабочим оружия, но, опасаясь остаться без их поддержки, вынужден был выделить для дружины винтовки и пулеметы «Максим».

— Формируются рабоче-крестьянские дружины, но они не сливаются с вооруженными силами Политцентра, а действуют самостоятельно, под руководством большевистских организаций.

— Японский майор Фукуда заявил генералу Сычеву, что японское командование решило ввести японские войска в пределы Иркутского военного округа.

26 декабря. Штаб рабочих дружин занял здание железнодорожного училища (ныне железнодорожная школа № 42).

Отряд красной дружины занял позиции на берегу р. Ушаковки.

27 декабря. В Иркутске две роты отряда особого назначения при управляющем губернии перешли на сторону восставших. К ним присоединилась 4 рота 2-го батальона инструкторской школы. Присоединившиеся воинские части повели наступление на центр города против колчаковских войск.

— В городе расклеен приказ атамана Семенова, в котором говорится: «Приказываю приложить все усилия удержаться до прибытия посланного вам на выручку отряда с частями Дикой дивизии под командованием генерал-майора Скипетрова».

— Головной эшелон воинских частей Семенова еще в восемь часов утра прошел ст. Байкал, двигаясь к Иркутску.

28 декабря. Колчаковское правительство создает особую тройку во главе с министром Червен-Водали, с заместителями Ханжиным и Ларионовым. Тройке была дана насмешливая кличка «Троектория».

— Рабоче-крестьянская дружина со Знаменского предместья, руководимая большевиками, вела успешное наступление, перейдя Ушаковку, но потом вынуждена была отступить.

— Иркутский губком РКП(б) срочно собрал совещание партийного и военного актива в Глазковском предместье. Составлен ультиматум с требованием передачи революционному штабу Иркутска поезда с Колчаком и золотым запасом. Ультиматум был вручен генералу Жанену.

29 декабря. Главный штаб армии Политцентра в воззвании призывает всех примкнуть к восстанию против Колчака и его приспешников. Воззвание было отпечатано тиражом 10 тысяч экземпляров и разбрасывалось с аэроплана.

— Совет министров правительства Колчака получил радиограмму от атамана Семенова, сообщающую о подходе Дикой дивизии в 500 штыков и бронепоезда «Мститель».

— Генерал Сычев предложил восставшим перемирие с 24 часов 29 декабря до 24 часов 30 декабря и в то же время по своим воинским частям отдал приказ: «Объявляю для сведения копию полученной мною телеграммы от генерала-лейтенанта атамана Семенова. «Иркутскому генерал-майору Сычеву. Сейчас мною получено официальное извещение, что императорским японским правительством решено ввести войска в пределы Иркутского военного округа точка. Во исполнение чего местным японским командованием отдано распоряжение о вступлении японских войск в Иркутск. Сообщаю изложенное для сведения. Приказываю всем подчиненным мне лицам оказывать должное внимание и полное содействие войскам бескорыстно-дружественной нам благородной и до конца верной своему слову союзницы Японии.

Главнокомандующий генерал-лейтенант *Семенов»*.

Эти предательские действия в отношении русского народа разделяет и генерал Сычев и в своем приказе рассыпается в любезностях по отношению к Японии.

— Бойцы железнодорожной дружины хотели разрушить железнодорожный путь с тем, чтобы не дать возможности семеновцам подойти к Иркутску по линии железной дороги, но чехи запротестовали и заверили, что семеновцы дальше ст. Михалево допущены не будут. Дружинники поверили было чехам и большую часть своих сил бросили к михалевской шоссейной дороге, ожидая появления сил противника не ранее 31 декабря. Однако, как оказалось, белочехи обманули дружинников.

30 декабря. К семафору ст. Иркутск подошел паровоз с семеновцами. Они убили в будке стрелочника и отошли обратно. Вслед за тем подошел бронепоезд с авангардом отряда генерала Скипетрова. Навстречу поезду был пущен паровоз. Произошло столкновение паровоза с бронепоездом. Паровоз свалился, но путь был разрушен и бронепоезд не смог продвигаться дальше. Семеновцы были атакованы красными и разгромлены, 250 человек было взято в плен. Бронепоезд ушел на восток.

Часть семеновцев переправилась на пароходе «Бурят» через Ангару на ее правый берег. Их торжественно встретили представители колчаковского правительства: Червен-Водали, генерал Сычев. Под звуки оркестра отряд семеновцев вышел на Большую улицу и подошел к зданию, занимаемому японской миссией. Произошел обмен приветствиями. Семеновцы провозгласили: «Банзай Япония». Представитель японской миссии ответил: «Ура, доблестные семеновцы!»

— Вечером рабочие-дружинники, руководимые большевиками, освободили из тюрьмы политических заключенных, многие из которых влились в ряды дружинников.

31 декабря. Возобновился бой на Ушаковском фронте.

Военно-революционный штаб создал военно-полевой суд, в числе членов которого были большевики Сурнов и Чудновский. Суд рассмотрел дело А. Байкова, который, находясь в колчаковском застенке, под пытками выдал некоторых большевиков. Суд отправил Байкова на передовую линию фронта рядовым бойцом. Своими действиями Байков искупил вину.

АЛЬМАНАХ „АНГАРА“ № 3

Художеств. редактор А. И. Аносов

Техн. редактор А. В. Пономарева

Корректор Л. А. Васильева

Сдано в набор 30 июня 1966 г. Подписано к печати 12 сентября 1966 г. Печ. л. 12,6 + вкл. 1,26 = 13,86. Уч.-изд. л. 14,2. Бумага типографская № 3, формата 84 × 108$^1/_{16}$. Тираж 5000. Заказ № К-266. НЕ 09358. Цена 60 коп.
Восточно-Сибирское книжное издательство, г. Иркутск, ул. Горького, 36.
Типография № 1 Иркутского областного управления по печати, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 11.

В четвертом номере альманаха „Ангара“ будут напечатаны повести Л. Красовского „Война еще не кончилась“, В. Гусенкова „Между двумя рассветами“; пьеса Б. Левантовской „Доказательства любви“; стихи И. Киселева, Н. Грековой, М. Сергеева, А. Жамбалона; рассказ для детей Е. Хмельницкой „Пузырек“; очерк Е. Шварц „Красной гвардии рядовой“; статьи А. Срывцева „Свидание“; Ю. Климова „Образ революционного Петрограда в романе К. Федина „Города и годы“, Евг. Бандо „Сибирский масштаб“, М. Одинцовой „1 января 1906 года в Иркутске“, И. Парамонова „Черемхово, двадцатые годы“.

В Галерее „Ангары“ представлены репродукции картин, офортов Б. Лебединского и фото Б. Дмитриева.

60 к.